

# АРТИКЛЫ

Израильский литературный  
журнал

# АРТІКЛЪ



**№ 26**

Тель-Авив

2023

**מעלות**  
המרכז למורשת יהדות ברית המועצות

# СОДЕРЖАНИЕ

## ПРОЗА

<b>Дина Рубина.</b> Дизайнер Жора.....	4
<b>Александр Мелихов.</b> Новогодний Гольфстрим.....	58
<b>Давид Маркиш.</b> Фимок.....	68
<b>Яков Шехтер.</b> Водолаз его величества.....	76
<b>Петр Люкимсон.</b> Сон.....	93
<b>Рита Грузман.</b> Celebration of life.....	105
<b>Шуля Примак.</b> Мыльная опера.....	114
<b>Сергей Баев.</b> Ощущение курорта (два рассказа).....	119
<b>Михаил Вассерман.</b> Вася и тётя.....	121
<b>Ефим Шуман.</b> Баба Поля (два рассказа).....	129
<b>Асаф Бар-Шалом.</b> Долг банку и долг Всевышнему.....	147
<b>Михаил Юдсон.</b> Остатки.....	166

## ИЗРАИЛЬСКАЯ ЛИТЕРАТУРА НА ИВРИТЕ СЕГОДНЯ

<b>Раве Саги.</b> Думаю, ты не поймешь.....	170
<b>Ави Гиль.</b> Личное участие.....	172

## АРФА И ЛИРА

Произведения современных азербайджанских авторов

<b>Садай Будаглы.</b> Ясные дни.....	178
--------------------------------------	-----

## ПОЭЗИЯ

<b>Александра Неронова.</b> Румата без штанов.....	185
<b>Ирина Маулер.</b> Картинка.....	193
<b>Анна Мельникова.</b> Стихи, присланные из России.....	197
<b>Фаина Судкович.</b> Запах корицы.....	204
<b>Кларисса Ярошевич.</b> Сны до утра.....	210
<b>Дмитрий Бирман.</b> Одиночество.....	215
<b>Сергей Белорусец.</b> На фоне жизненных ничтожностей.....	219

<b>Сергей Штильман.</b> Этот мир между светом и тенью.....	223
<b>Владимир Эфроимсон.</b> Из подземелья.....	225
<b>Игорь Губерман.</b> Свежие гарики.....	230

## **НОН-ФИКШН**

<b>Соломон Гольдельман.</b> Третье министерство еврейских дел УНР.....	235
<b>Давид Шехтер.</b> На холмах Грузии.....	244
<b>Владимир Ханан.</b> Воспоминание об украденном знамени..	248
<b>Наум Вайман.</b> Праздник возвращения.....	257
<b>Осип Ксанин.</b> Ахматовская контрпропаганда.....	266
<b>Александр Крюков.</b> Пророк.....	271

## **ХРОНИКА ТЕКУЩИХ СОБЫТИЙ**

### **В ИЗРАИЛЬСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ**

<b>Андрей Зоилов.</b> Благая весть безвестным авторам.....	280
<b>Литература под прицелом науки.....</b>	284
<b>Дневник событий русско-израильской литературы апрель-июнь 2023.....</b>	298

## **СТИХИ И СТРУНЫ**

<b>«Два динозавра пьют за то, что недовымерли».....</b>	305
---------------------------------------------------------	-----

## **БОНУС ТРЕК**

<b>Филипп Николаев.</b> И не такое бывало.....	307
------------------------------------------------	-----

*На титульной странице: Александра Неронова (см. стихи на стр. 185).*

# ПРОЗА

Дина Рубина

## Дызайнэр Жора *главы из нового романа*

### Глава первая

– Жорка! Жо-о-орка! Ты где опять законопатился, паршивец! Вот погоди, найду, будешь уши свои оборванные как грибы собирать. Вот найду, ох найду-у-у!

Не найдёт. Она никогда его не находит. Поорёт и хлопнется...

Жорка очень зримо представляет себе, как Тамара хлопывается: лязгают зубы, губы защёлкиваются на замочек, медленно, на шарнирах опускается крышка черепа, который проворачивается и завинчивается для надёжности на костяной резьбе позвонков; в ушах Тамары – замочные скважины, в каждой крякает ключ... И вот она стоит, закрытая шкатулка, стоит и стоит себе, никому не надоедает, не орёт, не угрожает отослать его в Солёное Займище – «свиной с Матвейчем пасти»...

Стоит и стоит, пока он не отопрёт её и не запустит в дело.

В который раз ему приходит на ум, что в человеческой голове можно бы устроить парочку нехилых тайников. Он и сам сидит сейчас в тайнике, в одном из своих укрытий, разбросанных по двору. Это пещерка такая в поленнице дров, сложенных под навесом у самого забора, он её третье лето обустраивает. Между поленницей и дощатым забором есть зазор для лучшей просушки дров. Проникнуть туда нормальному человеку немислимо, но Жорка тощенький, плоский, как шпрота, он втискивается бочком. Осторожно и медленно вытягивает несколько поленьев, расставляя по бокам упоры – вертикальные сваи, чтобы не завалило его тайную пещерку; забирается внутрь и проползает к продольной щели меж двумя чешуйчатыми полешками...

Удобная позиция: перед ним – весь огромный двор. Вон за спиной разъяренной Тамары ступает с крыльца соседка с полным тазом выстиранного белья. Видать, опять поруга-

лась с Шестым, обычно тот самолично развешивает стирку – свои кальсоны, необъятные панталоны жены. Ясно, поругались: высокий восточный голос Шестого из окна их кухни:

– Я вас оччень уважаю, Ольга Федосеевна, но я вас посажу!

– Ой, напугал, посадит! – звонко кричит та, мощно потряхивая на обеих вытянутых руках мокрые сиреневые рейтузы, протяжные и тяжелые, как занавес клубной сцены. – Меня и в тюрьме покормят, а ты без меня с голоду сдохнешь!

Жорка сидит в тайнике, и в продольную щелку между поленьями (сам вырезал ножичком), наблюдает за Тamarой. Какое наслаждение следить за ней, оставаясь неуловимым! Скоро ей надоест скандалить в пустоту, она плюнет себе под ноги, повернётся и уйдёт в дом. Или станет базарить с соседкой, вон та уже занимает кальсонами нашу веревку. Впрочем, вряд ли у Тamarы хватит пороху сцепиться с Ольгой Федосеевной.

Та чуть ли не каждый год брала себе мужа «на пробу». У соседей те получали порядковые номера. Ныне это был Шестой: маленький, вечно чем-то разгорячённый то ли чечен, то ли тат, то ли ногайский татарин, с курчавыми плечами и заливистым голосом. Этот слегка подзадержался, – видать, певучий их дуэт чем-то Ольге Федосеевне импонирует.

Самым удачным её мужем был Первый, который погиб в Польше, и там же, под Варшавой, похоронен. Теперь Ольга Федосеевна имеет право каждый год ездить к нему на могилу. Уезжает она всегда в драном, на живульку смётанном полупердине, в таможенной декларации при этом декларируя шубу; там, на месте, покупает уж истинно ШУБУ – дорогую, роскошную, натурального меха. В ней и возвращается, спокойно и неторопливо проплывая таможду, – так океанский лайнер, минуя маяк, входит в бухту; шуба – она шуба и есть, вы меня понимаете? Моя - заявлена, говорила Ольга Федосеевна (если вдруг таможенник попадался прилепучий), вон, в декларацию гляди. Может, те лупу дать для разгляду?

По возвращению домой продавала шубу с большим наваром. Гениальная была спекулянтка.

Ну, а домой сегодня Жорка, пожалуй, и вовсе не покажется, потому как, по всем приметам, у дядь Володи начнётся запой, сегодня ведь получка.

Когда у дядь Володи начинался запой, об этом мгновенно узнавали все соседи: он выносил в палисадник стол, ставил на него проигрыватель и стопку пластинок, водружал бутылку, а то и две, водяры, и некоторое время прохаживался гоголем, изображая «культурного человека». Поначалу шаляпинский бас громыхал над двором: «Блоха?! Аха-ха-ха-ха! Бло-ха!!!».

Блоху сменял Мефистофель, со своим знаменитым саркастическим: «Люди гибнут за металл!». В этот момент, как по часам, на крыльце возникала Тамара, жалобно подывая: «Во-ов...но не на-адь...». «Сгинь, мырма жизни моей!» – гремел дядя Володя в одной с Шаляпиным тональности. Это, собственно, и знаменовало начало запоя...

Жидкость в бутылке стремительно убывала, оперные арии сменялись эстрадой: «А-ах, Арлекину-арлекину...» – раскатывала над двором Пугачёва, похохатывая, заводя весь двор, так что соседки, прополаскивая в тазу посуду каждая на своей кухне, подпевали: «Есть одна на-гра-да – смех!»

По мере погружения в бездну неутоленной любви и печали, песни становились всё задумчивей и философичнее: «...И когда я ве-ерила, се-ердцу вопреки-и... Мы с тобой два бе-ерега у одной ре-ки-и...».

Затем всё шло по нарастающей: со второй бутылки слетала крышечка, настроение песен менялось на торжественно-патриотичное: «День за днём идут года-а... Зори новых пАкАлений...». В какой-то момент дядь Володя пускался в пляс, горланя на весь двор: «Ле-енин всегда жи-во-ой...» – значит, дело близилось к развязке.

«Не ссыте, суки-граждане! Я закон бля-блюду!» Ровно в 22.55 он ставил гимн Советского Союза и выслушивал его стоя, с зачина до резины финального аккорда, правой ладонью отдавая честь, левую положа на сердце. Этот этап запоя можно было считать торжественной увертюрой.

На другой день с утра начиналось первое действие данной оперы: скандалы с верхнего этажа и до самого низу. После энной бутылки водки дядь Володя приступал к обходу соседей. Минут сорок, цепляясь за перила, вздымал себя на третий этаж, где (будучи левшой), в первую очередь ломился в квартиру профессора Федорова – ту, что слева. Получив там пизды (выражение самого профессора), отлетал к противоположной двери, к профессору Случевскому, получал и там того же, и рывками скатываясь на второй, а затем и нижний этаж, всюду скандалил и дрался, и просил

на жопу орден, пока, наконец, украшенный фонарями и ссадинами, на славу отмолоченный, не вываливался во двор, где ссал на развешенные для просушки простыни. Тут на святую защиту своих простыней выбегала, с мухобойкой в руке, другая Тамарка, Тамарка-татарка. Рука у неё была тяжёлой, дралась она, уворачиваясь от ядовито-желтой мочи алкаша, метко целясь и удачно попадая. Тогда на защиту кормильца шла в бой Володина жена Тамара, крича: «На больного человека, блядь, на больного человека!!!». Их поединок вокруг дядь Володи, который путался под ногами, меж кулаками и коленями двух этих женщин, становился завершающим трио, грандиозным финалом оперы.

Где в это время были остальные соседи? Болели! Болели громко, увлеченно, отдохновенно: такой спектакль! Высыпав на деревянную галерею («Уж ложки блещут»), свешиваясь из окон, орали: «Тамарка! По яйцам ему, гаду, союз бля ему нерушимый, чтоб ему всраться!!!» – и в этом могучем единении, в этом народном порыве, не было, вот уж точно, ни научной элиты, ни рабочего класса, ни эллина, ни иудея.

Следующие дня три дядь Володя просто тихо пил; за окном кухни на первом этаже маячила лишь сивая макушка его поникшей головы. А выйдя из запоя, ходил по соседям по той же траектории, сверху вниз, вежливо стучась в каждую дверь и со скорбным достоинством принося свои глубокие извинения.

В остальные дни месяца Владимир Геннадьевич Демидов, человек уравновешенный и неразговорчивый, работал бригадиром ремонтников на судостроительном заводе имени Третьего Интернационала, для чего каждое утро тащился на трамвае через Жилгородок на другой конец города.

\*\*\*

Перед Жоркой в щели его тайного убежища – полуденный двор их волшебного многоколенного дома. Главное, видна арка, где, в конце концов, должен возникнуть Агаша, его дружок-закадык; хотя, кажется, этот момент никогда не наступит. Да нет, закончатся же, в конце-то концов, уроки в школе, куда сам Жорка сегодня решил не ходить – а что он там забыл? Что забыл он там именно сегодня, когда математики нет по расписанию, а водонасосная станция под Желябовским мостом должна спускать из Кутума воду в Волгу? Вот это радость, вот это ликование для пацанов! В такие дни они всем двором бежали на Кутум охотиться на



раков. Главное, надеть резиновые сапоги и не забыть ведро. Дно Кутума покрыто глубокими лужами, там и сям обнажена глинистая земля, заваленная камнями. Ты спускаешься вниз (набережная Кутума метров на пять, а то и больше, выше уровня речки), бродишь меж камней, переворачивая их палкой. А под камнями копошатся, извиваются раки. Собираешь их в ведра, моешь в принесенной воде, а когда стемнеет, разводишь на берегу костёр...

Из подобранных железяк-арматурин мальчишки сооружают треногу, на неё подвешивается котелок. Дождавшись, когда вода закипит, солят её и забрасывают в неё раков... Жуткое, но увлекательное зрелище: вода бурлит бурунчиками, рак вздрагивает, дёргается и крутится... В воду хорошо бы добавить пиво, от него рачье мяско становится нежнее, и Жорка всегда надеется стащить бутылку «Жигулевского» у дядь Володи. Да у того разве задержится!.. Когда раки становятся красными, как жгучий перец, воду сливают, и смешиваясь с речной свежестью, вокруг разливается райское благоухание! Ох, и вкусные они, эти кутумские раки – крупные, мясистые! До ночи сидят мальчишки вокруг костра, отколупывая рачьи шейки, клешни, тщательно обсасывают корявые рачьи ножки...

Их никто не гоняет: пацанва занята, не безобразит, никого не задирает. А костёр – ну, что ж: пионерский, можно сказать, атрибут: все мы были пионерами, взвейтесь кострами, орлёнок-орлёнок...Интересно, а орлиное мясо – съедобное?

От Кутума, даже опустошенного, шел здоровый ядреный запах – не тины, а Волжской воды понизовья. Да, это вам не Ульяновская Волга: это – дельта, здесь всегда пахнет изобильной рыбой.

Жорка лежит, животом ощущая колкие чешуйчатые поленья, панорамирует в щелку двор и наслаждается тем, что сам невидим и неуязвим. Его нет! Ну, почти. Он же не дурак, знает, что наука ещё не достигла, хотя Торопирен уверяет, что грядёт то времечко, когда человек в любой момент исчезнет и в секунду перенесётся... да куда захочет! Ну, посмотрим-поглядим, Торопирен порой свистит, как дышит. Например, уверяет, что может управлять любым самолётом. Ха! Да он во время войны сам пацаном был, какие там самолёты, откуда!

Нет, Жорка мечтает стать невидимым для других: вот он сидит в чьём-то выпученном глазу, крошечная мошка. Ему

часто снятся такие прятки-сны: внезапно увиденная в стволе дерева щель, в которую он втягивается ящеркой; или круглая трещина у самого хвостика астраханского арбузища. Снились ещё музейные статуи (после культпохода шестого «А» в музей на улице Свердлова) – стоят они, полые, в незрячих глазах – отверстие зрачка. Его всегда завораживала, всегда тревожила гениальная конструкция человеческого глаза, его непроницаемость – в отличие от уха, например.

Спустя лет сорок он сделает остроумный тайник в резной фигурке окимоно: японский монах верхом на карпе. XVII век, китайская резьба... Именно в глазу того карпа один его знакомец и вывезет из аэропорта Антверпена, наводненного полицией, редкой чистоты старинный изумруд, извлеченный из знаменитой тиары некой венценосной особы. Изящные вещицы эти окимоно: слоновая кость, тонированная чаем.

Ёмкость уха он тоже неоднократно использовал в своих целях, а тончайший пластырь телесных оттенков, с помощью которого лепил ухо Гусейну, прокаженному, потерявшему правое слуховище на пути из одного лепрозория в другой, заказывал впрок в маленькой театральной мастерской на улице Lamstraat, в городе Генте.

Весь мир он видел и ощущал, как игру, как переключку тайников. У каждой материи и каждого предмета была своя тайниковая физиономия: лукавая или простодушная, покорная или коварная. Утюг был не просто утюгом, а возможным схроном для мелких предметов; тостер на кухне, простая клеенка на столе, сухая вобла... наконец, стена (о, стена – это извечная неограниченная возможность спрятать что угодно!) – ждали мгновенного клика его изощренного тайникового ума, дабы превратиться в укрытие. Он шёл по асфальтовой мостовой, и под ногами у него простиралась тайниковая прерия, океан неисчислимых возможностей по созданию тайны. Мир под его взглядом распадался, множился, расчленился на тайники, закручивался и намертво завинчивался над тайниками.

В то время он уже носил имена в зависимости от страны пребывания. Целая колода имен, правда, одной масти: Жорж, Георг, Юрген, Щёрс... – выбирай, что нравится. От фамилии избавился давно. Никто её и не знал, и не видел, кроме пограничника в будке паспортного контроля. Ни в деловых переговорах, ни в тёрках никогда не мусолил фами-

лию. Кажется, он и сам её запомнил. Просто: Дизайнер, как в том, ещё советских времен анекдоте: «Вижу, что не Иванов».

Между тем, фамилия его была именно что – Иванов. Но представлялся он: «Дизайнер Жора» – Георг, Жорж, Юрген, Щёрс... Так его и Торопирен именовал, в мастерской которого он ошивался в детстве и отрочестве всё свободное время: «Дызайнэр! Ты – природный дызайнэр, Жора!». Звучало чуть насмешливо и кудреватое, тем более, что Торопирен слегка катал в гортани мягкий шарик «эр» и вообще говорил с каким-то странным-иностранным акцентом. «Только тебе учиться придется. Много учиться!» – и улыбался чёрными пушистыми глазами болгарской женщины, и тыкал в потолок сарая аристократическим пальцем британского механика. Руки у него были противоречивые: красивой формы, гибкие, даже изысканные, но обвитые жгутами вен, как, бывает, растение выводит из тесного горшка наружу узлы корней.

– Учиться разнимать материю жизни. Понюхать, пощупать, слезами полить, матом покрыть... и снова её собрать, но уже в собственном порядке. Об-сто-ятельно, умоляю тебя. Нышт торопирен!

Вообще-то, по-настоящему Торопирена звали Цезарь Адамович Стахура. Цезарь, ага, ни много, ни мало. Сам он произносил это имя с византийской пышностью, с ударением на А, слегка растягивая: ЦэзА-арь... «И он говорит мне, сука сутулая: «Цэзарь Адамыч, при всем моём к вам почтении, эта работа столько не стоит!».

Работал он слесарем-механиком в НИИ Лепры – да-да, в лепрозории на Паробичевом бугре, что на окраине Астрахани. Там же и обитал в мастерской – отдельном одноэтажном домике с подвалом, куда никого, кроме Жорки, не пускал. Изготавливал в своей закрытой, отлично оснащённой мастерской сложнейшие лабораторные приборы, вроде настольного стерильного бокса для манипуляций с культурами клеток, – в Союзе тогда не выпускали боксов такого типа. Каких только инструментов не нашлось бы в его мастерской: великая рать кусачек, пилочек, ножничек, тисков-тисочков... И разложены все ак-ку-ратнейше по родам войск, так сказать, в истинно немецком порядке. А был ещё такой специальный часовой микроскоп, куда вставлялись приборы иностранного происхождения, с именем французского сыщика: Пуансон. Множество, целый взвод. Каждый,

как солдатик в окопе, сидел в специальной лунке, в старинном ящичке, на крышке которого написано было: «Potans Bergeon».

И действительно, любой самолёт был ему, боевому летчику, точно преданный пёс.

Это правда, Большая война обошла его боями – по возрасту; зато успел он попасть на другие войны в другой стране, где в досталь повоевал и в досталь налетался. После чего, прокрутив парочку смертельных виражей (фигур высшего уголовного пилотажа, типа ранверсмана или хаммерхеда), приземлился тут у нас в Астрахани, где косил под поляка, хотя, частенько пропускал словечко-другое на идиш...

Польша тогда вообще была у нас в моде: Анна Герман, Эдита Пьеха, «Пепел и алмаз» Вайды, «Солярис» Станислава Лема... ну и «Червоны гитары», и новый джаз, – не говоря уж о лаковых туфлях и приличных костюмах, серых, в полосочку. Польша была отблеском Запада и, несомненно, самым весёлым баракком в социалистическом лагере...

Стахура, да. Цезарь Адамович. Любопытно, что вот уж этот виртуоз международного криминального мира имени фамилии своих никогда не менял.

## Глава вторая

...Впрочем, менял, конечно, но в довоенном Варшавском детстве. Вернее, меняли за него, мнением пацана особо не интересуясь. Отец его, Абрахам Страйхман, сын и внук варшавских часовщиков, всем существом своим наточен был на чуткий секундный ход времени: его предки поколениями вникали в драгоценные тикающие механизмы, и за пару веков собрали недурную фамильную коллекцию шедевров часового и механического искусства.

Был Абрахам невысоким человеком с остроконечной эспаньолкой, в народе называемой шпицбрудкой, с обширной лысиной, по субботам увенчанной бархатной ермолкой, с быстрым и зорким взглядом серых глаз. Подвижный и порывистый от природы, по роду профессии, однако, он подолгу застывал над часовым механизмом, зажатым в потансе (микроскопе-станочке), и в эти минуты, с лупой-стаканом на правом глазу, с пуансоном в руке, ходил то ли на единорога, то ли на рыцаря перед схваткой. А скорее, на рыцаря верхом на единороге.

Вонь палёного этот пронизательный человек чуял задолго до поджога, до полицейской облавы, до погрома. «Мне это воняет», – задумчиво говорил он, просматривая газеты, и после этих слов принимал решения на посторонний взгляд странные, а то и вовсе дикие, озадачивая не только соседей, но и собственную семью.

Первый этаж дедовского каменного дома на Рынковой улице занимала мастерская, святилище часового божества, она же – торговый зал, уставленный витринами с часами наручными и карманными, с часами-шкатулками, часами-табакерками, часами-веерами и часами-браслетками, часами-медальонами и даже крошечными часами-кольцами.

Солидный был магазин, с товаром на любой вкус: были здесь представлены и дорогие часы старинных уважаемых фирм, вроде Patek Philippe, Jaeger-LeCoultre, Vacheron Constantin, Breguet... – с хронографом, вечным календарём, минутным репетиром, – и расхожие часики для народа попроще.

Здесь же, за шкафом, в отгороженном углу стоял рабочий стол Абрахама Страйхмана, за которым производилась починка и отладка всевозможных, в основном, старинных часовых механизмов, от которых отступились другие, не столь изощрённые и опытные, как Страйхман, мастера.

Семья проживала в том же доме, в шести комнатах на втором этаже. И вот уж в этих комнатах...

Нет, в квартире Абрахама Страйхмана имелась, конечно, и необходимая мебель: кровати (нужно же на чем-то спать!), обеденный и кухонный столы со стульями (нормальным людям полагается же где-то есть!), диван и кресла в гостиной (в доме и солидные господа бывают!)... Ну и в лампах недостатка не было: люстры, торшеры, настенные светильники, мелкие лампочки с остро направленным лучом для разгляду (чуть не по дюжине в каждой комнате), – ибо было на что посмотреть, было чему подивиться в этом доме. Но всё свободное пространство, каждая пядь всех шести комнат, включая даже кухню и прихожую, – было отдано царству часов.

Все стены, консоли, полки и полочки, круглые резные подставки на высокой ноге, навесные, угловые и напольные этажерки, жардиньерки и стеллажи, ломберные столики, за которыми никто никогда не играл в карты (глупство, идиотское занятие!) – всё было уставлено и увешано часами.

В спальнях детей – старшей Голды, десятилетнего Ицхака (по-домашнему Ицика или Izio, что по-польски произносится мягко, уютно, словно ёжик свернулся: Ижьё), а также младшенькой Златки, – тоже тикали, звенели, куковали и мелодично били на разные голоса неумолчные часы, часы, часы...

Было их в квартире триста восемьдесят семь, и никто не гарантировал, что в один прекрасный день отец не поднимется из мастерской с торжественным и счастливым лицом, бережно обнимая каминные, или настенные, или интерьерные, или волоча на спине напольные – триста восемьдесят восьмые – , особенно редкие, прямо драгоценные часы, которые он выкупил у хозяев по совсем пустяковой цене. И не вопи, Зельда, вот тут есть местечко между креслом и подоконником, а если не встанет, то кресло долой: кому здесь расслаживаться. Зато послушай этот бой – послушай этот бой: серебряное горлышко его выводит, и так потаённо, так издали, – чистый ангел...Его будет слышно даже с небес!

Действительно, дом звучал... Он звучал днём и ночью, неустанно отбивая, отзванивая, выводя обрывки мелодий, выпевая и звонко отстукивая серебряными молоточками четверти и половины, и весомые полные часы. Зельда называла свои дни и ночи «сумасшедшим домом», но точно, как бывалые санитары в доме скорби не обращают внимания на крики, стоны и визг умалишенных, так и вся семья Страйхман спала, как убитая, под звон и бой, и протяжный гуд, и чирик-чирик, и наперебойное «ку-ку!» и звяканье рюмочек, и короткую паровозную одышку, и туманный гул паровой рынды, и оклик волшебной флейты, и виолончельный вздох усталых пружин... Обитатели этого дома годами, десятилетиями плыли в ночи, сопровождаемые добрыми голосами старинных часов, и прожитые их предками века невидимыми часовыми вставали границей их сна, отбивая полные часы, четверти и половины...

\*\*\*

Любая страсть, любая одержимость делом ли, удовольствием, или собранной дедом и отцом громоздкой коллекцией часов может утомить человека не заинтересованного. Вполне достаточно нескольких слов о наследственном безумии хозяина дома на Рынковой улице, чтобы читатель составил себе представление о плотности заселения этой, в сущности, не огромной квартиры, тикающими механизмами. Но...

Но как не перечислить, как не описать, хотя бы бегло, отдельные жемчужины фамильного наследия zegarmistrza, Абрахама Страйхмана!

Были здесь изрядной ценности каминные часы из первых французских, что появились около 1760 года и работали до восьми дней без завода: высокий готический замок из редкого сплава латуни и серебра. Фаянсовый циферблат, с расписанными вручную римскими цифрами, с оплетенными паутинной серебряной вязью стрелками, помещался в высокой башне, по зубчатой площадке которой двигались двое часовых, каждый час меняясь местами. Их серебряные фигурки были выточены с таким ювелирным мастерством, что на лице каждого (а они были абсолютно идентичны!) можно было отметить лихо закрученные усы и окладистую бороду, волосок к волоску. Пока они плыли навстречу друг другу, слегка покачиваясь в бороздках, часовой механизм негромко выпевал французский военный марш 17-го века «M'sieur d' Turenne»:

«M'sieur d' Turenne a dit aux Poitevins

Qui a grand soif et lui demande à boire...»

Часы так и назывались «Мсье Тюренн», были просты в заводе, запускались по пятницам, перед шабатом.

Красное дерево, бронза, золочение – какая разница, что за материалы пошли на изготовление следующего чуда, если каждый гость просто застывал в дверях гостиной, не в силах сделать следующего шага: с порога в глаза бросались на противоположной, сплошь завешанной стене, австрийские часы: ажурный замок с витыми колоннами, портиком, двумя флагштоками и аркой над голубым фарфоровым циферблатом, который обнимали два золочёных ангела с лукавыми, и не вполне святыми лицами. В семье эти часы носили прозвище «Два прощелыги». Их обожала кухарка Зося. Трогать не смела, это и никому не дозволялось, но проходя мимо, умильно крестилась и говорила: «Ну до чего чертовские рожи у этих ребят!»

В углу стоял Thomas Schindler, Canterbury – эпоха правления короля Георга III, – английские напольные часы в стиле рококо, музейный экземпляр. Они носили простое и гордое прозвище «Монарх», и восхищенному зрению некуда было деться от избыточности рококо: тут и медный циферблат с изысканной ручной гравировкой, с римскими цифрами на посеребрённом круге, и по всему корпусу золотые накладки в виде морских коньков, дельфинов, ветров, дую-

щих сквозь щечки-мячики кипящими струями, как из брендспойта...

А рядом с этим сверкающим под люстрой водопадом – старинные французские часы в стиле ампир, с благородным декором из севрского фарфора прохладной остужающей лазури, с высоким гребнем, на волне которого застыл воинственный греческий бог третьего ранга: голышом, но в шлеме, с поднятыми руками, в правой – копье.

Главным украшением гостиной был большой картель с браслетом и консолью из шпона палисандрового дерева, – стиль Регентство, период Наполеона III. Он вызывал у гостей неизменное восхищение. Корпус из прочеканенной золочёной бронзы напоминал помпезный фасад замка; множество очаровательных деталей: листья и грозди, вперемишку с целой стаей мелкой лесной нечисти, и каждая фигурка отлита отдельно, и все собраны в сложнейшую, виртуозную композицию, обрамленную гирляндами благородного лавра, символа победителей. Венчал эту королевскую рать «Святой Грааль» – неперменный атрибут, божественная суть династии Меровингов. Дед Абрахама привёз эти часы из Любека лет пятьдесят назад и назвал их «Увертюрой», возможно, потому что звучали они каждый час протяжным скрипичным арпеджио, замирая на вопросительно высокой ноте.

Ну-с, побежали, побежали дальше...

Были в коллекции резные деревянные избушки и храмы, и миниатюрные дворцы: античные колонны с капителями, портиками, башенками, с медными и серебряными аппликациями, с алтарными рогами многих оттенков разнообразной древесины. Были каминные часы в фарфоре и дереве, и часы, выполненные в технике ормолу, украшенные резьбой и фигурами античных персонажей. О, это население часовой империи: зевсы и адонисы, артемиды и вулканы, фавны и нимфы, русалки и тритоны; целый дивизион разномастных ангелочков, вездесущих, как мухи; целый табун летящих коней; целая стая орлов и лебедей; целая псарня гончих; целый прайд львов; наконец, целых три Леды (две бронзовых, одна чугунная позолоченная), в изнеможении поникших под могучими лебедиными крылами...

В столовой, на стене за круглым столом издавна жили старинные (середина 16-го века) часы-фонарь с Британских островов: квадратный корпус из латуни на шаровидной ножке, большой круглый циферблат, колокол глубокого печального тона. Под этим «Фонарём», под скорбный его го-



лос Абрахам листал газеты, похмыкивая, почёсывая бровь, качая головой и задумчиво бормоча своё «мне это воняет»...

Все четыре стены комнаты Голды, старшей дочери Абрахама, демонстрировали веселый оркестр настенных часов, сработанных в стиле музыкальных инструментов: банджо, лютней, гуслей... Кроме того, здесь бытовали тринадцать часов с кукушкой! – и когда птички показывались в круглых или квадратных оконцах, вся комната перекликалась и похохатывала их оживленными глуповатыми головами. Тут же висели настенные консольные часы с пружинным приводом: тёмно-розового нежного тона фарфоровые вставки в корпусе эбенового дерева; а ещё были «картинные часы», вписанные в позолоченную раму в стиле бидермейер. Две эти диковины Голда выпросила у отца ещё в восьмилетнем возрасте на свою свадьбу. «Скоро ли та свадьба?!» – улыбаясь, заметил отец. Никогда ни в чем не мог отказать любимице. «Не волнуйся, не за горами» – парировала языкатая девчонка.

В комнате пятилетней Златки, как самой крепко спящей особы, стояли по углам трое «генералов». Двое были похожи, как братья: узкобедрые стройные гренадеры, наполненные часы английского мастера Джозефа Тейлора, конец XVIII века. Зато третий механизм, простоватый на вид, вроде шкафа, поставленного на попу, с двумя мощными рогами в наверхии, – тот, берите выше: не генерал, а маршал: плечистый и могучий Густав Беккер. Это орган был с четвертным боем, а не часы, потому как механизм его, как и механизм органа, оснащен был трубами! И огромные гири на цепях сияли за стеклом – свинец в латунном цилиндрическом корпусе, – а самая большая гиря весом в 13 кг. Басовитый голос Беккера перекрывал всю прочую музыку дома, и можно было представить, вернее, сочинить, вернее, если повезёт, приснить себе, как Маршал Густав ведёт своё часовое войско на завоевание Города.

Однако истинным богатством, истинными чудесами и благословением дома были два произведения минского часовщика Абрама Лейзеровского, гения и затейника. С ним водил знакомство и совершал сделки ещё отец Абрахама Страйхмана, Ицхак, тоже незаурядный часовой мастер и ювелир. Они познакомились в 1909 году на международной выставке часов в Санкт-Петербурге, где сложные механизмы Лейзеровского потрясли и участников, и организаторов,

и посетителей выставки. Вернее, два мастера встретились в субботу в Большой хоральной синагоге на миньяне, разговорились после богослужения, и уж потом все дни выставки не разлучались; идиш для обоих был родным языком.

Деда Страйхмана захватила маниакальная идея приобрести хотя бы одни часы минского мастера. Они переписывались много лет, и Лейзеровский то давал слабину, то вновь запирался, не в силах расстаться со своим уникальным созданием... Но тяжело заболев, и уже понимая, что время его на исходе, желая оставить семье средства к существованию, гениальный мастер вызвал Ицхака Страйхмана к себе. Тот примчался в Минск, и сделка – буквально на смертном одре – сладилась. Дед приобрёл две главные драгоценности своей коллекции, в которые вложил все свои деньги, да продал несколько дорогих экземпляров часов, ну и, кроме того, до самой смерти выплачивал немалый долг и Варшавскому обществу взаимного кредита, и какие-то меньшие суммы друзьям-часовщикам, а уж завершил платежи его сын Абрахам, нисколько не тяготясь драгоценным долгом.

Так что ж это были за чудо-механизмы?!

Одни часы представляли собой крепость высотой в полтора аршина. Циферблат помещался в башне, по верху которой безостановочно, в такт ходу, двигался часовой. Второй солдат каждые четверть часа выходил из будки, брал винтовку, делал выстрел, затем ставил винтовку рядом с собой. Под башней проведена была железная дорога. И каждые четверть часа из крепости выползал паровоз с тремя вагонами. Навстречу ему выскакивали три солдата: один звонил в колокол, другой водружал флаг, третий опускал шлагбаум. Часы были суточного завода, но заводил их отец (собственноручно!) только на Хануку.

Другие часы Лейзеровского заводились на Песах. Это тоже был замок, и из одних чеканных ворот в другие тоже проходила железнодорожная колея. Через каждые пять минут служитель на платформе давал звонок, раздавалась музыка – восемь начальных тактов марша лейб-гвардии Драгунского полка. Из средних ворот выкатывалась публика, которую встречал жандарм. По своим скрытым под платформой колеям плыли пары под руку: господа в цилиндрах, дамы в шляпках... Из правых ворот выезжал поезд с пассажирами. Ровно через пять минут сторож флажком давал сигнал об отправлении, поезд трогался, пыхтел,

скрывался в левых воротах, а публика укатывалась обратно.

\*\*\*

И на этом довольно бы часов, не правда ли? Довольно уже сложных механизмов, в глазах от них рябит, а от золота и латуни, от серебра да бронзы, от цветного фарфора и дерева ценных пород с души воротит человека с утонченным вкусом: «Co zanadto, to nie zdrowo», - хорошая пословица: «Всё, что слишком, то не здорово». Ну, и довольно уже, пора завершить беглое знакомство с домом на Рынковой и с коллекцией часов, что одушевляла, отсчитывала и озвучивала жизнь нескольких персонажей примерно в середине прошлого века...

Однако напоследок заглянем ещё в одну комнату этой квартиры.

Она небольшая, но и не клетушка, квадратная, удобная, с голландской печью, облицованной бело-голубыми изразцами: на каждой плитке – синяя бурбонская лилия; они, вроде бы, одинаковые, но если всмотреться, если поочередно прищуривать то правый глаз, то левый...

Тут жил десятилетний мальчик.

Комната Ицика, (Ижьо, как называли его домашние), по количеству каретных часов представляла настоящим логовом матерого путешественника. Полки и стеллажи были уставлены самыми разными представителями этого мобильного отряда армии часов, придуманными в конце 18-го века легендарным мсье Бреге (его звали, как папу – Абрахам), для военных компаний Наполеона Бонапарта. Весёлые часики, чьи колеса и пружины видны сквозь стеклянную фасадную панель, и так дружно щелкают и тикают внутри, завораживая взгляд, – они были самыми любимыми в коллекции отца. В некоторых имелись и календарь, и колокольчики, и овальное застеклённое окошко в верхней грани корпуса, в котором виден баланс часового механизма, и застеклённая дверца сзади, чтобы заводить его специальным ключом и регулировать точность хода. И можно смотреть на эти милые переносные часики, сколь угодно долго, придумывая почтовый дилижанс, длинную-длинную дорогу, военный поход, ночёвки на постоянных дворах, или прямо в мягкой траве, под могучим деревом; представляя негромкий деликатный бой в темноте, в ночной карете... А ещё можно придумывать бегство и погоню, и схватки с разбойниками, и авантюрные приключения...

(Отец считал Ижью мальчиком слишком мечтательным, втайне вздыхая: эх, поменялись бы характерами дерзкая упрямая Голда и его нежный, как девочка, сын).

Среди изрядного количества каретных часов, английских и французских, тут было несколько действительно отменных экземпляров: например, невероятно сложный, подлинный Бреге 1798 года. Как и все часы, эти били четверти, часы и половины, но ещё и были будильником, ещё имели вечный календарь и циферблат в виде луны. А главное, целиком были произведены вручную. Подумать только: эти часики были созданы руками самого Абрахама Бреге и его сына Антуана-Луи!

Да, комната мальчика была заповедником каретных часов. Впрочем, помимо них, были в этой комнате ещё одни часы, дворцовые-каминные, темно-зелёного мрамора с волнистыми белыми прожилками. Навершие золотое, – муза Клио с книгой в руках. Папа говорил, что часы обычные, «шикарные, но не важные»: просто ампир, просто Франция, середина 19-го века; просто подарок на его юбилей от Гильдии зэгармистжев, или зэйгарников – на идише.

Но всё-таки часы были изумительны, глаз не отвести: мрамор - грозный штормовой океан, а если долго всматриваться, среди бурных волн едва различим борт полупотопленной утлой лодочки. И так прекрасна, так изящна золоченая дева Клио: босая, в складчатой тунике, – она сидела на низкой банкетке, перекинув ногу на ногу и чуть отвернувшись от Ижью. Золотые косы на прелестной головке уложены полукружьями. И такое спокойствие, такая невинность в тонком античном лице.

В отсутствие камина, часы стояли на столе, за которым Ижью делал уроки. Он хотел, чтобы Клио всегда была перед глазами. Он был в неё тайно беззаветно влюблен.

Разумеется, мальчику тоже предстояло стать зэгармистжем, зэйгарником, ничто иное даже не обсуждалось. Ему предстояло наследовать магазин и мастерскую, драгоценную коллекцию часов и, главное, профессию. После окончания гимназии его ждала Ecoled Horlogerie de Geneve, Высшая часовая школа в Женеве. А там – ого-го! Там вершина твоего учения, итог твоих трудов, – это сделанные вручную карманные часы. И работаешь ты над ними всё время обучения, чтобы в конце изготовленные тобой часы прошли сертификацию на получение Женевского клейма, символа качества наивысшего часового искусства!

Отец уже года три как приучал его к делу. Каждый день, возвратившись из гимназии, поужинав (голодный желудок никакой учёбы дельно не переварит!) мальчик целый час околачивался в «мастерской» – том самом рабочем закутке, отгороженном от торгового зала застекленной витриной. Он именно что околачивался: то вскакивал и смотрел на руки отца из-за его плеча, то присаживался рядом на табурет, то (с недавнего времени) осторожно прилаживал тощую задницу на табурет отца, чтобы поработать паяльником. Отец уже поручал ему паять: соединять детали оловянным припоем и флюсом. Несколько раз уже мальчик успешно работал надфилем, мелким тонким напильником для точных работ, хотя до того много раз портачил. Но папа никогда его не бранил, никогда не повышал голоса. И даже когда всю работу переделывал, перед тем говорил: «уже лучше!».

Начинать надо с общих технических навыков, говорил отец: работа паяльником, надфилями, тонкими отвертками, которыми закручивают мельчайшие болтики; осваивать клёпку, нарезку резьб... Затем уже общие принципы часового хода, назначение основных узлов – но это учёба на годы, повторял он. (Сам прошел такую же учёбу у своего отца, в честь которого был назван Ицик). Любого научить этому нельзя. Тут нужны не только умные пальцы, не только слух, как у скрипача... Нужны особые мозги и особое сердце, что тикает в унисон с часовым механизмом.

Ицик обожал отца. Обожал его руки с чуткими точными пальцами, с коротко и кругло остриженными ногтями. Обожал каждое их расчетливое скупое движение. Обожал мягкий тускловатый голос, и манеру говорить, тщательно подбирая слова. Абрахам имел обыкновение повторять трижды фразу, не варьируя порядок слов:

«Узел баланса состоит из анкерного колеса, анкера и маятника...»

Узел баланса (повторим, ингэле!) состоит из анкерного колеса, анкера и маятника.

Надеюсь, ты запомнил на всю жизнь: узел баланса – покажи-ка, где он у нас? правильно! – состоит из анкерного колеса (так!), анкера и маятника...»

Считал, это помогает в деле, входит в голову и оседает там надежным фундаментом.

Отец вообще знал прорву самых разных сложных вещей, и главное, умел их объяснить так обыденно просто: говорил: ты спрашивай, спрашивай, что в голову придёт, постараемся разобраться. Ицику приходило в голову бог весть

что: откуда взялись зеркала и линзы, почему поезд разгоняется на большую скорость, чем автомобиль, как держится в воздухе аэроплан, что случилось с Римской империей, и почему к старости непременно нужны человеку очки. И отец никогда не отмахивался, даже от самых дурацких вопросов. И почему-то ответ на любой вопрос мальчика приводил их – кружным путём, порой и очень далёким, – к часовому делу, к какому-нибудь шпindelьному спуску с двуплечим балансом, или к фрикционной муфте для облегчения вращения стрелки...

На рабочем столе Абрахама, застеленном чёрным сукном (на чёрном легче заметить выпавшую мелкую деталь), всегда открыт ящичек Potans Bergeon, старинный швейцарский набор часовых инструментов, купленный в Швейцарии ещё дедом самого Абрахама, и прадедом Ицика, первым зэйгарником в роду Страйхманов.

В ящичке: слева – отделение для потанса, станочка-удальца, в который вставляются пуансоны, ударные инструменты. А пуансонов этих, самых разных, – целая рота. Вот они, справа, каждый сидит в своей лунке, как солдат в окопе. Пуансон вставляется в потанс, и сверху по нему чётко, остро и легко ударяют молоточком: запрессовывают камни в карманы; крошечные рубиновые камни, – они уменьшают трение, и потому используются в часовом механизме вместо подшипников.

В больших часах их не бывает, только в наручных и карманных. Маленькие камешки, совсем-совсем крошки – и руками это сделать совершенно невозможно, даже если вообразить, что ты – Мальчик-с-пальчик, и палец у тебя с острие иголки. Нет, микроскопические рубиновые камни запрессовываются микроскопически точно, и вбивать их надо под определённым углом. Часы вставляются на такую подставку в потансе, сверху строго вертикально опускается точно подобранный пуансон. Он опускается на камень, сверху по нему ударяет молоточек, и... вот он, камень, запрессован в карман механизма часов!

\*\*\*

Еврейский район Муранов не был, мягко говоря, благополучным, а тем более, престижным районом довоенной Варшавы; Рынкава улица, со своими кабаками, лавками и ломбардами, с огромным раскидистым рынком и его окрестностями, кишачими ворьём и попрошайками всех

специализаций, в прежние времена вообще именовалась Гнойной.

Неподалеку от дома Страйхманов, за углом, располагалась легендарная «Чайная» Жирного Йосека, хасида Юзефа Ладовского. Чай там, конечно, тоже наливали, и рыночные торговцы, бывало, заскакивали туда выпить чайку перед длинным днём. Но главное, был этот круглосуточный кабак (исключая, разумеется, святую субботу!) местом встречи самых разных прелюбопытных типов. Сюда наезжали кутить офицеры и судейская публика, засиживалась до утра богема разных сортов: охотно бывал кое-кто из модных литераторов, не говоря уж о музыкантах, сменявших друг друга над расстроенной клавиатурой фортепиано; не брезговал сюда заглядывать адъютант самого Пилсудского, светский лев и волокита, и не дурак подраться; цвет криминальной Варшавы устраивал здесь время от времени толковища, а представители радикальных кругов польской молодёжи: социалисты, анархисты и чёрт их знает, кто ещё, с их претензиями к миру, проводили «У Жирного Йосека» шумные собрания, частенько переходящие в мордобой.

Спустя несколько лет именно там, на Рынковой, а ещё на соседних к ней улицах Банковой, Гржибовской, Электоральной, Новолипки, и Зэгармистшовской (что и означает "Улица часовщиков"), простёрлось гетто, куда нацисты загнали и законопатили всё еврейское население Варшавы, исчерпав терпение господ, изничтожив саму идею божественной сути и назначения человеческих существ...

Но вот уж кто не собирался дожидаться библейского заклания агнцев, так это Абрахам Страйхман. Ему воняло... Давно ему воняло. После смерти Пилсудского в 1935-м Польша стала быстро наливать антисемитским гноем, и нарыв этот всё разбухал и багровел, источая ненависть и жажду грядущей великой крови, – хотя культурная жизнь межвоенной Варшавы по-прежнему была ключом, и многочисленные кабаре и музыкальные театры поставляли всё больше популярных песенок и зажигательных эстрадных номеров: всё выше взлетали девичьи ножки на убранных красным плюшем маленьких полукруглых сценах, всё зазывней крутились попки в коротких юбочках, и хотя по Варшаве ещё цокали более тысячи конных экипажей, не говоря уже о конках, всюду разъезжали и такси, чёрные автомобили марки «Ford», с продольной полосой из красных и белых шашечек, стильные «опели» и «мерседес-бенцы», а

на шикарные кабриолеты «Maybach SW38» граждане, бывало, заглядывались так, что несколько человек уже угодили под колёса...

Когда в учебных заведениях Польши возникло и мгновенно вошло в обиход «лавочное гетто» – отдельная скамья на галерке, куда отсылали студентов-евреев, – когда в зачётных книжках появились «арийские печати» для поляков с правой стороны, и отдельные печати для евреев – с левой, Абрахаму Страйхману завоняло нестерпимо, тем более что дочь его Голда только поступила на медицинский факультет Варшавского университета. Кроме того, она работала медсестрой в еврейском госпитале на улице Чисте и твёрдо знала, что станет настоящим врачом. Абрахам волновался за дочь: слишком умная, слишком бойкая и упрямая девочка. Не для задней скамьи он её растил, не для заднего двора этой антисемитской страны. И не зря волновался, старый ворон. В один из дней начала студенческой жизни Голда прибежала домой в синяках и кровоподтёках, с дикими глазами, простоволосая... Случилось то, чего Абрахам, с его проклятой пронизательностью, и боялся: его гордая дочь отказалась проследовать на «еврейскую лавку», демонстративно усевшись впереди, перед кафедрой лектора. И все полтора часа невозмутимо строчила конспект, не обращая внимания на шиканье и оскорбительный шепот справа и слева. Так что, после лекции жидовку пришлось приструнить: зажав Голду в углу коридора и намотав на кулаки её русые кудри, несколько студентов с гоготом сволокли девушку по университетской лестнице и выкинули на мостовую.

Этой ночью Абрахам, со своим тонким слухом, отточенным многолетним часовым бдением, проснулся от шлёпанья босых ног в коридоре. Он вскочил, нашаривая на ковре ночные туфли и нащупывая очки, которые в волнении смахнул на пол... Выбежал из спальни и заметался по тёмной, привычно пульсирующей часовым стрекотом и боем квартире. Голду обнаружил в кухне – та стояла на табурете, прилаживая к потолочному крюку от люстры бельевую верёвку, с вечера завязанную скользющим узлом.

– Ай, красота-а... – пропел Абрахам. – Хорошее вложение в высшее образование...

Подскочил и столкнул дочь с табурета.



– Идиотка! – закричал он, схватив её за плечи и тряся, как деревце. – Если б мы вешались от каждого тумака говённого гойского мира, то фараон до сих пор правил бы в Египте!

Стоит ли говорить, что к ушибам и синякам дочери отец добавил парочку хлестких и злых затрецин.

Десятилетний Ижьо, разбуженный криками и плачем, переминался в дверях кухни, растеряно моргая. Его била крупная дрожь, и вовсе не от холода, хотя стоял он босой и в ночной рубашке: он никогда не слышал, чтобы отец кричал, никогда не видел, чтобы он поднял руку на свою любимицу, и никогда бы не поверил, что Голда при этом может так страшно, так яростно молчать, сверкая глазами, – в отличие от матери, которая рыдала, не переставая, мотая головой, как лошадь пана Пёнтека, их знакомого извозчика. И только семилетняя Златка продолжала спать в своей комнате в обнимку с плюшевой кошкой Розой, в окружении генералов, перешибающих своим гулким басом все остальные голоса и звуки...

\*\*\*

«Нет, - сказал себе Абрахам Страйхман, - у меня только трое детей, пся крив! У меня лишь трое детей, извините, Адонай, барухата, – конечно, мне некого приносить в жертву, до яснэй холеры!»

Изготовлением надёжных польских документов промышлял его приятель Збышек Хабански, фотограф, скупщик краденного, художник-миниатюрист милостью божьей; в росписи фарфоровых циферблатов ему не было равных.

За массивный золотой перстень с рубином и шесть серебряных вилок с вензелями князей Гонзага-Мышковских, он состряпал для Абрахама и Зельды, а также для их отпрысков убедительнейшие документы, согласно которым мишпуха Страйхман в одну ночь перевоплотилась в почтенное семейство Стахура. Ижьо, долговязый для своих лет подросток, отныне значился: Cezary Stachura, imieojca: Adam, imięmatki: Zenobia.

Разумеется, оставаться в Варшаве, даже и переехав в другой район, было делом крайне неосмотрительным. Зельда считала, что это мутное время надо пересидеть у своих. Что значит «у своих»? Где они? Разве вся улица Рынкowa, а также её окрестности не были когда-то «своими»? Нет, увы, не сейчас. Сейчас – конечно. Для Голды (Галины, запомнить покрепче, до яснэй холеры!) нужно ис-

кать другой университет, да и Ицик, то есть Цезарь должен закончить приличную гимназию, прежде чем мы отправим его в Женевскую часовую школу.

Вся многочисленная родня Зельды проживала в Лодзи, занимая чуть не всю улицу Злоту. Не то, чтоб богачи, просто порядочные мастеровые люди – в основном, портные, но и кондитеры, и часовщики, и кружевницы, и кожевенники. Был даже один племянник, что плывал механиком на корабле. Вот у его отца, у дяди Авнера, который недавно овдовел, а квартиру занимает просторную, можно присесть на минутку, ну на месяц, на два,... дабы понять, куда ветер подует.

«Лодзь так Лодзь», - отозвался Абрахам, ибо тянуть было незачем: ему воняло... Он имел обыкновение за утренним чаем, прежде чем спуститься в мастерскую, просматривать газеты под уютный бой и звон, и нежный стон и певучий оклик, и стеклянное треньканье, оханье и звяканье своих многочисленных часов. И несмотря на эти богатейшие арпеджио и мелодические аккорды, его дотошный слух загодя уловил тиканье дьявольского часового механизма, уже запущенного сговором двух мировых злодеев. Тот багровый нарыв набухал гноем не только в Польше, он ширился, охватывая Европу, расползлся до Азии; он наливался, ежеминутно готовый взорваться и залить все страны невыносимым смрадом преисподней.

23 августа Абрахам развернул «Варшавские губернские ведомости» и прочитал о Пакте ненападения между Германией и Советским Союзом.

Старинный «Фонарь» с Британских островов за его спиной (квадратный корпус из латуни на шаровидной ножке, большой круглый циферблат) медленным глубоким басом отбил восемь ударов. Абрахам переждал его скорбный речитатив, отпил глоток горячего чая и спокойно спросил жену, сидящую напротив:

– Знаешь, Зельда, какие бывают на свете богатые имена? – и голосом приседая на каждом имени, отдельно произнёс: – Ёльрих Фрёдрих Вёлли Иоахём фон Рёйббентроп, – отпил ещё глоток. – Это тебе не Стахура, а?

«Вот теперь пора, - подумал он. - Теперь – в самую точку».

Буквально за неделю, не разгибая спины и не вынимая лупы из глаза, он завершил все текущие дела и заказы, кое-что передав коллегам-часовщикам, кое-что продав, но в основном, прикупив... И теперь две ночи подряд стоял над

душой у Зельды, давая указание – куда и что вшивать. «Отстань, – отмахивалась она, – кто тут швея, я или ты?!». В юности она действительно три года училась в швейной мастерской у лучшей портнихи Житомира мадам Фанни Шмидт, а потом действительно пару лет шила в охотку на сестер и подруг. Кстати, по-немецки Зельда щебетала свободно: фрау Шмидт за годы своего российского замужества так и не освоила русский; а все её ученицы, благодаря идишу, с ней и так свободно общались.

В ночь на 1 сентября 1939 года (ночь знаменательную, с которой начались великие бедствия мира и неисчислимые бедствия его народа), остановив все часы, аккуратно и последовательно заперев все двери своего Варшавского дома, погрузив лишь самое необходимое в экипаж знакомого извозчика, пана Пёнтека, Абрахам Страйхман, то есть (пся крев!) Адам Стахура с семьёй, направил стези свои в Лодзь. Путь предстоял неблизкий, но преодолимый.

Они ехали всю ночь, не остановившись ни в Прушкуве, ни в Гродзиск-Мазовецком. Отец только дважды разрешил отдохнуть и ноги размять на обочине пустынной дороги, навестить кусты и перекусить бутербродами, прихваченными Зельдой из дому. Несмотря на прохладную ночь, всем было жарко: на каждом из Страйхманов, включая детей, поддето было по три слоя шматъя, в подкладки и воротники которого, как и в плюшевую кошку Розу, Зельда зашила кое-какие мелкие предметы. Тощей заднице новоявленного Цезаря всю дорогу досаждало кольцо с бриллиантом, неудачно вшитое матерью в шов его шерстяных, с начёсом, брюк. Мальчик стоял на обочине, прислонившись спиной к стволу раскидистого конского каштана, под которым растилалась россыпь глянцево-шоколадных плодов в колючих шкурках, жевал булочку с маслом, поблескивавшим в желтом свете необычайно яркой луны, вдыхал запахи придорожной травы, лошадиного пота, ночной свежести, прикидывая – что интересного ждёт его в той самой Лодзи, где, сказал папа, есть целых три еврейских театра и даже кукольный театр на идише; где, сказал он, все мы «ненадолго погостим».

Родители стояли поодаль, рядом с экипажем, негромко переговариваясь приглушенными тревожными голосами. Отец оглянулся на сына – тот сполз по стволу каштана, и сидел на корточках в чёрной тени густой кроны. Абрахам к нему подошёл...

– Папа, нам ещё долго ехать?

– Сколько придётся, ингелэ...

Он поддел носком дорожной туфли колючую шишку. Проговорил привычным своим умиротворенно-домашним голосом:

– В старину переплётчики использовали сушеные плоды конского каштана. Перемалывали их в муку, смешивали с квасцами, получался специальный переплётный клей, более сильный, чем обычный... Книги дольше сохранялись.

...Варшаву в эти часы уже поливали огнем «Мессершмиты» и «Стукасы», а немецкие танки и мотоциклисты с лёгкостью утюжили польскую конницу. И если б семья беглецов осталась у себя на Рынковой, то в конце октября они наверняка имели бы случай полюбоваться парадом гитлеровских войск на улицах Варшавы.

Вместе с тем, уже 17-го сентября очнулся второй злодей: нарыв прорвался с другого боку, начался «Польский поход Красной армии», и советские войска вошли в Польшу, заняв её восточные земли по границам, согласованным в секретных протоколах к тому самому «Договору о дружбе и границе».

Длинная, между прочим, получилась граница, и существовала гораздо дольше, чем договор. Так называемая «линия Керзона», – впоследствии она и осталась государственной границей между Польшей и Советским Союзом.

Абрахаму, которому в эти месяцы бегства и взрывов аж нос заложило от непрестанной вони, прущей со всех сторон, было совершенно ясно, что от чёрной тучи, сгустившейся над евреями Польши, надо бежать только в одном направлении: на Восток. Как, к другому злодею?! К красным?! К красным, да! В том самом пакте наличествовала негласная установка о том, что в течение нескольких недель граждане уже несуществующей Польши могли разбрестись по домам, забиться в свои щели, затихариться по своим углам. Для чего вдоль всей новоявленной границы были наспех устроены пограничные переходы.

Львов, между прочим, говорил Абрахам Зельде, – крупный университетский город, вот там и будут учиться и жить их дети. Что, красный интернационал? Холера с ним, с этим интернационалом, по крайней мере, там не жгут нас в синагогах.

– Аврамек, брось свои завиральные идеи, – говорил дядя Авнер, у которого они причалили «на минутку», а имелось в виду, месяца на два, на три, а там поглядим. – Мы знаем немцев по той войне. Это приличные культурные люди. Они разливали суп населению из своих полевых кухонь.

Вся родня Зельды некогда бежала из Житомира от петлюровских погромов 19-го года. Она сама прекрасно помнила это лютое время, если только можно что-то помнить, отсиживаясь в погребе.

– Они, говорю тебе, наливали людям суп, и звали евреев в переводчики: идиш, он ведь почти немецкий, а им надо было объясняться с этими дикарями. Это цивилизованный европейский народ, Аврамек...

– Я не Аврамек, – оборвал его угрюмый Абрахам. – Я пан Стахура, понял, ты, жид? Я польский мещанин Адам Стахура, со своей женой Зенобией и своими польскими детьми, забыл, до яснэй холеры, как их там зовут.

...И в ноябре 1939-го семья Стахура в полном составе: отец, мать, юный Цезарь и две его сестрицы, все одетые, само собой, по погоде, – а стужа стояла в том году ой какая стервячая! – все одетые в ту же трехслойную одежду, пешком дотащились до белёной сторожки пограничного перехода, где юноша-ефрейтор с белым от мороза лицом, просмотрев гениально сработанные Збышеком Хабанским документы, буднично пропустил их в дальнейшую жизнь. Правда, перед тем, как указать подбородком на низкую деревянную калитку, ведущую в просторы советской власти, он вдруг заявил, что должен обыскать юнг фрау. Видимо, Голда по-прежнему внешне являла собой наиболее независимое лицо в семье, и по-прежнему вызывала у посторонних желание поставить её на место. Все замерли... В потайные изгибы, извины, воротнички и подстежки Голдиной одежды была вшита немалая часть жизненного обеспечения семьи.

– Что?! – воскликнула Зельда по-немецки, и в эти мгновения призрак мадам Фани Шмидт, вероятно, одобрительно улыбался и кивал ей с мёрзлых небес. – Обыскивать мою дочь?! Задирать ей юбку?! Вы имеете здесь для этого женщину?! Или вы всерьёз решили, что будете вот тут мацать мою дочь своими солдатскими лапами, а я буду стоять и аплодировать?!

И ефрейтор, как это ни покажется диким сейчас, спустя все эти лагеря смерти и всесожжения, растерзания человеческой плоти и кройки-шитья кошелев и абажуров из человеческой кожи... – словом, спустя весь кромешный ад, смрад и вопль той геены огненной, вечно алчущей своей непомерной доли, – ефрейтор, как ни странно, неожиданно смутился, залился румянцем (видать, оторопел от беглого берлинского выговора Зельды) и отступился: торопливо сунув ей в руки документы, молча указал на калитку.

- Может, замёрз? – рассуждала позже белая от пережитого страха, как снег белая Зельда. – Может, хотелось ему согреться чаем в погранцовой сторожке...

Семейство Стахура (Адам, Зенобия, и трое их детей с породистыми польскими именами), молча проследовали к выходу гуськом, не торопясь. При них было три потёртых баула с кое-каким бельишком и носильными вещами; ну и в небольшом саквояже, типа акушерского, отец бережно нёс свой Potans Bergeon, без которого не мыслил жизни. В последнюю минуту, дрогнув под слёзными мольбами Ижьо, он прихватил ещё каретные часы, – те самые, 1798 года, с механизмом невероятной сложности, которые били четверти и половины, и само собой, полные часы, но ещё и были будильником, ещё имели вечный календарь и циферблат в виде луны; а главное, были созданы руками самого Абрахама Бреге и его сына Антуана-Луи!

Всё остальное было на них. Златка, то есть, Зофья, прижимала плюшевую кошку Розу то к правой, то к левой щеке, согревая озябшее лицо. Зашита Роза была так аккуратно, что новоявленная Зофья даже не обратила на это внимания.

Ох, Роза... Плюшевая Роза помогла им прожить во Львове до самой эвакуации, до самого бегства на восток в июле сорок первого, на платформах товарных поездов, под взрывы и дробные очереди пулеметов, под вой «Мессершмитов» и «Стукасов». Верная Роза, с грязноватой свалывшейся шерсткой, следовала за ними в очередях за кипятком, за карточками в эвакуопунктах на крупных станциях... Давно уже выпотрошенная Роза была их бессловесным и покладистым спутником, пока однажды не выпала из рук сонной девочки, свалившись на рельсы в гудящую и стучащую колесами тьму... И Зофья зарыдала, оплакивая свою плюшевую подружку, как живое существо...

За калиткой они остановились. Впереди дымно-синим снегом сутулился железнодорожный полустанок: десятка два домишек, чёрные скелеты деревьев и чёрные столбы электропередачи со снежными шапками...

Сейчас это был Советский Союз.

Это была всё та же Польша, бессильно простёртая под новым завоевателем.

### Глава третья

И никаких свиней они с Матвеичем не пасли! Никаких таких свиней, к которым Тамара в хмурую минуту грозилась Жорку отослать. Пасли они совхозное коровье стадо: совхоз «Ленинский», село Солёное Займище Черноярского района Астраханской области. Адрес он знал, он был уже разумным пацаном – восемь лет, всё-таки.

Матвеич был ему никто, просто однажды утром заглянул к ним по-соседски, увидел мать в блевотине (под утро её всегда рвало; правда, к полудню она прочухивалась и за собой, как могла, убирала), и сказал Жорке: «Пойдём-ка со мной, милай». Заставил надеть пальтишко, в шкафу разыскал и натянул ему на голову шерстяную шапку (утром ещё подмораживало будь здоров!), и увёл к стаду.

Жорка тогда учился во втором классе и в школу ходил исправно, только бы не видеть опухшую от водки вонючую мать. Он ее помнил красивую, тонкую, с мягкими и волнистыми, как белый кукурузный шелк, волосами, помнил, как нежно пахла ямка в основании её тёплой шеи... Вообще, родителей Жорка помнил всю жизнь в пристальных подробностях. У отца была родинка над верхней губой, он ею шевелил и говорил: ну-к, смахни букашку! Маленький сын шлёпал ладонью, отец хохотал и уворачивался. Хорошая была пара: оба смешливые, оба говоруны и певуны, отец и на гитаре недурно себе подыгрывал. Странно даже, в кого Жорка уродился таким букой.

Год назад папку убило током, что тоже было более чем странным: Слава Иванов, дипломированный электрик, парень аккуратный, а на момент гибели совершенно трезвый, был найден мёртвым под обледенелым столбом электропередачи. Кто говорил – заземление проржавело, кто напирал на криминал: мол, по злему умыслу какой-то гад рубильник включил.

Да какой там злой умысел, и с чего бы! Славу все любили, парень был бесхитростный, лёгкий, весь нараспашку, – вряд ли кого в своей жизни успел обидеть. На похоронах каждый рвался пару душевных слов над гробом произнести. Макарюк, мастер бригады распределительных сетей, – тот целую речугу толкнул. «Славик, учил я тебя! – взывал к покойнику со слезою в голосе. – Тыщу раз, как попка, твердил: Правила! Охраны! Труда! Кровью писаны! И вот, убеждаешься...».

Собрали, конечно, комиссию по расследованию (совхоз «Ленинский» – это вам не гнилые выселки), приехали из райцентра двое солидных дяденек в шляпах. Что-то там вымеряли, кого-то опрашивали... Ну, и какой с них толк? По результатам расследования составлена была официальная бумага, печати-подписи, не придерёшься, копия торжественно вручена вдове. Что-то там об обрыве двух фаз, «из-за чего создалась иллюзия отсутствия напряжения на высокой стороне ТП», и о том, что «при отключении ЛР-12 от неподвижного ножа крайней фазы оторвался шлейф и лёг на нож средней фазы, ввиду чего одна фаза отключенного участка ВЛ оказалась под напряжением».

Не дочитав, мать смяла документ, с минуту комкала его обеими руками, как снежок утрамбовывала, словно жизнь свою замужнюю сминала за ненадобностью, размахнулась и закинула бумажный комок в угольное ведро у печки. Жорка его вынул, отряхнул, разгладил... прочитал, и навсегда запомнил. Память у него была реактивная, как самолёт, фотографическая, о чём тогда он еще не знал, думал, у каждого так, думал, это нормально: прочитал разок, значит, и помнишь.

Мать отцовой гибели не пережила. Это соседки так говорили. Жорка внутренне морщился, он не любил неточностей в словах и смыслах: как так «не пережила»? Вон она, живая, но вечно пьяная, валяется на тахте, бревно бревном, а под тахтой пустые бутылки катаются.

Пить она не переставала с похорон. Наголосившись на кладбище, на поминках притихла, сгорбилась, завесила лицо своими белыми кукурузными волосами... Но когда её заставили влить в себя два стакана водки, постепенно распрямилась, стряхнула горестную одурь, оглядела дом, стол, собравшихся соседей. И вдруг обнаружила, что жить-то можно, можно, стоит только опрокинуть в себя стакан обезболивающего... Так с тех пор и жила, порой даже забывая, что муж трагически погиб. Продрав глаза, хрипло и жалобно



звала: «Сла-а-ав... Сла-вик..?». Нащупывала бутылку на полу, и если там что-то ещё плескалось, немедленно приступала к перекройке и перелицовке судьбы.

Школа была – обычная сельская, но с полным набором учителей. Неплохая, в общем, школа, – хотя позже он любил повторять, что из всей литературы дети знали только мат. Самому Жорке литература была без надобности, а вот цифры он так любил, так любил, что аж рисовал их, как прекрасных животных: оленей, коней и лебедей, выводя в тетрадках в разных сочетаниях. Пятёрка была любимицей: литой-золотой, закидывала олени рога; десятка, серебряная парочка, переливалась лунным блеском... Каждая цифра, возникнув в сознании, выплывала на свет, приобретая в магическом танце значение и вес, и каждая представляла красавицей, а вместе, дружно выстраиваясь попарно или в тройке-четвёрке, они мчались в воображении мальчика, как кони в скачках, чтобы слиться, распасться, обгонять, перемахивая барьеры... и успеть к финишной черте, под которой выстраивались строем, готовые снова лететь, куда их пошлешь.

После занятий среди тупых второклашек (у которых пятьдесят три умножить на двенадцать считалось немислимой умственной нагрузкой), он просился на урок в пятый класс, посидеть рядом с соседским Серёгой. И за пять минут до начала урока решал тому всю «домашку», так что Серёга был жуть как доволен. «Марь Ефимна! – просил, поднявши руку. – Можно малыш со мной посидит, за ним присмотреть некому. Он тихий». И Марь Ефимна неизменно отвечала: «Пусть сидит, мне до лампочки». Родом она была из Белоруссии, и тяжелый акцент сохранила на всю жизнь. Преподавала математику в 5-6-м классах, в 7-м не работала, так как программу 7-го не знала. Спросишь у неё что-то, чего нет в учебнике, она своё: «А мне до лампочки...».

В общем, в один из весенних дней Матвейч, зайдя утром за какой-то соседской надобностью и узрев Жоркину родительницу во всём её отвратном бытовании, забрал пацана к себе. На робкие вопросы – мол, а школа как же?.. – отмахнулся и сказал: «Да на черта те школа, одна морока и безделье! Ты вон в уме считаешь, как бухгалтер Симаков на счётной машинке! И што? Всё равно будешь трактористом...». Жорка притих. Не то, чтоб согласился с перспек-

тивами, о перспективах он не больно-то и думал. Просто, всё равно скоро начиналось лето, всё равно – каникулы, Волга, пристань, базары... а Матвейч ему нравился.

У Матвейча в доме было чисто, хотя по-мужски просто и пустовато: голые лампочки на шнурах, чисто выметенные доски пола. Никаких ковриков или там абажуров. Но стол как стол, четыре стула, громоздкий шифоньер, рукомойник, железная кровать. Всё на месте, всё для жизни. Была ещё широченная деревянная лавка без спинки, на которой стояли кадушки и разная кухонная надобность. Но в первый же вечер Матвейч всё снял, постелил две овчины, бросил в изголовье подушку, – получилась лежанка. Жестковатая, правда, но Жорка так уматывался за день со стадом, что миг, когда тело касалось лежанки, и миг, когда на рассвете Матвейч встряхивал его за плечо, сливались в единый промельк ночи.

Зато по вечерам, отогнав стадо в коровник, они жарили картошку с салом, и ели вдвоём прямо со сковороды, после чего Матвейч разрешал мальчику подбирать хлебной корочкой прогорклую жижу с ошмётками зажаренного лука, и вкуснее этого Жорка ничего не ел. Иногда перед сном он обеспокоенно думал: что там мамка, кто ей таскает водку, кто картошку варит (Жорка давно уже наострил сам себя кормить, и мамке тарелку ставить), пока в один из вечеров к ним не наведалься Татьяна Петровна, соседка, и пошептавшись с Матвейчем, покачивая головой и отирая губы, с фальшиво оживлённым лицом объявила Жорке, что маманю забрали по скорой в больницу в острой фазе, и теперь всё будет хорошо.

– Что будет хорошо? – хмуро спросил мальчик, и соседка так же оживлённо заверила, что мамку вылечат, и всё станет как прежде: вернется мамка чистенькая, умненькая, добренькая... Какая была.

И почему-то именно эти приседающие няньки-суффиксы навяли на Жорку такую тоску, что он сразу понял: ничего хорошего больше не будет. Что там сделают с мамкой, как её нагнут, во что превратят и куда закатают, – неведомо. Один теперь Жорка, и держаться надо Матвейча.

Вставали они рано, в четыре утра, к пяти уже пригоняли гурт на ближнее пастбище, которое простиралось от кромки леса до пологих берегов ерика Солёного... Туман вкрадчиво выползал из воды, извиваясь по руслу ерика, то поднимая драконью голову, то высывая длинный гребень, то

показывая язык. На передвижения и преобразования тумана хотелось смотреть бесконечно, но луч на лесном горизонте уже пробивал кроны солнечными иглами, шарил по туманной реке, разгоняя тайны и расчищая водную гладь...

Стадо было большим и трудным, коровы все – своевольные и очень сообразительные твари. Были среди них вожаки, как у людей: к примеру, огромная черная Милка-Чума. Её даже быки слушались, побаиваясь острых рогов. К счастью, Милка любила конфеты, так что в кармане курточки надо было держать наготове кулёк леденцов, чтобы не сбежала, а заодно, и стадо за собой не увела.

Днём, когда коровы укладывались отдыхать, аккуратно выстилая на траве большое розовое или бежевое четырехцилиндровое вымя, Матвеич разрешал и мальчику покемарить. Расстилал в тени под огромным вязом свою телогрейку, Жорка валился на неё, как телёнок, и тотчас сквозь крону на него ссыпались целые пригоршни огненных цифр, крутясь и сопрягаясь в голове в бесконечные ряды коров и телят...

Мальчик был маленького роста, головастый, чернявый, слегка раскосый (в детстве отец поддразнивал его: мол, никакой не Иванов он, а Кыргызов), с худыми несильными руками, потому драк избегал. И с кнутом никакого толку поначалу не выходило: кнутом надо было громко щелкать, при этом очень громко матерясь – не со зла и даже не для острастки, просто это был язык, который коровы понимали. А Жорка, слова эти прекрасно зная, почему-то не умел их правильно складывать и убедительно произносить, не умел пересыпать ими речь. Так что, поначалу его делом было следить, чтоб коровы в клевер не забрели: если после клевера стадо напьется воды – все коровы, как одна, враз подохнут.

А Матвеич был пастух настоящий: знал кормные места, привычки и нрав каждой питомицы, и говорить мог о них часами.

- Это только кажется, - говорил он, - что коровам всё по хер, у них душа волнительная. Они за всё беспокоятся. Если ты к ней по-доброму, она всё поймет, и отблагодарит – знаешь, как? Молочка больше даст. Обязательно лишний стаканчик молока в ведёрко добавит.

- Матвеич, а как же, вот ты кричишь на них, кнутом стреляешь?

- Да брось, милай, это ж просто разговор такой, они всё правильно чувствуют, они умные... Ну, а как драться между со-

бой почнут, так уж на ту корриду одна управа: кнут и ядреный мат.

Вскоре Жорка знал всё стадо по именам: Маланка, Апрелька, Мальвина, Чернуха, Борька и Бублик, и красавец Бонапарт... Несмотря на огромную массу тела, коровы были особами игривыми: тёлочки и бычки гонялись друг за другом, как собачонки за собственным хвостом, валялись на спину на траву. Стоило им попасть на облысевшую утоптанную площадку, кто-то из молодняка издавал трубный зов, затевал игру... и минут через пять большая часть стада, как говорил Матвеич, гоняла ворон...

Лето катилось сухое, дни сине-жёлто-зелёные, один в один. Томительная жарь прогретого воздуха стояла плотной стеной, сотканной из звона кузнечиков, зудения ос, басовитого хода шмелей и голосистой, от земли до неба пестряди птичьего пения.

К июлю Жорка окреп, загорел, руки и плечи слегка набрали плоти, так что не стыдно было и майку снять. Трижды он удачно подрался с соседскими пацанами, которые дразнили его коровьей лепёшкой и Хвостом; он и сам тумачков нахватал, но и врезал по роже Костяну настоящим кулаком; и с того дня драк уже не боялся. Он только скучал по тетрадкам и карандашу, по тайной деятельной жизни своих рисованных цифр. Но Матвеич обещал, что скоро вся эта глупость из его головы выветрится, нельзя же, говорил, всё время хрен знает что в голове таскать. Ты жизнью интересуйся, жизнью! Она вон какая широкая...

\*\*\*

...От пастушьей (или трактористской) доли Жорку спасла учительница математики Марь Ефимна, – та самая, которой, вроде, всё было «до лампочки». Просто начался учебный год, и Серёга, переведенный из пятого в шестой класс только благодаря малышу, «за которым некому присмотреть», стал демонстрировать на уроках удручающие результаты. Спустя неделю после начала занятий Марь Ефимна поинтересовалась у Серёги, где ж его мозговитый братишка? Ну, и пришлось отвечать, что никакой то не братишка, а сосед, что теперь он в школу не ходит, а пасёт с Матвеичем стадо; что зовут его Жорка Иванов, и что это у него папаню током шибануло до смерти.

– Иванов? – подняла голову от классного журнала Марь Ефимна. – Так он Славы сын?

И задумалась...

Славу она отлично помнила, тот, как и прочие совхозные дети, был когда-то её учеником. Бесхитростный такой, покладистый мальчик, улыбка всегда наготове. Женился, кажется, на Светочке Демидовой, они и в школе за одной партой сидели...

- А Светлана... Она что, разве не?..

И услышала Марь Ефимна то, о чем все, кроме неё, знали: что Светлана, маманя Жоркина, спилась вчистую, до зелёных чертиков, «до белочки», и уже месяц как увезена в районную психушку, где и пребывает беспамятная, и на сына ей плевать. А Жорку сосед прибрал, Матвеич, у него ж левая рука без пользы висит и трясётся, и он давно у председателя просил подпасака... В общем, они теперь оба-двое коровам хвосты крутят.

– Так, продолжаем работу над ошибками, – оборвала Марь Ефимна смешки в классе. – Мне ваш юмор до лампочки.

Она уже знала, что делать.

Вспомнила, что у Светланы был брат Володя, от первого брака отца, сильно, лет на шестнадцать старше Светланы. Какие-то у парня были семейные неурядицы, стычки с мачехой, с отцом он тоже разругался, и отслужив в армии, в село не вернулся, – кажется, в техникум поступил то ли в Астрахани, то ли в Ульяновске... Не может быть, чтоб ни разу не написал кому-то из школьных дружков, уж открытку точно отправил, а открытки в домах хранили, не выбрасывали. На них то Кремль запечатлён, то университет на Ленинских горах, то крейсер «Аврора» или вздыбленный мост над Невой. Словом, какая-то красота, а такое не выбрасывают.

Тем же вечером после занятий Марь Ефимна прошлась по улице Ударной, стучась ко всем соседям семьи Ивановых. И точно: открытка с Володиным адресом обнаружилась у его дружка Сёмки Страшного, ныне Семёна Михайловича, агронома по семеноводству. Сам Семён Михайлович был на полях, а жена Ирина, в прошлом Ира Никитина и тоже ученица Марь Ефимны, порывшись в ящике коридорной тумбы, эту открытку своей учительнице охотно предоставила. И да: на открытке под густым синим небом празднично сиял-зеленел куполами Астраханский Кремль.

«Здравствуй, Володя! – писала тем же вечером Марь Ефимна, – Не удивляйся этому посланию твоей старой учительницы...»

Письмо затевалось краткое, деловое и спокойное, но с первых же строк как-то расхристалось и разнюнилось.

Ей всё в подробностях рассказали соседки: и как в начале горя, жалея вдову с сиротой, каждая забегала чем-то помочь: прибрать, простирнуть, приносила горячее в кастрюльках. А потом все устали: ну, сами посудите, Марь Ефимна, рази ж у неё одной главная беда стряслась? У нас у каждой что-нибудь да случалось. У Валентины, вон, здоровый ребёночек помер просто во сне, у Клавы оба брата в своем «жигулёнке» по пьяни с моста кувыркнулись. Рази ж это не горе? Ну и сколько можно баловать молодую бабу? Поднимись уже, зенки пьяные проморгай, да и пошла борщ варить пацану, правильно я понимаю?

Да вот неправильно, потому как, получается, неспроста это у неё, не от настроения или там лени... И в данный момент Светлана, бывшая её ученица-отличница, проходит суровое лечение в районной психиатрической больнице, и никто не знает, когда это лечение возымеет хоть какое-то действие. Ибо выйдя из делирия, очнувшись от грез и обнаружив себя вдовой-алкоголичкой, Светлана лечилась ныне от тяжелой безысходной болезни, как она называется-то... синдром какой-то маниакальный, что ли ...

Всё это очень Марь Ефимну расстроило, так что письмо получалось уж никак не деловое.

«Мне кажется, Володя, – писала старая учительница, – что негоже тебе оставаться в стороне от этого близкого горя, неважно, в каких отношениях ты был с сестрой и мачехой, тем боле, та давно померла. Твой племянник Георгий – мальчик на диво талантливый в точных предметах, но трудный по характеру, угрюмый и замкнутый. К тому же, семейное несчастье его сильно пришибло. Георгию необходим тёплый дом, родные люди, ласка. И нормальная школа. За ним присматривает сосед, один местный пастух, инвалид. Человек он хороший, но недалёкий, внушает Георгию, что учёба ему не нужна, и под разными предлогами учиться его не пускает. А новый школьный год уже в пути. Приезжай, Володя, и забери мальчика. Поверь, тебе это доброе дело окупится сторицей. Я уверена, что...»

Тамара первой прочитала это письмо.

Собственно, Володя и не удосужился его прочитать, не до писем было, он пребывал в очередном запое, во второй его фазе: сидел за столом на кухне и открывал всё новые бутылки.

Письмо привело Тамару в волнение, в оторопь, и разобратся в подоплеке этого волнения было непросто. Первый её брак закончился выкидышем, после которого особой надежды на материнство не было, да и Володя, второй её муж, не сильно по детям горевал: нет их, и не надо.

Предлагаемый ей восьмилетний мальчик Георгий не был сладким младенцем, который в будущем станет звать её мамулей и обвивать её шею шелковыми ручонками. С другой стороны, он не был и совершенно чужим. Володин племянник всё же. Он мог оказаться той самой возможностью материнства, а мог свалиться в самую середку её маленькой корявой семьи, со всей своей... как там в письме учили-ки-то? – «угрюмой замкнутостью». А ведь ещё неизвестно, что там с его мамашей: вылечат ли её или закатают до конца жизни в дурку? Говорят, там такими лекарствами пичкают, что человек имени своего не вспомнит, не то что за ребенком смотреть...

Полночи Тамара сидела в кухне на табурете, слушая Володин храп и размышляя. Она и сама не была сильно ласковой да приятной, сама выросла в детдоме в голодные годы. Из-за пониженного слуха говорила громче, чем требуется, и потому у окружающих часто складывалось впечатление, что она нарывается на скандал. «На диво талантливый» – это что имеется в виду? С этим как быть? В будущем это диво могло обернуться удачей и почётом, а могло оказаться каким-нибудь безумием, разве нет: вон их сколько, этих чокнутых профессоров. Весь третий этаж их странного трёхпалубного дома. Возьмите хоть Макароныча...

Под утро, совсем измученная борьбой с собственной совестью, ни в чем не виноватая, никому ничего не должная, трижды поменяв решение, Тамара села и написала учительнице ответное письмо. Сильно не старалась, ясно и сухо писала своим крупным почерком: понимаем, ответственности не чураемся, мальчика заберём. Благодарны за заботу и внимание. Но уж, будьте так добры, пусть все нужные бумаги подготовят в конторе совхоза. Юрист там какой имеется, или как?

В школе детского дома №10 для детей с нарушениями слуха Тамара училась, как положено, была твёрдой хорошисткой. Ныне ежегодно подписывалась на журнал «Юность», который прочитывала от редакционной передовицы до юмористического отдела «Зеленый портфель». Иногда писала на местное радио письма с ответами на во-

просы викторин, так что, письмо, написанное ею с уважительным достоинством бывалого писмописца должно было произвести на учительницу благоприятное впечатление.

Она выждала неделю, получила ответ на своё письмо, назначила день прибытия, выпросив для этого два дня отпуска на своей Меховой фабрике... И дня три ещё дала себе время – успокоиться, вычистить и отмыть после запоя Володю, выбить коврики и перины, приготовить дом к приезду и поселению ещё одного человека. Она мысленно так и произносила – «человека». И перетаскивала с места на место, сортировала узлы и ящики, выносила на помойку мешки со старьем, ползала с тряпкой по всем углам, расчищая площадь тесной двухкомнатной квартирki. «Кладовку еще разобрать, – бормотала, – человек приедет, ему для вещичек место тоже требуется». Волновалась: тащить ли в Займище пустой чемодан для пожиток мальчика, или, возможно, в доме такой найдётся, или кто из соседей расщедрится...

Но оказавшись на крыльце запертого дома Ивановых, внимательно оглядев разбитые алкоголичкой и заколоченные сердобольными соседями окна, Тамара поняла, что никакого чемодана для пожиток новому «человеку» не требуется.

\*\*\*

Добираться до села Солёное Займище можно по-разному. Есть романтический, продутый ветерком, хотя и долгий речной путь: на пристани, что рядом с рестораном «Поплавок», можно сесть на «ракету», теплоход на подводных крыльях, и вверх по Волге идти до Черного Яра, откуда баркасом или речным трамваем уже добраться до Займища. Тамара приблизительно дорогу знала – однажды по профсоюзной путевке отдыхала в профилактории комбината «Бассоль» на озере Баскунчак. Лечила там своё женское недомогание целебными грязями и рапными солями. Вкуснейшая, между прочим, соль Баскунчака – главный секрет знаменитого астраханского посола. Но это так, к слову.

Можно и проще выбрать путь – автобусом. Проще, да муторней: шесть часов по колдобинам и ямам трюхать, это ж все кишки повытрясет! Прикинув все затраты и заморочки, Тамара решила в Займище добираться на автобусе, а вот назад в Астрахань прокатить «человека» с ветерком по Волге: тоже ведь впечатление для мальчика, разве нет?



Мальчик, мелкий и тощенький, какой-то узкоглазый, как казах, стоял у ворот и невозмутимо рассматривал чужую женщину, которую объявили его тётёй. Привёл его тот самый пастух Матвейч, заметно огорчённый поворотом дел: успел привязаться к пацану, привыкнуть к его помощи, пока малой, но за весь день всё равно заметной. А Тамара, увидев его бессильную паркинсонову руку, сразу смекнула, почему пастух так вцепился в ребёнка, ещё бы! – мальчик был ему подспорьем. «Потому и школу можно похерить», – подумала с негодованием ...

– Спасибо, что приглядели, – сказала старику с достоинством, и даже слегка поклонилась, полагая, что от неё не отвалится. – А теперь мы уж сами...

И ободряюще улыбнулась мальчику. Тот промолчал, опустив глаза. Что он за гусь, Тамара не сразу поняла, но вот запущенный двор и пустой курятник, дом этот, с окнами, заколоченными листами фанеры, бесприютность и грязь внутри, загаженные пьяной блевотиной и не вполне открытые стены многое ей рассказали.

– Нам за вечер собраться надо, – озабоченно сказала она мальчику. – Завтра утречком ещё до пристани пехать. Так что поторопись. Собери вот, в сумку, что захочешь взять из вещей. Может, игрушки какие, мячик там... или шахматы, я не знаю. – Она действительно не знала, не могла знать – что дорого душе восьмилетнего ребенка, мать которого за последние полтора года обратила свою жизнь и жизнь сына в беспросветный кошмар. И поскольку мальчик не двигался, столбиком стоя на пороге и оглядывая родительский дом, будто впервые его видел, Тамара повторила громче и настойчивей, как обычно, не контролируя свой голос, не понимая, услышал ли он ее:

– Давай-давай, Георгий, пошевелись. Ну?!

– Не понукай, я не лошадь, – спокойно, по-взрослому отозвался он. – И не ори на меня.

И то, что он говорил ей по-деревенски «ты», и то, что совсем не смутился при знакомстве, и совсем вроде как не стеснялся убожества родной обстановки, то, что по виду не был опечален отъездом и не захотел попрощаться с друзьями (да и где они, эти друзья?) – Тамару озадачило. Ишь ты, не ори! Хорош типчик. Но, может, она и правда громче говорила, чем требовалось для первого знакомства?

Так и получилось, что вечные её сомнения, непонимание, неловкость, с самого начала определили их отноше-

ния. Хотя Жорку не назвать было грубияном. И даже когда он якобы непочтительно отвечал, голос его звучал ровно и невозмутимо, не хамовато. Вот как сейчас: ну, в самом деле, стоило ли сразу поднимать голос по такому пустяку!

С собой мальчик взял только ранец, сложил в него тетрадки и учебники, и то не все. Остальное из вещей, пошарив в полупустом шкафу, прихватила Тамара на всякий случай. По вещам было видно, что мальчик вырос из старого, пообносился, что никто ему давненько ничего не покупал, и не шил, и не штопал. Заношенные свитерки и майки, школьные брюки и школьную курточку с дырками на локтях и коленках она выбросила; в тюк увязала кое-что из бельяшка, взяла осеннее полупальто, решив, что отпорет подол и надставит рукава, ну, кеды ещё прихватила на первое время, вроде они крепкие... Значит, маманя пропила всё подчистую, сына пропила! Ох, беда...

Она хотела предложить ему взять какие-то фотографии – ну, мамы, папы, приятные, как говорится, воспоминания. «Как это правильней ему сказать?» – но промолчала. Она пока совсем не понимала, как с ним разговаривать. Боялась, что он сорвётся и бросится вон из дома – к тому же Матвеичу.

Так, в молчании, прошел вечер. Они выпили молока, принесенного соседкой, и съели привезенные Тамарой из дому бутерброды с копчёной рыбой. Вернее, ел мальчик, да с таким аппетитом, что она отдала ему всё, что было в бумажном пакете. Потом вспомнила, что купила на автовокзале кулек с соевыми батончиками, достала его из кармана плаща, высыпала на стол, пацан и батончики все умял. «Растёт, - подумала Тамара. - Как приедем, надо сразу мотнуться на Большие Исады, курицу купить и сварить её целиком. Интересно – осилит целую курицу?»

Мальчик Георгий лёг в маленькой комнате, Тамара же побрезговала лечь в провонявшую постель Светланы, а чистых простыней и наволочку не нашла. Хотела бы немного прибраться, подмести хотя бы пол (с души воротило на всё это смотреть!), но побоялась мальчика разбудить. Сняла с крюка старое дырявое полотенце, порвала его на тряпки и вымыла стол. Так и просидела всю ночь за этим столом в стылой кухне – то подперев кулаком щеку, то уронив голову на сложенные руки, задремывая, вздрагивая и вновь просыпаясь.

Когда на яблоне за окном заворочалась, попискивая, какая-то птица, Тамара вздохнула с облегчением: не терпелось покинуть этот дом беды и позора. Именно: позора. Она презирала Светлану. Бывшая детдомовка, выросшая в общей спальне на тридцать семь девочек, она представить себе не могла, чтобы горе настолько сломило и раскрошило женщину: до беспамятства, до потери её главного от века стержня: материнской стражи. Нет, забрать мальчика, и прочь отсюда! И сама себе удивилась: вот, поди ж ты, тебе уже хочется поскорее забрать мальчика? А ведь он тебе даже и не нравится пока...

Утром они заперли дом (навсегда, как выяснилось позже), и за полчаса молча и быстро дошли до пристани. Георгий сам тащил свой узел на плече, как взрослый. Уже колыхался на воде безымянный баркас, только цифра и была нарисована белой краской по черному борту: №15; но матрос, - или кем он там, на кораблике, трудился, - заверил Тамару, что до Чёрного Яра их точно доставит. И поскольку день обещал быть чистым, безветренным, с небольшим молочным разливом на голубой кромке неба вдаль, они не стали спускаться в крытую каюту, а поднялись на палубу, где под растянутым синим тентом стояли в ряд четыре деревянные скамьи.

– Тебя не мутит? – минут через двадцать истошно крикнула Тамара. На ветру, на воде, в грохоте мотора, она вообще не могла совладать с голосом. – Потерпи, когда пересядем на «ракету», куплю тебе там, в буфете, поесть.

Жорка кивнул, чтобы она отстала и утихла. Так красиво сбегали к воде по песчаным откосам желтеющие деревья, так пронзительно, так радостно-тоскливо кричали чайки: «виу, виу!» – то всплескивая крыльями, как прощальным платочком, то жестко их распластывая и едва не цепляя синий тент баркаса. С воды берега он видел только в дальнем детстве, лет пяти, когда с родителями прокатился до Волгограда, – там жил папкин армейский друг. И сейчас его невероятная память немедленно предоставила тогдашние запахи и слова, картины и переживания: он волновался, когда Волга разливалась в море и берега исчезали в голубом мареве и искристой шири. Но уж хоть один берег должен быть на месте, думал Жорка, это ж река, река!

А ещё вспомнил непреодолимый страх, когда «ракета» зашла в шлюзовую камеру, огромную коробку со стенами из цементных блоков. Они с папкой стояли на палубе, папка крепко сжимал его ладонь и объяснял, когда и почему вода

откачивается, а когда набирается... Но Жорка неотрывно смотрел туда, где в специальных цементных нишах справа и слева от корабля были вмонтированы похожие на скелеты механизмы с рельсами по бокам. По этим рельсам скелет поднимался и опускался вместе с уровнем воды. Вместо головы у него был огромный крюк, вместо рук – колёсики. На крюк набрасывали и наматывали канат, удерживая корабль на месте. Как ясно вспомнились сейчас эти жуткие скелеты-инвалиды с крутящимися колёсиками вместо рук, и тепло папкиной крепкой руки, и брызги воды на палубе...

Он хотел спросить эту тётку-проводную, будут ли по дороге шлюзы на Волге, но промолчал, опасаясь, что та опять раскричится, не уговонишь её.

В Чёрном Яре не удалось достать билетов на «метеор», и Тамара, всунувшись в кассу чуть не по пояс, выставив зад и никого не подпуская к окошку расставленными острыми локтями, долго талдычила что-то сидевшей внутри тётке, а когда выпала оттуда – красная, потная, сверкая белками, торжествующе размахивая бумажками, – выяснилось, что добыла она левые билеты на какой-то пароход-тихоход... Каюты и места все были заняты, но на верхней палубе, сказала тётка в кассе, можно где-то притулиться.

Пока ждали прибытия корабля, купили на пристани у старухи с корзиной, накрытой куском старого ватного одеяла, четыре горячих пирожка с капустой и картошкой, которые Жорка проглотил, не особо вдаваясь в этикет. «Спасибо», - подсказала Тамара. «Спасибо», - согласился он и подумал: «Начинается»... Но настроение его со вчерашнего дня... Да нет, не настроение, при чём тут нутро, которое всё чувствует, как и прежде: свежесть или жарь воздуха, блеск воды, запах рыбы от мокрых досок причала. Нет, Жоркино настроение никуда не сдвигалось. Просто сам окружающий мир стал хорошесть, если отсчитывать от блевотных луж под мамкиной кроватью или от коровьих лепешек и вонькой овчины, на которой он спал у Матвейча и которой укрывался. Да, мир стал явно и стремительно хорошесть и вкуснеть, так что эту нелепую тётку с зычным голосом стоило потерпеть, во всяком случае, поглядеть – что дальше она предложит.

А дальше из чешуистого блеска на хвосте реки выросла белая точка и стала расти, расти, приближаясь и угрожающе увеличиваясь в размерах, закрывая полнеба. Двухпалубный пароход увалисто подошёл к причалу. «Ох, и старый же, - вздохнула Тамара, - его, поди, ещё бурлаки тас-

кали. Как бы не развалился...». Но Жорка впал в какой-то восторженный транс: для него-то корабль был огромным, такой махиной-кораблиной, годной и для океанского плаванья.

На палубу выкатилась сдобная круглая тётенька в резиновых ботах и черной холщовой куртке, бросила дядьке на причале канат, тот поймал его и ловко навязал на кнехт особым узлом. Та же тётенька потом стала проверять и отрывать билеты; они продавались без мест, и это уж, сказала Тамара, как повезет – беги и занимай. Жорка ввинтился мимо билетерши внутрь корабля и даже осматриваться не стал, просто взлетел по железной лесенке на открытую палубу и мгновенно занял скамейку, обитую коричневым дерматином, как в автобусе. За ним притопала Тамара, уселась рядом, отдышалась, подтыкая пальцами под косынку выбившиеся волосы. Она всегда берегла уши. «Не дует тебе?» - крикнула, испугав какого-то младенца на соседней скамейке. Ему дуло! Ему прекрасно дуло в оба уха, и в чуб, и в нос, и в глаза! Он уже чувствовал себя настоящим путешественником. А минут через десять, когда отвалили от причала, побежал осматривать корабль. Здесь было два салона, носовой и кормовой, и все пассажиры ломились вперёд, конечно, но не всем повезло. По обе стороны корабля были входные-выходные двери, не в полный рост, а по пояс. К ним тоже можно было подойти, постоять, высунуть голову. У Жорки на глазах у какого-то курсанта, который высунулся слишком рискованно, сдуло фуражку! Тот вскрикнул, схватился за бритую голову, застонал... Судно, само собой, не остановилось, куда там! Прощай, фуражка! А не будь болваном...

Бурлящая жизнь речной воды, в толще которой двигался корабль, не давала Жорке успокоиться. Он постоянно скользил вдоль поручней на палубе, чтобы наблюдать её течение и цвет. По бокам корабля волны откатывались ровным полотном, как взлетает простыня под руками хозяйки, стелящей кровать; за кормой, взбаламученные мотором, бурлили ржаво-белой пеной. На носу вода разваливалась надвое, как спелая дыня под ножом, вскипая газированной пеной. И везде она была разной: серо-зелёной по сторонам, изработанной, бело-ржавой – позади, глубоко-зелёной впереди. А поднимешь голову, посмотришь вдаль – перед тобой нежная ровная синь, тающая к горизонту до голубоватого дымка.

Канатно-билетная круглая тётенька исполняла, оказывается, еще одну роль. Запустив на пристани пассажиров, она доставала из кармана крахмальную марлевую бабочку и прищипливала надо лбом, и входила в застекленную кабинку – это был буфет, – чтобы до следующей пристани торговать немудрёным набором снеди: банками березового сока, мятными коржиками, варёными яйцами. В какую-то минуту Жорка, понаблюдав за её невозмутимым начальственным лицом, подумал – уж не капитан ли корабля заодно эта самая тётенька, может, она одна и ведёт весь корабль, со всеми его нуждами, пассажирами, гудками, раскидистым шипением пены за бортом, коржиками и яйцами? Но, избежавши весь корабль, в конце концов, приметил и капитана, и помощника, и моториста. Один из них, выйдя из рубки и нечаянно задев пацана распахнутой дверью, в качестве извинения пригласил Жорку в машинное отделение. Там всё гремело, скрежетало, стучало, благоухало машинным маслом – господи, какой великолепный грохот там стоял! Парень заставил Жорку надеть специальные наушники, гасящие шум. Вот было классно! Жорка выдержал минуты три, стащил с головы наушники и дунул прочь, на палубу, на речной простор.

На пристанях стояли сколько угодно: то минут по пять, то застревали на полчаса; казалось, пароход, старая посудина, плывёт по собственному хотению, по-стариковски забывая – куда и зачем направлялся. И каждый раз, завидев вдали пристань, Жорка сбегал вниз и околачивался возле тётеньки, разок даже помощь предложил. Она засмеялась, сказала: «Лапуся! под ногами не крутятся!» – как, наверное, внукам говорила на кухне. И Жорка не обиделся. Мир продолжал расширяться и набухать деятельным восторгом, набирая солнца, легких перистых облаков, и разных картинок вдоль берега, вроде целой горы глиняных обожженных чугунков, наваленной неподалеку от причала.

А в Никольском сама пристань оказалась нарядная – деревянный бело-синий дворец на воде! И прямо на песке рядом с ним торговал-покрикивал рынок, да такой весёлый, суматошный, богатый: арбузов и дынь целые курганы, помидоры астраханские в тазах горят алым-золотым огнем, рыба всякошная – вяленая, горячего копчения, балыки осетровые, сомовые, белужьи, а на досках, положенных на кирпичи – стеклянные бастионы домашней консервации. И всякая кругом разложенная и развешенная красота вяза-

ная-шитая-поскутная-строченная добавляла красочной пестроты оживлённому торгу.

На протянутой меж двух кольев леске висят вышитые полотенца и покрывала, выдубленные и тисненные кожи, лежат на газете поделки из кованого металла и дерева. А ор стоит вселенский, будто не рыночек при речном причале, а раскидистый караван-сарай на Шелковом пути – продавцы зазывают к своим телегам, у которых под весом арбузов и дынь подкашиваются, едва не разваливаясь колёса. Кого-то зазывают на сушеную воблу с пивом, кого-то тянут за рукав, убеждая посетить лотосовую ферму...

За ярко-жёлтой полосой песчаного пляжа ветер ерошил ковыль. Над торговыми рядами, повозками, навесами невозмутимо вздымались и реяли в желтом воздухе высокие шеи двух двугорбых астраханских верблюдов. Слегка покачивались горбы, увенчанные тёмным мехом, вниз по крутому изгибу гордой шеи спускалась пышная борода, и на боках от дыхания волновались-подрагивали островки свалывшегося бурого меха.

Корабельная тётенька билетерша-буфетчица оказалась родом как раз из Никольского. Когда подходили к причалу, и Жорка, сверзившись по лесенке, уже стоял солдатиком с ней рядом, она сказала:

- Лапуся, глянь, вон там, на холме купола царские, видал? Это наш храм Рождества Богородицы. Самый большой...

- ...в мире? – подхватил Жорка. И она просто ответила:

- Да, – и она перекрестилась на купола, перед тем как привычно-бегло бросить местному парню кольца каната на деревянный настил.

В Никольском они с Тамарой сошли на берег, «на минутку», тревожно предупредила она, хотя тётя Маша - так звали Жоркину новую приятельницу, - заверила, что без них не ускачут. Но Тамара дёргалась и беспокоилась, что ещё как могут ускакать – без них, левых-то пассажиров, почти зайцев (она, как понял Жорка, всегда беспокоилась, дёргалась и покрикивала); и далеко от пристани не пошла, и не дала Жорке разведать все закоулки этого прекрасно пёстрого, густого толковища. А он бы покатался на верблюде, правда! Если тот не плюнет – то была реальная опасность. Тамара просто накупила поблизости у очередной бабки ещё пирожков, варёной кукурузы, солёных огурчиков и две сушеные воблы, от которых можно было отщеплять волокна и беско-

нечно долго жевать, запивая их лимонадом, остро и сладко щиплющим язык.

За Никольским – то ли в Цаган-Амане, то ли в Копаевке – случилось солнечное затмение! Это произошло на одной из остановок. Там к пристани пришвартовались два теплохода: один старенький, двухпалубный «Иван Андреевич Крылов», другой «Вацлав Воровский» – трёхпалубный, роскошный, со столичной публикой. У них «зелёные стоянки», – пояснила тетя Маша, и чтобы сойти на берег, нужно пройти насквозь через холлы обоих кораблей. А бывает, сказала, пришвартовуются в сезон по пять, по шесть теплоходов, – пробирайся к берегу, как на другой конец города.

На берегу ор и гомон стоял оглушительный: местные поджидали отдыхающих, расхватывая их, очумевших от солнца и простора – кого на лotosовую ферму зазывали, кому контрабандную икру втуливали. Солнце палило, на небе ни облачка, вода тёплая, ласковая, в слепящих выверках солнца. Ребятня плескалась у берега, ныряли солдатиком, топориком, встав на скрещенные руки дружков. Над пронзительными детскими голосами, над палубами теплоходов бесновались, кружили чайки, сшибаясь в драке из-за кусков, которые подбрасывали им пассажиры. Всё двигалось, звучало, вопило и светилось в кутерьме водяных и солнечных бликов...

– Ты стёклышком запасся? – спросила тетя Маша, поглядывая на небо.

– Каким стёклышком?

– Закопчённым. Затмение сейчас будет, через минуту, не слышал по радио?

Жорка понятия не имел, что за штука это – затмение. Когда соседка, Таня Мурзыкина, заносила им с мамкой остатки обеда, она, глядя на бессознательную мать, со вздохом говорила: «Это ей затмение...».

– Так беги к машинному отделению. Коля тебе даст посмотреть...

Но он так и не побежал к машинному, не успел. Вдруг ощутил на шее, на руках слабое дуновение странной липкой стыни... И замер.

Сначала улетели чайки. И будто по знаку дирижёра, смолкли дети в воде. Отдыхающие, те, что резались в карты или играли в бадминтон, остановились и опустили ракетки. Стихли птицы, умер ветерок... Остановился воздух. Все торопливо вышли из воды и присели – кто прямо на



песке, на берегу, кто подальше – на полотенцах и подстилках, словно зрители рассаживались в амфитеатре, готовясь увидеть какую-то драму. И та не заставила себя ждать.

На берег напал студенистый мрак. Не тень, – в тени всегда играет жизнь, колышутся полутени, движутся спрятанные блики, – а именно глухой неумолимый мрак. Будто смертная сила какая навалилась на землю всем космическим ужасом, и ничто не может ей противостоять. Люди забыли о закопченных стёклышках, приготовленных, чтобы смотреть, как солнце заходит за луну, солнцезащитные очки остались валяться на подстилках. Все, казалось, перестали дышать, застыли, умерли... как и сама природа. Ужас подступил к горлу, проникая в кости, охватывая сердце томительной безадресной тоской!

Этот спазм природы длился минуты две-три. Затем посветлело. Чирикнула птичка, за ней другая, третья... Вздыхнул ветер, морща речную шкуру, пришли в движение метёлки ковыля, на поручень палубы присела большая зелёная стрекоза, тарашась сферическими глазами. Но люди... Что вспомнили они древней пещерной памятью? Какой след ледникового ужаса протёк по их вмиг озябшим позвоночникам, стиснул озябшие души? Тихо переговариваясь, они собирали манатки и поднимались на борт теплохода. А Жорка, не помня как, оказался наверху, возле Тамары, и не помня как, привалился к ней, и не протестовал, когда она приобняла его и легонько сжала плечо, что-то бормоча не своим, успокаивающим голосом...

...По берегам, бывало, дома подбирались к воде близко-близко, и тогда мимо проплывали беседки ажурной красоты – это там, где хозяева побогаче. Чаше просто – выступали над водой деревянные настилы, с которых женщины полоскали белье.

Самый смешной деревянный настил они с Тамарой увидели за Верхнелебязьим. От приземистого домика под зелёной жестяной крышей к воде спускались деревянные ступени, и там был сбит на живульку не помост даже, а какой-то птичий насест, по виду просто жердочка. И всё же на нём вокруг столика в тесноте уместилась на лавке целая семья: мужчина в сетчатой майке, бабка и мальчик лет пяти. Все трое были мелкие, как воробушки, а на столе стоял большой, горящий солнечной медью самовар! Семейка чаёвничала, сидя на этой жердочке, а под помостом плескалась зелёная река, и казалось, что вот сейчас хлипкие доски

треснут, разойдутся, и все трое вместе с самоваром съедут в воду, как с горки на саночках.

Тут удивлённый Жорка впервые повернулся к Тамаре – глянуть, заметила ли она это безумие, это безмозглое бесстрашие. И увидел, что она тоже озадачена, фыркает и качает головой. Взгляды их встретились, оба вдруг рассмеялись! Впервые вместе рассмеялись над одним и тем же! И мир вокруг Жорки – река, и чокнутая семейка на птичьем насесте, и двугорбые астраханские верблюды в Никольском, преисполненные достоинства, как восточные владыки, и гора румяных чугунков на желтом песке, и сама Тамара со своим диким голосом сойки – всё слилось в возрождённый – после затмения – яркий солнечный мир, звучащий, пахучий-текущий, пряный, сладчайший, дерзкий, вольный и смешной.

Ближе к Астрахани берега изменились, повеяло степным сухим воздухом. Волга разлетелась, как разбитое зеркало, на реки, речушки и ручьи. Это была Дельта. Берега, казалось, выжгло солнцем до белесой прозрачности. На полях ни былиночки...

Вольное стадо жёлто-песчаных, под цвет берега, сайгаков, с мягкими горбоносыми мордами, с плавно изогнутыми рогами возникло из жёлтого марева и минут пятнадцать бежало по правому высокому берегу. Отчётливо прекрасные, будто вырезанные на блеклом предзакатном небе тонкими ножничками, - Жорка онемел и очаровано следил за ними, чуть шею не свернул, пока сайгаки снова не растворились в жёлтом мареве.

Заходящее солнце дробилось на глади многочисленных протоков, которые тоже были - Волга. А казалось, перед тобой – море, разрезанное на множество островов, и на каждом лоскуте водной глади, даже на мокрых отмелях горело разбитое солнце, громадное, величественное, царящее в багряном закате...

Эту дорогу он помнил всю жизнь, и всегда был благодарен за неё Тамаре. И когда, много лет спустя, сказал ей об этом, наклонившись к подушке так, чтобы она услышала его слова своим ущербным, а перед смертью и вовсе почти угасшим слухом, – улыбка тронула её восковые губы в отрёпьях сухой кожицы, и она прошелестела:

– ...Чаепитие на жердочке... помнишь?

– Конечно, помню, – сказал он, и погладил её щеку.

Огромный двор, засаженный деревьями, куда привезла его Тамара, да и сам дом, выстроенный буквой П, поделенной посередке высоченной аркой, Жорку поразили, хотя он виду не подал. Но сразу за аркой открылись чудеса: лесенки, галереи, снова лесенки... Жорка задрал голову и встал, замерев: над всеми театральными конструкциями, над длинными верандами, заставленными кадками с фикусами, сквозь листья, трубы, лесенки - мчались облака, и с места было не сдвинуться от этой бегучей красоты. Похоже на сцену кукольного спектакля, который однажды привезли в их село артисты из райцентра.

– Нравится? – спросила Тамара. – Красиво, да? А когда снег идёт, ты будто на дне колодца, и сверху на тебя сыплет и сыплет благодать... – и тем же мечтательным тоном обронила: – На верхотуре профессура живёт, все чокнутые. Там кооператив. А у нас всё проще, мы ж рабочий класс, люмпены.

Они поднялись на крыльцо, вошли в нутро темного подъезда, и Тамара отперла простую, крашеную коричневой масляной краской дверь. Пропустив мальчика вперёд, вошла следом и щелкнула выключателем. Жёлтым светом озарилась тесная прихожая с рогатой вешалкой, лоскутным коврикком на полу и сколоченным вручную дощатым ящиком для обуви, который служил заодно и скамьёй: на нём лежала такая же лоскутно-цветастая плоская подушка.

Тамара скинула обувь и побежала освещать всю квартиру – щёлк, щёлк, щёлк! – будто спешила показать мальчику разницу между убогой его оставленной жизнью и новым уютным, пусть и не слишком просторным, и не слишком роскошным жильем. Направо в открытом проёме виднелась чистенькая кухня, впереди за прихожей открывалась во всем великолепии оборок, занавесок, салфеток и каких-то ещё плетенных-скрученных, развешанных по стенам цветных кос, квадратная зала, в дальней стене которой была дверь в ещё одну комнату, видимо, спальню.

Жорка тоже разулся на пороге, уж больно всё было намыто-натёрто... прям, до блеска. Блестели ручки дверей, краны в кухне, блестели натёртые мастикой светлые доски пола. В зале под окном купчихой развалился диван с пухлыми валиками и подушками, обтянутыми жёлтыми чехлами; рядом, упираясь длинной ногою в пол, стояла высокая, как журавль, странная лампа с бежевым оборчатый абажу-

ром; именовалась она тоже как-то иностранно: торшер. А противоположный угол отгораживала такая складчатая стенка, как ширма в кабинете у школьной медсестры, но совершенно иная – не белая, а расписная, вся розово-салатовая, с целой толпой нарисованных на ней японцев или китайцев... словом, с компанией каких-то киргизов, на которых Жорка и сам был похож.

И торшер, и ширма достались Тамаре после грандиозного ремонта у Макароныча. Татьяна Марковна подарила, дочка его. Тамара помогала ей прибираться после «этого вселенского бардака». Она подметала и намывала полы, и всё глаз не могла оторвать от этой китайской красоты, и всё восхищалась: обходила ширму кругом, рассматривала, как картину: столько людей, и каждый делает что-то своё, и у каждого, несмотря на общую узкоглазость, своё выражение лица... Там только в одном месте в уголке была оторвана материя, пришить – две минуты. Она и пришила. И Татьяна Марковна сказала:

- Вот и отлично, вот и забирайте её, Тамара.

- Да вы что?! – закричала Тамара, как всегда, не соизмеряя громкость звука с эмоцией. – Вы рехнулись, Татьяна Марковна?!

– Ну, значит, рехнулась, – сказала та весело. – Забирайте, забирайте. И торшер прихватите. Он мне тоже надоел.

«Вот богатые, - подумала тогда благодарная Тамара, - вот они могут позволить себе такое, когда вещи – прекрасные вечные вещи на тыщу лет, да такая красота, на которую смотри - не насмотришься! – вдруг надоедают»...

И долго развёрнутая ширма красовалась у стены, служа просто красоте дома, как гобелен или большая картина. А теперь вот пригодилась по назначению. Стояла растянутой гармонью, отгораживая Жоркин угол: за ней была образцово, по-солдатски заправленная раскладушка, и деревянный стул с прямой спинкой и твердым сиденьем.

- Если аккуратно складывать штаны брючина к брючине и вешать на спинку стула, – сказала Тамара, – они всегда будут как глаженные. А уроки можно делать за обеденным столом, чтобы не сутулиться.

Жорка промолчал. Какие ещё уроки, что за ерунда? Он уроки никогда не делал. Математику решал сразу целыми разделами, прямо в учебнике, с начала года и до последней страницы. В русском тащился, как придётся: корова или карова – какая, к чёрту, разница?! Все тетради были распи-

саны цифрами – оленями, лебедями, ужами и чайками, и все эти примеры походили у него не на задачки, а на чертежи какого-нибудь балетного сценографа.

Дядя Володя встретил племянника более чем спокойно. Трезво, по мужски. Руку пожал.

- Ну, милости просим, – буркнул, – как это... типа, добро пожаловать, почувствуй себя э-э-э... как дома.

Будто Жорка заглянул сюда дня на два, на три. Или на каникулы приехал.

Тамара сквозь сжатые зубы с натугой проговорила:

– Он и так дома, где ж ещё!

– А я что сказал? – негромко, со скрытой угрозой отозвался муж.

\*\*\*

Наутро, в воскресенье, Жорке было позволено выйти погулять. «Но не шляться!» – предупредила Тамара, и Жорка призадумался: что бы это значило, если прикинуть, скажем, в расстояниях? После чего пошел шляться, куда глаза его глядели. А глядели они сразу во все стороны.

Дорогу от пристани, где, в конце концов, они закончили своё прекрасное путешествие, до самого дома, он помнил наизусть. Любой маршрут прокатывался в его голове так же, как цифры, навечно, и в дальнейшем, даже с изобретением всевозможных подпорок пространственному бытию человека, дизайнер Жора никогда ни в одной стране не пользовался навигатором.

Выглядел мальчик отлично! Его единственные тёмно-серые штаны Тамара удлинила за счет обшлагов, отчистила и отпарила утюгом. К рукавам курточки пришила манжеты, а главное, из лоскутов старой коричневой сумки нашла на локти круглые такие заплатки, какие Жорка видел в фильме на одном очкастом американце, сначала симпатичном и добром, потом тот оказался шпионом и некрасиво разевал рот, умоляя, чтобы в него не стреляли, и было противно: раз ты такой обученный шпион, имей честь и мужество запросто умереть за свою страну!

Ранний воскресный двор ещё спал, даже хозяйки в воскресенье позволяли себе подремать подольше. Это была необъятная страна, с кирпичными гаражами (над одним из гаражей уплывала в текучее небо настоящая синяя голубятня), с фруктовыми деревьями – лезь-не-хочу, с асфальтированной площадкой в центре, на которой развешивали

бельё и выбивали ковры, с таинственным полу-сожжённым полу-разрушенным, но упрямо стоявшим крепким кирпичным флигелем на дальней окраине двора. Надо бы разведать этот завлекательный флигель. Но для начала Жорка подробно осмотрел «кооператив», взлетев на те самые лестники и длинные веранды, куда выходили двери явно богатых квартир. Двери тоже были богатые, пухлые, обитые дерматином разных цветов – чёрным, коричневым, и даже вишнёвым. Очень солидные двери! За одной из них драматический женский голос прорыдал:

- Ос-во-боди меня от себя!!!

- Профессура... – шепотом повторил Жорка брошенное вчера Тamarой словечко. «Хм... интересно, кто это? Спрятаться бы здесь... хотя бы за кадкой с фикусом, и понаблюдать за обитателями этого кооператива».

Тайники его захватили позже, но уже тогда, в первые месяцы обживания дома и двора, набережной Кутума и окрестностей, у Жорки возникло острое желание прятаться, исчезать и внезапно себя обнаруживать по собственному хотению.

Потом он спустился, обследовал полу-сожженный дом на задворках этого в целом благополучного двора (судя по занавескам на двух уцелевших окнах, кто-то там зацепился-таки, и живёт!); через параллельную улицу Чехова, где наткнулся на заросли изумительно вкусного крыжовника, он выбрался к церкви с круглой маковкой, которая была не церковью, а каким-то складом, и окружена забором из железных прутьев. Сквозь эти прутья Жорка протиснулся во двор и там тоже всё-всё по-хозяйски оглядел. «При желании можно и на склад пролезть», - подумал, но решил оставить на потом. Он многое решил оставить на потом, например, высоченную сливу во дворе, на которую можно залезть и поискать упущенные местными пацанами сливы. Встречи с местными он, признаться, побаивался.

Побродил он и по Красной набережной, не очень далеко, зато в обе стороны... пока не почувствовал, что утренний чай со вчерашним пароходным пирожком, сохранённым Тamarой, уже заскучали у него в животе, и легонько, но настойчиво скулят, прося компании.

Ужасно довольный, окрылённый всем этим богатством вокруг, Жорка, ни на мгновение не задумываясь о дороге и не заплутав, легко вернулся во двор. Напоследок завернул к песочнице, повисеть минутку на перекладине деревянного гриба. С некоторых пор он решил накачивать мускулы - на

всякий пожарный. Подпрыгнул, ухватился за косую неудобную перекладину и повис...

– Пять! – отчеканил кто-то за его спиной.

Жорка отпустил руки, спрыгнул на корточки, вскочил и обернулся. И замер: шагах в десяти стоял пацан, из тех, на кого глянешь и язык проглотишь. У пацана на голове был куст. Ну, волосы, конечно, но такие курчаво-густые, как подстриженный куст рыжеватой жесткой садовой изгороди. Посреди куста стоял торчком большой многоцветный карандаш с пластмассовыми крючками. Причём пацан делал вид, что так и надо, и он понятия не имеет – что за хреновина там у него торчит, и как туда попала.

– Провисел несчастных пять секунд, – сказал тот. – На идиотском грибке, не подтягиваясь. Хотя для этого есть настоящий турник во-он там, возле говнярки.

Жорка с молчаливым изумлением смотрел, как тот приближается. «Бешеный», - подумал с тоской. Ему вообще люди, умеющие разговаривать длинными правильными предложениями, казались не совсем нормальными. Драться он по-прежнему не любил, хотя и понимал, что бывают безвыходные ситуации, и на новом месте они непременно возникнут. Но не сейчас же, не в первый же день, не с городским же сумасшедшим. Оглянулся на всякий случай: в детской песочнице было полно песка. Это хорошо.

– Здорово! – воскликнул клоун. Значит, точно будет цепляться, не успокоится. Тут главное не тушеваться, а сразу отбрить. Со сдержанным презрением Жорка сказал:

– Здорово. Ты бык, а я корова.

– Кто корова – ты? – удивился кустистый. – Может, ты просто дурак?

«Так, первый пошёл», - подумал Жорка. Значит, деваться некуда. Он скинул курточку движением плеч, как в деревне парни перед дракой.

– Проверим? – предложил, набычившись. Тогда этот, с карандашом в башке, крикнул:

- Ага, та-а-ак?! Сам напросился?! Щас получишь! - и подбрав что-то с земли, ринулся на Жорку без всякого предупреждения, без разминки-разговору, а ведь все знают, что перед дракой разогрев требуется, любой дурак это знает!.. Налетел и шарахнул Жорку по скуле и губе чем-то твёрдым, сразу солёным, горячим, что потекло по подбородку. Жорка попятился, споткнулся о бортик песочницы и кувыркнулся назад.

Пацан ойкнул, выронил, что там было у него в руке, и испуганно глядел, как Жорка поднимается с карачек. Сейчас

Жорка и сам бы охотно врезал этому гаду без всякого разогреву, но больно было чертовски! И лилось, лилось горячее, затекая в рот, струясь по подбородку. Вся рубашка на груди была уже мокрой. Можно представить, как будет вопить Тамара...

– Побежали! – вдруг крикнул кудрявый идиот, схватил Жорку за руку, вытянул из песочницы и помчался к дому. То есть, не помчался, конечно. Он волок спотыкающегося Жорку за собой вверх по лестнице, той самой, что вела на галерею, тащил по длинной галерее в самый конец, а там снова на лестницу и ещё на пролет, а с Жорки лилось и лилось без остановки. Его тошнило, тянуло слюнуть, а придурок, с карандашом на макушке (тот даже не покосился от беготни!) лепетал: «Дед зашьёт... щас дед зашьёт!!» – будто речь шла не о разорванной губе, а о прорехе в штанах. При чём тут какой-то дед, который шьёт (портной, что ли?), Жорка не понимал. Он еле тащился на ослабевших ногах, испуганный таким количеством истекавшей из него крови.

Добежав до высокой, обитой черным дерматином двери, драчливый стал одновременно давить на кнопку звонка и бить по двери ногами, то правой то левой, пока дверь не распахнулась.

– Агаша!! Сгоги, холега!!

На пороге стоял крепкий пузастый старик с гневно вытаращенными голубыми глазами и чуть ли не дыбом торчащей бородой. Он перевёл взгляд на окровавленного Жорку, молча цапнул его за руку и повлёк куда-то по длинному коридору, мимо белых дверей – в белую, очень белую кафельную комнату. И всюду за Жоркой тянулась кровавая дорога. Там старик со стуком стал распахивать дверцы стальных шкафчиков, извлекать какие-то пузырьки, ампулы, ключья ваты и рулоны бинта, потом дотошно мыл и мыл руки с мылом, пока что-то там «кипятилось», а с Жорки всё текло и текло на голубые коврики. Затем старик, взявши обеими руками Жорку за уши, закинул ему голову, секунд пять рассматривая что-то, мыча какую-то мелодию... и стал Жорку ворочать туда-сюда над раковиной, смывая с лица кровь. Пацан с именем Агаша (дурацким, как и весь его вид, разве есть такое имя?) слонялся под дверью и скулил, пытаясь что-то объяснить, на что дед со свежей яростью кричал своё: «Сгоги, холега!».

Прежде всего он сделал Жорке пребольный укол, и второй, и третий, так что у Жорки сами собой потекли слёзы. Но из-за этих уколов совсем скоро пол-лица, включая



нос и подбородок, стало дубовым и бесчувственным, так что, когда дед со своей торчащей, небрежно приклеенной бородой, стал протыкать Жоркину губу иголкой, было уже совсем не больно, было просто никак...

Наконец он аккуратно оттер мальчику всё лицо салфеткой, противно пахнувшей мамкиной водкой, заклеил пластырем повязку, стянул с него и выкинул в плетёную корзину в углу окровавленную рубашку, соблаговолит взять из рук опального внука чистую майку и бережно, стараясь не задеть лицо, натянул на Жорку. После чего Жорку повели в другую комнату, где подоконники были заставлены горшками с разноцветной геранью, и уложили на топчан, который Агаша называл женским именем «софа». Его накрыли мягким клетчатым пледом, и под голову подсунули очень мягкую подушку, в которой сразу сладко утопла Жоркина голова, но этого Жорка уже не почувствовал: он мгновенно заснул, как засыпают дети только в очень безопасных местах...

Он спал, спал и спал, и во сне знал, что спит и спит, и хотел бы спать так долго, пока не забудется вся прошлая жизнь с мамкой, пока не забудутся запахи её перегара и её рвоты, и грязи, и кухонных отбросов с тараканьим воинством... Пока не останутся только запахи этой квартиры, лавандовой подушки и лавандового пледа, и лёгкий запах малины, что ли, или корицы... или печенья? да, коричневого печенья из кухни, где звучали приглушенные голоса... Он спал не сном, а лёгким течением и колыханием реки, и мимо бежали по берегу сайгаки, превращаясь в разные цифры, которые сливались, меняясь и вновь сливаясь и распадаясь... Пока не треснул пронзительным воплем дверной звонок, и в прихожей загремел уже знакомый надсадный голос.

– Макароныч! – кричала Тамара. – У вас тут мой ребёнок, и он ранен?!

– Пгошу пгощения, уважаемая Тамага! Мальчики подгались, это бывает. Так что я вашего пагна лично подлатал. Болеть ему будет долго, останется тонкий шгам, но жить он будет.

– Макароныч! – кричала Тамара. – Я этого так не оставлю, Макароныч! Я не для того ребёнка привезла из деревни, чтобы его тут дырjali, резали и шили, Макароныч! Я так этого не оставлю!

– Бгосте, Тамага. Это нелепое недогазумение. Мальчики уже дгузья. Во избежания осложнений оставляю его у нас на денёк – понаблюдать...

И сразу в дверях комнаты, ещё плывущей в волнах лаванды, возник тип с дурацким именем Агаша: с виноватым видом, с этой крутой паклей мелкокудрявых волос на голове, в которых на сей раз застрял синий бумажный голубь.

– Ма-ка-роныч..? – ошеломленно прошепелявил Жорка нижней губой, верхняя была ещё деревянной и не шевелилась. И по-прежнему больше всего на свете хотелось спать.  
– Почему... Макароныч?

Агаша махнул рукой и спокойно пояснил:

– Марк Аронович. Марк-ароныч... Ну, пошли? Бульону попьешь. Бульон вообще можно через нос втягивать.

## Новогодний Гольфстрим

*из нового романа*

Это была великая эпоха, когда можно было все, на что упадет взгляд, везти в Варшаву и там получить за эту вещь в четыре раза больше. А потом там же закупить какого-нибудь китайского барахла и загнать у нас вдвое дороже. Известное дело, за морем телушка – полушка.

Получив заграничный паспорт в качестве рабочего Химградского домостроительного комбината, я понял, что Империя действительно рухнула. Красные, потные в зимнем, мы с моей богиней и повелительницей, чьи глаза еще недавно сияли, как звезды, а голос звучал, как виолончель, прочесывали магазин за магазином: укладывали простыни – кипами, ночные рубашки – охапками, электробудильники – грудками, батарейки – батареями, шариковые ручки – колчанами, блокноты – кубами. Я и сам высмотрел жутко рококошные золотые рамки из невесомой пластмассы.

Влачились домой мы, словно пара необычайно оптимистичных рыболовов – с двумя удочками, складными, как подзорные трубы, и целой пагодой вложенных друг в друга голубых пластмассовых ведер. А там разверзлись ее домашние закрома: шампуни, клопоморы, вешалки, мундиры, подштанники, полотенца, настольные лампы, ножницы, рубашки, шальвары, перчатки на все четыре конечности, кастрюли, запонки, ботинки, транзисторы, кирпичная кладка сигаретных блоков, ракетная батарея водок, карликовая гвардия стограммовых коньячков со скатками лесок, велосипедные камеры, консервы, ведро ручных часов, два новеньких паровоза “Иосиф Сталин” и севастопольские бастионы белковой икры.

Укладка – это искусство: каждая единица веса и объема должна стоять как можно больше и раздражать таможду как можно меньше. Мой идеал перебегает от клопомора к кастрюле, на миг оцепенев, с безуминкой во взоре кидается к кладке “Кэмела”, перевешивается через спинку стула – отодвигать некогда, – оставив на обозрение весьма соблазнительную, хотя и совсем не божественную часть своего прекрасного тела. Кастрюлица вбивается в вертикаль-

ную сумищу, в которой запросто можно утонуть, как в бочке. Дюралевое днище должно прикрыть самое сомнительное – авось таможенник поленится туда пробиваться. «Надо брать что подешевле, чтобы на Новый год в Варшаве не зависнуть», – то и дело повторяет моя прекрасная мешочница.

Белорусский вокзал, черные заплаканные головы почти неотличимых друг от друга Маркса-Ленина; от них я таскаю наши клетчатые сумищи к вагону с брезжащей сквозь перронный полусвет надписью “Варшава”.

Непроницаемый привратник в маршальской форме, долларовая подмазка, обратившая перегруз в недогруз; света почему-то нет, на тюках среди тюков при блиндажном огоньке зажигалки разливаем из фляжек дармовую химградскую спиртягу. Наша спутница Зина, мать-одиночка, кажется мне уже почти родной. Что значит окопная дружба!

Владельцы тайных складов водки и сигарет (бешеная рентабельность запретных плодов, их разрешается провозить лишь каждой твари по паре) с утра принялись усиленно сеять панику: надо всем заранее скинуться по десять баксов, – но здесь именно бедные оказались против социализма.

Когда пограничник от паспорта прицельно вскинул глаза, всё во мне так и оборвалось: раскрыли, что паспорт добыт налево... Оказалось всего лишь, так сличают фото.

И наконец – таможенник. Я никогда не видел мундиров такой красоты – аквамарин со сталью. Это уже не маршал – генералиссимус.

– Раскрыть сумки! – гремит генералиссимус, и в потолок ударяет гейзер подштанников, шампуней, мясорубок, бритвенных лезвий, ночных сорочек, клопоморов (ах, как мы с ними фраернулись – эти дикари поляки не держат клопов!). Вот-вот из простыней просыплется град наручных часов, которыми, как квашеную капусту укропом, мы проложили все наше шмотье.

– Эт-то что?! – в Зинином рюкзаке открылась кладка желтых верблюдов “Кэмел”.

– В камеру! Хранения.

В мертвой Зининой руке декларация трепещет, будто под вентилятором. Вместе с рюкзаком Зина выставлена в коридор. Когда командующий скрывается в следующем купе, сорокалетняя мать распавшегося семейства падает на

четвереньки и начинает метать нам сигаретные блоки; мы лихорадочно распахиваем их под матрацы.

– Отойти от двери! – команда гремит всё дальше и дальше, и Зина с голубыми трясущимися губами каждый раз вспрыгивает навытяжку. Вагонный гофмаршал наблюдает из проводницкого купе с брезгливой отрешенностью аристократа. Из развинченного люка над его дверью вывалилась желто-алая лакированная груда сигаретных кирпичей, к которым он не имеет ну ровно никакого отношения.

– Какой хороший мужик! – вскипел благодарный гомон, когда таможенник удалился: никого не ссадил, ни бакса не взял...

Тогда считать мы стали раны: все кругом завалено утаенными сигаретами и бутылками, всюду на радостях чокаются.

Что-то вроде Варшавы (сердце всё же пристукнуло – первая граница, а я-то уже решил, что ее коммунисты придумали, чтоб было куда не пускать и с кем бороться), но весь муравейник повторяет: “Сходня, Сходня”... Ах, наверно, Восточная – Восточная!.. За полминуты выгрузить гору тюков, чтоб ничего не сперли, – эта штучка посильнее задачи про волка, козу и капусту. Полутемный туннель, жмемся друг к другу, как во времена Жилина и Костылина: рэкет охотится за отставшими. Вспыхнул чистотой и лакированной пестротой витрин вокзал. Тянемся полу-площадью-полу-улицей, своевольная тележка-двуколка на стыках бетонных квадратов норовит сковырнуться набок, а товарищеская спайка здесь та еще – ждать не станут.

Закопченные, в боевых выщерблинах стены, иностранные вывески, где скорее ухо, чем глаз, ухватывает славянские отголоски: “увага”, “адвокацка”... Магазин по-польски – “склеп”: что поляку здорово, то русскому склеп.

Из-под сыпучих ворот открывается утопанный снежный проулок среди полипняка синих дощатых ларьков, обвешанных густым флажьем джинсов обоего пола, ларьки напичканы, глаз теряется, какой-то хурдой-мурдой, в которой, будто в цветастых водорослях, запуталась черная скорлупа разнокалиберной электроники. Проулком в обнимку бредут, шатаясь, два иностранца, запуская в небеса ананасом, вернее, сосулькой, и лаская слух родным русским матом.

Моя вчера богиня, а сегодня командирша расстелила прямо на утопанном снежном крем-брюле алуо клеенку и

начала теснить на ней наши сокровища под сенью перевернутой голубой пагоды из пластиковых ведер, откуда я нанизывал часы на леску – с кукана их труднее стырить.

Вот она, русификация: эта юная польская парочка, желающая запастись пододеяльниками до самой золотой свадьбы, чешет совсем по-имперски.

– Перекупщики, – дарит улыбкой моя повелительница, – лучше сами эти деньги заработаем – все равно стоять.

Остролицый небритый персонаж из “Пепла и алмаза” обращается ко мне: “....” – цензурны одни предлоги да суффиксы. Торговля идет неважно, как бы на Новый год здесь не зависнуть.

К хлопотливому соседке, на карачках погруженному в нежный перезвон сверлышек, фрезочек, плашечек (рентабельность бесконечна, ибо прибыль делится на ноль – все украдено с завода), которые он рассыпает кучками вокруг гордо раззявленных на небеса электрических мясорубок, подходят двое в непроглядно черных кожаных куртках, исполосованных вспышками молний. Их русский с блатным привкусом подлиннее моего, дистиллированного.

– За что платить, за снег, что ли?.. Вам, что ли?.. А удостоверения есть?.. – пытается петушиться побледневший укротитель металла.

Моя маленькая хозяйка ласково поглаживает меня по односторонней спине (моя должность при ней называется «верблюд»): нас не тронут, они на мясорубки позарились – триста тысяч, шутка ли! Но даже диковинные “тысячницы” (боже, три тысячи, неужели я когда-то читал “Братьев Карамазовых”!..) меня не оживляют. Я свирепо горблюсь, угрюмо играю желваками – чучело тоже способно отпугивать воробьев, – но мне до ужаса не хочется вместе с моей богиней купаться в помоях.

И я ведь впервые за границей, а где же, наконец, иностранцы?!

Они посыпались с неба – фашистский десант. Свирепый лай команд сам собой – послевоенное детство – складывается в сакральные: “Хальт!”, “Цурюк!”, “Хенде хох!”. Владелец мясорубок, обратившийся в карлика, бледно лепечет:

– Почему я?.. Мы ж тут все...

– Торбу!!! – оглушает весь в невиданных эмблемах (иностранец!) страшный усач – второе пришествие маршала Пилсудского; клацают затворы, ощериваются наручники.

– Может, там и есть что, я ж не продавал, я для себя... – и в предсмертной заячьей отчаянности: – Я же знаю, кто вас навел!..

Из сумки зловеще, как фиксы бандита, поблескивают латунные колпачки запретной водки.

– За товаром приглядите!.. – и трясина сомкнулась...

Но через час снова смилостивилась: хозяин мясорубок вернулся облегченный на неизвестную сумму. На какую – коммерческая тайна.

А мы к темноте распродали-таки практически всё: моя хозяйюшка почти не торговалась, чтобы на Новый год не виснуть на чужбине.

На ночлег влачимся по какой-то крутейшей полутемной лестнице, среди невидимых тел пробираемся к ледяному ложу, – мне с «жоном» выделена двуспальная постель, заваливаемся полуодетые. В четыре утра у двери туалета уже очередь, у кухонной раковины – тоже. Возвращаюсь прилечь, но в постели успела устроиться хозяйка. Во мраке скрипучей лестницы-шахты она жизнерадостно напутствует, чтобы мы не ходили через бензоколонку: вчера ее постояльцев там опустили на сто долларов каждого. Но наши невыспавшиеся, сопротивляющиеся ознобу лица и без того уже достаточно серьезны.

Нефтяная ночь, чуть разбавленная издыхающими витринами и фонарями. Переулками обходим огни покинутого эсминца – зловеще пустынную бензоколонку. Чужой черный шрифт на кзигарне. Мы движемся к Стадиону нехоженными тропами – в этой жиже (потом разберемся, по щиколотку или по колено) вряд ли устроят засаду. Кишение огней в черном месиве, бесконечный рев огнедышащих автобусов – все туда, на Стадион! – протирающих о нас свои бока, – во что мы превратились, увидим только с рассветом. Спасительный поток согбенных теней, уминаемых турникетами в нарезанную кольцами ярусов сдержанную Ходынку. “Доллари-руббли-марки, доллари-руббли-марки”, – взывают едва различимые менялы.

Редкие лампочки под ледяным ветром раскачиваются на временных шнурах, как на бельевых веревках, черные людские силуэты споро сооружают силуэты палаток, меж которых протискиваются угрюмые толпы, все с тележками и сумищами; сцепляются и расцепляются безмолвно, покуда не сцепятся два благородных человека – тогда доходит до дуэли; поршнями продавливают толпу нескончаемые авто-

мобили, ослепляя горящими фарами, вминая сторонящихся в прилавки, правда, так и не расплющивая до конца; оторванные друг от друга, отыскиваемся вновь и вновь (самое трудное – не дать потоку увлечь себя) – этаким манером нужно обойти все девять овалов ада, чтобы при свете коптилок и ручных фонариков перещупать все цены и дамские штаны (леггинсы?) с блузками и блузонами ягуаровых и тигровых расцветок, чтобы вернуться к самым дешевым: здесь не у мамы, сочтешь три процента пустяком – потеряешь месячную зарплату.

После общих испытаний я ощущаю родство с челночной братией даже при посадке в автобус до Бреста, оттуда движем поездом. Ну и что с того, что тычутся локтями, задами, рыкают, твякают, – свои же люди! Я могу пристроить наши сумки в непроглядное багажное подполье и последним, какая разница! А в Бресте последним забрать, поднырнув под боковые надкрылышки автобуса. И только тут обнаруживаю, что мы уже одни. Вернее, не одни, что гораздо хуже. Темное шоссе, темный пакгауз, темные быки переходного моста и освещенный – близок локоть – перрон, но путь отрезан тремя очень темными силуэтами.

– Они хотят сто долларов, – сухо уведомила моя боевая подруга.

– Все деньги у меня, – поспешно объявил я.

– Гони ты. У вас тут, – пошевелил наши тюки; так ногой переворачивают трупы, – на тонну зелени.

– Да вы что, ребята, и полтонны не будет!..

Я всего лишь старался предостеречь хороших парней от оплошности: мы не одни, работаем на фирму, вся зелень в товаре, но товар мечен нашим фирменным знаком – влипнете на реализации, зачем вам это надо, нас мужики уже наверняка искать пошли.

Когда не дрожишь за красоту своего образа, всё не так уж страшно.

– Ничё, мы тоже можем по-бырому, – частил блатной фальцет. – Хошь, ща шмотье обкеросиним, бабе твоей табло распишем?!

– Моя баба далеко, – старался я обесценить свою низвергнутую с небес богиню.

– Нам все отсыпают!

Благородный баритон упирал на святость традиций, а фальцет всё брал и брал на горло:

– Слушай, мужик, ты меня уже достал!!!



Но я видел, что он включает свою истерику, как водитель сирену, – корысть скотов далеко не так ужасна, как их честь. Чтобы ненароком не задеть их за святое, я с воинскими почестями вручил силуэтам пухленькую пачечку российской рвани.

Спасительный перрон, я жду похвал – мы отделались сущими копейками, – но первое, что она мне говорит:

– Значит, твоя баба далеко? Теперь поедешь к жене под бочок, Новый год праздновать?

Я даже растерялся, – женщины это любят – выдвигать десять обвинений сразу. Не будешь же отвечать по пунктам, – пункт первый: про бабу я сказал, чтобы только отмазаться от бандюков; пункт второй: на Новый год мне всё равно не успеть...

Я ответил только на второй.

– Ничего, она тебя встретит утречком с шампанским.

Этим она меня и напутствовала, когда я в Москве усаживал ее на поезд до Химграда:

– Можешь радоваться, отделался от меня, поедешь пить шампанское с женушкой.

Кажется, она малость тронулась на этом шампанском.

Но шампанское-таки явилось ровно в полночь, когда поезд миновал Тверь. Сытенький молодой человек новой формации, с аппетитной скромностью объяснявший, как их, людей из органов, ценят в коммерческих банках, извлек угревшуюся бутылку шампанского и окатил нас всех, как из брендспойта, потом рубашка очень приятно пахла. А когда народ собрался укладываться, деловито спросил:

– Завязываться будем?

– ?..

– Бандиты умеют все замки открывать, а если завязаться полотенцем, это как в швейцарском банке.

Не зря их ценят: банк, который бы он завязал, не взял бы ни один медвежатник. Я это проклятое полотенце еле развязал зубами и когтями, когда под утро мне понадобилось выйти.

Новогодний гудеж уже угасал, в коридоре только один сивоусый казачина в алом жупане гудел своему цивилизованному собеседнику: «Хумилёв показав...».

А в туалете я оцепенел: унитаз кто-то засорил деньгами. На одной бумажке, прилипшей к донышку, был отлично виден ленинский профиль. То-то Вознесенский просил убрать

Ленина с денег – как чувствовал!.. Ленин и сам предрекал, что при коммунизме из золота будут делать унитазаы, но что еще при капитализме ассигнации пойдут на туалетную бумагу, не додумался и он.

Только тут до меня дошло, что бумажки с Лениным давно вышли из употребления, – лишь тогда я решился подвергнуть их новому осквернению.

На душе тоже было скверно. Неужели таможенники, мелкие торговки и бандюки так теперь и будут моим обществом? А вчерашняя возлюбленная так теперь и останется сварливой хозяйкой-любовницей? Я постоял в холодном тамбуре, чтобы остыть от вагонной духоты, а когда наконец решил вернуться, купе оказалось запертым. Я позвал мрачно бодрствующую проводницу, но и ее ключ оказался бессилён – бдительный товарищ из органов успел снова завязаться.

– Постучите, – угрюмо предложила она мне, но я отказался:

– Неудобно. Да и всё равно не усну.

Кажется, этим я слегка ее растрогал.

– Можете посидеть у меня, – нелюбезно предложила она, искоса глянув, не вообразил ли я чего.

Я не вообразил. Но перехватил пробежавшего из вагона-ресторана официанта, тащившего каким-то запозднвшимся гулякам пару бутылок шампанского, и попросил занести и нам бутылочку, что он исполнил на удивление скоро. Мы заперлись от ревизоров и разлили шампанское по чайным стаканам в подстаканниках. Но разговор тоже не развязывался – уж очень она была не вдохновляюще мрачной. Не бывает некрасивых женщин, бывает мало водки, вспомнил я, но она была не столько некрасивой, сколько угрюмой. Я приоткрыл дверь, снова поймал официанта, и он принес еще одну бутылку. А потом я подумал, что встречаю утро с шампанским отнюдь не с женой, и, видимо, улыбнулся, потому что и она вдруг улыбнулась краешком губ – и тоже на ту же тему:

– Что бы ваша жена сказала, что вы тут со мной шампанское пьете?

– Почему женщины так любят все время вспоминать жен?

– А вы бы хотели, чтоб мы совсем дурочки были? Мой парень сейчас в армии служит и тоже, небось, прикидывается перед девками, что у него никого нет...

Я с удивлением глянул на нее, и оказалось, что она действительно совсем молодая, ее старила только недобрая озабоченность.

– Не беда, поприкидывается, а потом всё равно к жене под бочок, к вам, – мне стало любопытно, женаты они или нет, но она этот вопрос обошла.

– Под бочок... На письма уже два месяца не отвечает.

– А о чем вы ему пишете?

– Что скучаю, что в очередь на комнату встала... Ну, о чем все пишут?

– Так все и пишут о скучном, а ты ему напиши о чем-нибудь интересном, о том, как ты красиво живешь, чтобы и ему так захотелось, – я наконец почувствовал воодушевление.

– Ну, и чего мне ему написать? – идея ее не слишком воодушевила, но всё ж таки лучше, чем ничего.

– Напиши, например... Напиши, что ты записалась в яхт-клуб, что вы ходите на яхте в море, что в команде все красавцы и поэты, что ты там единственная женщина, и все наперебой за тобой ухаживают. Но лучше про быт ни слова, а всё про то, как красиво в море. Ну, например, что берег становится тоненькой ниткой, а облака, наоборот, вырастают, как горы. А вода становится темно-синей, даже фиолетовой. А на мелких местах солнечная сетка играет по дну. Как светящийся гамак.

– Гамак?

– Ну да. И кажется, что море разлеглось в этом гамаке. А потом напиши, что... Да вот же у тебя блокнот, давай я тебе буду диктовать, а ты пиши.

Я протянул ей шариковую ручку, и она начала писать на удивление быстрым и ровным почерком, тщательно стараясь скрыть проступившую надежду насмешливым выражением.

Я же диктовал, что они всей командой скоро собираются пойти в тропические моря, где до дна дальше, чем до облаков, но вода такая прозрачная, что на километровой глубине видно, как краснеет планктон и изгибаются огромные расписные рыбы, а на поверхности Гольфстрима медузы сверкают под солнцем, словно переливающиеся радугой мыльные пузыри, а за ними тащатся смертоносные лиловые щупальца, и на это можно смотреть часами, забыв обо всем на свете... А теплый Гольфстрим сам несет тебя, и уже непонятно, плывешь ты или летишь – и под тобою бездна, и над тобою бездна...

Я понимал, что меня заносит слишком уж высоко, но вторую-то бутылку выпил практически я один, и шампанский Гольфстрим нес меня на своих теплых струях.

– Да не, он не поверит, что это я написала...

– Поверит. Ты так и объясни: я раньше была совсем другим человеком, занималась всякой дребеденью, а теперь я увидела, сколько в мире красоты, и больше не хочу притворяться, хочу говорить, что мне нравится. И как мне нравится.

Она покачала своей короткой темной стрижкой, но, кажется, записала и это.

Народ уже потянулся с полотенцами к туалету, и я отправился в купе, оставив ей свой номер телефона. Возможно, причиной тому было шампанское, но мне показалось, что роль Сирано мне удалась: моя подопечная на прощанье внезапно клюнула меня в щеку.

На перроне шампанское тоже било, как из брандспойта, и я не сразу понял, кто это, когда недели через три-четыре в трубке раздался робкий женский голос:

– Это Зина, из поезда. Вы мне еще письмо писали.

– А, да-да. Как дела, Зина? Он вам ответил на письмо?

– Сразу ответил. Два месяца не отвечал. А тут вдруг сразу.

– И что же он написал?

– Да всё про свое... Что в тропиках должны каждый день выдавать ноль семь сухого вина. А что, в яхт-клуб в натуре можно записаться?

– Наверняка. Он знаешь где? В Стрельне. И еще вроде бы на островах. Но в Стрельне точно есть. Хорошая идея – научишься ходить под парусом, а потом и парня своего к себе подтянешь.

– Да ну его к черту, опять всю свою вонь туда потащит – «ноль семь», «ноль семь»...

Больше она мне не звонила, и далеко ли ее унес новогодний Гольфстрим, я так и не узнал.

## Фимóк

*рассказ из новой книги*

При рождении родители дали ему имя Ефим, Фима. Так его и звали в школе и в институте, и потом, на вольных журналистских хлебах – а тридцати лет отроду он получил ласковое имечко «Фимóк», накрепко к нему прилепившееся. Не от милой девушки он его впервые услышал, не от весёлых приятелей за хмельным столом, а от замечательного писателя Ника Протасова, на берегу озера Леман, в городе Женева. Филиппок, Витёк, Фимок – почему бы и нет! Говорят же русские люди: «Назови хоть горшком, только в печку не сажай». Народ зря не скажет, перспектива очутиться в топке наподобие героя гражданской войны Сергея Лазо никого не радует. Так и видишь: деловитая бабка с квадратным задом поддевает ухватом чугунный горшок и сажает его в печь, в красное пекло. Ох-хо-хо.

Ни Фима Гольдштейн, ни Ник отнюдь не глазеть на знаменитый фонтан, бьющий посреди озера, приехали в Женеву. Фиму привела сюда извилистая эмигрантская тропа, а Протасов был выдворен властями из Советского союза за отважное вольнодумство и опасные связи с диссидентами.

Появившийся на свет в московском родильном доме им. Крупской, Ник до поры, до времени был Николаем, а после публикации в журнале «Новый мир» рассказа «Синяя птичка», лет тридцать назад, он уже наутро проснулся знаменитым, и никто его с тех пор Колей не звал; для всех и каждого он стал почему-то Ником Протасовым. Почему? Чем хуже Коля-Николай? Да кто ж нынче определит: так уж случилось и сплелось, и этот вопрос останется открытым.

Они были шапочно знакомы в России – Фима Гольдштейн брал как-то раз интервью у Ника Протасова, ещё не попавшего в глухую опалу, потом раз-другой выпивали вместе, на каких-то гулянках, и даже перешли на «ты». Здесь, в бархатной Женеве, на чужбине, они потянулись друг к другу, как давние добрые приятели.

Встретиться договорились в великолепном университетском парке, в одиннадцать утра, около площадки для игры в петанк. Деревья ухоженного парка, похожие на обитателей дорогого отеля, окружали игровую площадку, на которой безукоризненно одетые мужчины пенсионного возраста со-

средоточенно металы железные шары. Ник наблюдал за их занятием с пристальным интересом.

Фима подошёл. Они обнялись, похлопали друг друга по спинам.

– Ты только погляди, – сказал Ник, – как эти пенсионеры кидают свои ядра! А ведь если дадут промашку и засветят кому-нибудь, мало не покажется.

– Они тут на этих шарах просто помешаны, – дал справку Фима, живущий в Женеве уже четвёртый месяц.

– Европа! – уважительно отметил Ник. – У нас в Москве такое заведи – сразу друг друга с похмела переколотят до смерти. Шарик-то килограмма на два тянет!

– Зато они «козла» не забивают, – заступился за швейцарцев Фима. – Для них домино вообще не существует.

– Каждому своё, – философски заметил Ник. – А иногда и чужое.

– Это да, – без спора согласился Фима. – Ульянов тоже так думал. И додумался.

– И вот результат: мы в Женеве, – сказал Ник. – Ты где тут живёшь?

– В Каруже, – сказал Фима. – А что?

– Ульянов тоже в Каруже жил, – сказал Ник, – я точно знаю. Там квартиры на съём дешевле... Давай пойдём по следам картового и выпьем пивка!

– Хорошая идея, – одобрил Фима. – Пошли в «Ландольт», это через дорогу, в двух шагах – там вождь пролетариата выпивал и закусывал на партийные деньги. Пошли?

– Идём, – сказал Ник. – Партийных денег нет, зато у меня в кармане четвертинка «столичной». Мал золотник...

– ...да дóрог, – подытожил Фима. – Осторожней, тут трамвай!

– Выпьем по рюмке и поедем куда-нибудь на трамвае! – предложил Ник. – Мы свободные люди, куда хотим, туда и едем.

За выпивкой, как бывает у взаимоприятных людей, возник задушевный разговор.

– Ты здесь хочешь остаться, в Женеве? – спросил Фима. – Или дальше поедешь?

– Недели ещё нет, как я из Москвы, – ответил Ник. – Посмотрим... Поеду, наверно.

– Куда? – спросил Фима.

– В Париж, Фимок, – сказал Ник, и Фима Гольдштейн немало подивился своему новому ласкательному имени. – Там наших много, знакомые есть. Зовут... А ты?

– Тоже не знаю, – сказал Фима. – Я ж один, куда ветер подует, туда и поеду. Может, в Израиль вернусь – я там почти два года прожил. Может, в Штаты.

– Давай во Францию махнём! – предложил Ник. – Тут же рядом! А, Фимок? Франция, мечта!

– Давай, – согласился Фима. – Отсюда до Франции минут двадцать езды, как раз на трамвае можно съездить.

– А граница? – с опаской спросил Ник. – Пропустят?

– Трамвай едет, никого не спрашивают, – успокоил Фима. – Можно пешком идти, тоже никого не волнует.

– Пешком? – переспросил Ник. – А застава есть?

– Будка есть какая-то, – сказал Фима. – А забора нет. Улица идёт и идёт. Сам увидишь.

– Но граница на замке? – ухмыльнулся Ник.

– На замке, на замке, – сказал Фима. – На висячем.

Женевская трамвайная улица вплотную подбиралась к пограничной будке, а за ней сразу начиналась Франция. В этот дневной час улица была малолюдна, штучные пешеходы шли по тротуару мимо будки во Францию по своим делам. Квартал не доезжая границы, на последней швейцарской остановке, Ник поднялся со своего места в трамвае.

– Сходим, Фимок! – попросил Ник. – Дальше я пешком...

Они вышли, и Ник ходко зашагал, оторвавшись от Фимы, по тротуару к границе. Фима, отступя, шёл следом. Миновав будку, Ник оглянулся – Фима догонял его.

– Ну, как? – поравнявшись с Ником, спросил Фима.

– Ещё как! – сказал Ник и улыбнулся торжествующе. – Перешёл! Такое, знаешь, сходу в голове не укладывается. Вив ля Франс!

– Ну да, – сказал Фима. – Теперь надо по бокальчику вина проглотить за благополучный переход границы. Вон бистро!

За стойкой, покачивая вино в бокале, Ник продолжал:

– Это просто уму непостижимо! Никто в меня не стрелял, собаками не травили. Свобода! Мы про это слышали в Совке, но верили с оглядкой: не может быть!

– Может, может, – сказал Фима и бокалом потянулся. – За тебя, Ник!

– И я, старый дурак, представить себе не мог, – продолжал Ник. – Знаешь, почему? Потому что всякий человек составлен из двух частей: воды и глупости.

– А Эйнштейн? – усомнился Фима. – Тоже?

– Тут всё дело в разливе, – сказал Ник. – Меньше воды – больше глупости, больше воды – глупости меньше. Но без глупости нам никак нельзя обойтись: совсем без глупости человек превратится в заводную игрушку.

– А Адам? – спросил Фима.

– Адам был простак, – дал ответ Ник Протасов. – А Ева – та нет.

...Замечено было мудрецом, что все реки текут в море, а море не переполняется. Но, надо думать, не зря, всё ж, они текут... Хазарское море не переполняется, и наше Асфальтовое, подпитываемое Иорданом, через который в разгар жары и курица перескочит, не выходит из берегов. А вода всё течёт и течёт, увлекая за собою время, по бухгалтерски разграфлённое на годы. На смену лету приходит зима, в Женеве земля спит под снежным одеялом, а у нас, под порывами дождевого ветра, пальмы, как собаки, трясут патлатыми головами. Прямоходящие самозабвенно следуют путём прогресса – то ползком, то броском. Направляемая крикливым большинством, торжествует демократия, лучше которой, как подметил другой мудрец, покамест никто ничего не придумал. Впрочем, ещё не вечер – только смеркается.

Движение времени коробит устоявшуюся картину жизни, год за годом приносят всё новые умопомрачительные открытия и изобретения: всеохватную культуру «сэлфи», самоезжую ядерную торпеду, способную утопить целый континент, захватывающие компьютерные игры на все возраста – детский, половозрелый и ветхий. Много чего...

За время, утекшее с того солнечного дня, когда знаменитый писатель Ник Протасов беспрепятственно пересёк французскую границу, многие вещи изменили свои очертания: большевикам дали по шапке и прогнали из Кремля, разгорелась русско-грузинская, а потом и русско-украинская война, а сам Ник умер от рака и залёг на вечное хранение на парижском кладбище Сент-Женевьев-де-Буа. Пути Господни неисповедимы и петлисты, но дальше погоста они едва ли нас заведут. Чем дольше мы живём на белом свете, тем крепче убеждаемся в том, что совершенная наша беспомощность открывается лишь со смертью близкого нам человека, а больше никак – в других случаях выполза-



ет из-под чёрной двери лучик надежды, которая умирает предпоследней.

О том, что Ник Протасов, думающий человек и весёлый выпивоха, прислонился к вечности и его отвезли на кладбище, Фима узнал месяца через полтора после похорон. Время способно стачивать острые углы, лечить ссадины и раны – поэтому посмертная режущая беспомощность обошла Фиму стороной: грустная весть добиралась до Тель-Авива с остановками и пересадками, на Святой Земле считанных людей волновала судьба эмигрантского писателя Протасова, автора некогда нашумевшего рассказа «Синяя птичка». В их числе был и Фима Гольдштейн, получивший в наследство от Ника тёплое имя Фимок.

После того памятного случая с Ником Протасовым на французской границе, Фимок ещё два года, в погоне за удачей и заработком, колесил по Европе, а потом вернулся в Израиль. Русские издания таяли здесь на глазах, как масло на сковородке, и хлебную журналистскую работу было не сыскать и с фонарём. Тель-Авив, не такой приспособленный для жизни, как Женева, но зато и не такой чужой, предлагал возможности для продолжения существования: идти в сторожа или поступить на курсы. Сторожить по ночам чужой покой – это занятие было у нас в ходу ещё с библейских времён: ночной сторож даёт свой сон взаимы чужому беспокойному человеку, получая от него взамен денежную компенсацию. Всё шито-крыто, в полном порядке. Доброй ночи, приятных снов! Но можно было не клевать носом по ночам, а идти на дневные курсы. Учебные курсы у нас в большом почёте – от набивки птичьих чучел до изучения китайского языка. Фимок, взвесив возможности и оценив перспективы, решил податьсь на курсы санитаров – на них был спрос на рынке труда, и оплата набегала совсем неплохая. «Медбрат» звучит почти так же гордо, как «мед-сестра»! И, действительно, от усердия санитаря иногда зависит человеческая жизнь, а это тебе не по-китайски кукарекать.

Глядя на захлёбывающееся в прибое Интернета гуттенбергово книгопечатанье, Фима Гольдштейн не жалел о выборе новой профессии: его бывшие коллеги-журналисты, теряя работу, шли сторожить подъезды доходных домов и автостоянки. Мотаться по городу во всякий час суток, под сиреной, с бригадой «скорой помощи», куда Фимок устроился на работу, было куда увлекательней, чем торчать до посинения в чужих подъездах.

Соседство с чужой болью и смертью оказывало на Фиму благотворное влияние: он стал задумываться над суетностью жизни, балансирующей на грани, и красочная незыблемость бытия выцвела в его глазах. Иногда его тянуло, по старой памяти, взять чистый лист бумаги и описать эту странную метаморфозу, которую он готов был объяснить возрастом – ему уже перевалило за пятьдесят, но слова не складывались во фразу, письмо не шло. Фима, для облегчения задачи, наливал себе рюмку, но не шла и водка – пить в одиночку не доставляло отрады, а напарника не было: Фимины коллеги по «скорой помощи», в отличие от старых газетных собутыльников, и капли бы не пригубили без веской причины – свадьбы или дня рождения. И не было под боком привычной женщины, с которой можно поговорить по душам в свободное от санитарного труда время.

Как-то раз, возвращаясь с работы, он приметил на уличной скамейке, у мусорного бака, стопку русских книг. Удивляться тут было нечему – старики, читавшие эти книжки, вымирали, а их потомство, забывшее язык отцов, выносило никчемный хлам на улицу – может, подберёт, кому надо.

Читая названия, Фима разбирал стопку. «Мадам Бовари» Флобера. Учебник алгебры. «Басни» Михалкова. Вдруг Фима застыл с книжкой в руке: Николай Протасов, старое московское издание. Вот так встреча! Вот это да!

Фимок сел на скамейку, открыл книгу Ника, увидел на титуле: «Чёрным по белому. Рассказы». Перелистнул страницу, прочитал эпиграф: «В берёзовой роще будь особенно внимателен: здесь всё написано чёрным по белому». Прелесть какая! Он повторял про себя сказочную фразу, перекатывал её во рту, как леденец. Улыбка, словно пришитая, не сходила с его лица. Поскорей прийти домой и засесть за Ника! И без стука откроется другое измерение, давно остывшее и такое неотвязное: репортёрская молодость на подножных кормах, загульные приятели-сочинители, Женева и Париж, и Ник приветливо машет рукой с того берега...

Едва переступив порог, Фима уселся за стол и открыл книжку перед собою. Первый рассказ сборника начинался так: «Вот два самых загадочных существа на белом свете: хамелеон в животном мире, орхидея – в растительном». Ну да, пожалуй: орхидея не ромашка, а хамелеон не бродячая кошка.

Фима видел хамелеона раз в жизни – рассчитано, как в бальном танце, передвигая ноги, он шествовал по гребню забора, огибавшего станцию «скорой помощи». Фима уста-

вился на него, не сводя глаз – хамелеон был похож на инопланетянина, прилетевшего на станцию прямо из созвездия Волосы Вероники. Пришли на ум картинки, виденные случайно в Интернете: меняющая цвет шкурка, телескопические глаза, выпрыгивающий изо рта ловчий язык. Тут было над чем призадуматься... С орхидеями дело обстояло попроще – они в Израиле на грядках не растут, но евреи отдают должное шикарным цветам: покупают их за немалые деньги и дарят друг другу по торжественным случаям.

Дочитав, он отложил книжку. Ночь глядела в окно. Фиме отчаянно, до ломоты в пальцах, хотелось включить компьютер и написать первую фразу, но он не мог придумать – какую. В воображении всплывали какие-то подходящие обрывки, но у него не получалось подцепить их на крючок и выложить в ряд. «Вот два самых загадочных существа...» Ник тоже не на подмосковных же огородах нашёл орхидеи, а, скорее всего, в ботаническом саду. И вот написал рассказ. А у нас они в любой цветочной лавке выставлены, на каждом шагу – и что с того? А то, что, глядя на них мимоходом, никакая интересная мысль не загоралась в Фимином сознании, обёрнутом санитарной марлей. Пора было ложиться спать, и сон – эта неперемнная репетиция смерти – принёс облегчение: ему приснилась первая фраза. На шатких спросонья ногах Фима подошёл к столу и записал фразу, чтобы не забыть до утра.

А назавтра, проходя мимо оранжереи, он нацелено вошёл вовнутрь – в зелёный мир цветов и листьев. В центре помещения, просторного, как самолётный ангар, особняком располагался белый шатёр, над входом в который, на искусственном суку, сидел великолепный, с чёрным кривым носом, сторожевой попугай-ара. Изучающе глядя по сторонам, он время от времени разевал клюв и выкрикивал, ни к кому, впрочем, конкретно не обращаясь: «Шалом!»

Полотняный шатёр был домом орхидей. Только орхидей. Ни розам, ни хризантемам, ни охапкам сирени здесь не было места. Миновав сторожевого попугая, Фима отпахнул лёгкую дверь шатра и очутился в толпе цветущих орхидей, заполнивших полки, устроенные вдоль стен. С таким обилием загадочных, по определению Ника Протасова, цветов Фимок не сталкивался ещё никогда в жизни.

Войдя, он очутился в сердцевине красоты. Красота окружала его со всех сторон – абсолютная и непостижимая, как «Джоконда» Леонардо. Каждая орхидея отличалась от другой – неповторимой формой замысловатых лепестков, при-

чудливыми венчиками и непревзойдённой роскошной расцветкой. Этим, либо чем-то ещё, чего Фима не умел распознать, объяснялось ощущение совершенной красоты, его охватившее. Если б красоту, которая мир не спасёт, но хотя бы немного приукрасит его закат, можно было измерить, каждый цветок орхидеи послужил бы эталоном такого замера. Белый шатёр с кривоносим попугаем у входа показался Фиме раем – здесь не было ничего, кроме красоты, ничего лишнего, что могло бы нарушить её линии. Всё здесь было устроено продуманно и загадочно, и всякое вмешательство привело бы к непоправимому крушению дивного мира под сводом шатра. Рай, составленный из орхидей, был бы низвергнут в недра нашей постылой реальности; каждый миг мог стать для него последним.

Под развалинами красоты, в руинах рая, испустил бы последний вздох и Фимок. Рай нуждается в защите и охране, не всякого встречного-поперечного туда можно впускать, а сторожевой попугай не помеха для злого болвана. Фима готов был стать преданным охранником и, бренча ключами, бессонно дежурить у дверей райского шатра: «Милости просим, заходи, господин хороший, а ты, козёл, давай заворачивай оглобли!»

Неисповедимо сплетается ход судьбы, ничего не скажешь, и в этом неведении живёт светлячок надежды. Фиме Гольдштейну, медбрата с журналистским прошлым, потребовалось наткнуться близ помойки на выброшенную кем-то за ненадобностью книжку Ника Протасова «Чёрным по белому», и вот чуть заметная тропа уже привела его в оранжерею, и он уловил в себе неодолимую тягу уволиться из «скорой помощи» и наняться в теплицу хоть ключником, хоть попугаем – только б не расставаться с загадочной красотой орхидей.

Он и уволился, и нанялся, и стоит теперь Фимок у входа в тот шатёр, в оранжерее, улица пророка Самуила, дом 28, Тель-Авив.

**Водолаз его величества**  
*глава из нового романа*

Тусклое зимнее солнце вставало над севастопольской гаванью, малый катер быстро мчался вперед, оставляя за собой пенный след и Графскую бухту.

– Вы, поди, награды ожидаете за быструю работу? – спросил рулевой. Ленточки на его бескозырке развевались под напором ветра, а сам он, в плотно застегнутом бушлате, с руками на штурвале, больше походил на памятник, чем на живого матроса.

– Так вот не рассчитывайте, не будет вам никакого поощрения. Поручик все под себя подмял. Он в штабс-капитаны давно метит, вот и гребет, откуда может. Он получит, а вы лапу будет сосать. Сосать, сосать и сосать, а иначе...

– Ты бы помолчал, а? – перебил его Базыка. – Язык у тебя, что помело, только мусор и подбирает. Осенью ты нам чего наговорил, помнишь? Мы ушки развесили, да все наоборот вышло.

– И кому от этого хуже стало? – возразил рулевой. – Да ежели б я вас не упредил, может, по-плохому бы и сложилось, а так на лад свернуло.

– Колдуешь, значит, помаленьку? – усмехнулся Димыч. – Ну, колдуй и дальше, лишь бы к добру поворачивалось.

Артем молчал, с трудом сдерживая улыбку.

На «Двенадцати апостолах» ничего не изменилось, Артем и Димыч заняли свои прежние койки в пустом кубрике, и привычно вышли на палубу. Было неудобно, с моря тянул холодный ветер, Севастополь словно нахохлился, сжался, белые дома казались серыми, свечи колоколен, желтые летом, приобрели цвет давно не чищенной бронзы, а малахитовая вода в бухте стала грязно-черной.

– Пошли в кубрик, – сказал Базыка. – Я в Графской намерзся за всю зиму, до самого лета.

Вернувшись, они улеглись в люльки, Артем уже стал погружаться в сон, но Димыч заговорил.

– Гляди, как оно выходит. Жили мы себе в Кронштадте и знать не знали ни про Графскую бухту, ни про мичмана, ни

про Грицька. Прибило нас к ним, протащило в кильватере пару месяцев, и снова – жаж! – бросило в сторону. Я вот глаза прикрываю, думаю, а есть ли еще тот поручик и баржа, или только в голове моей остались, в памяти? Как же все это называется, Артем? Что в ваших старых книжках про то написано?

– Это все называется жизнь, – ответил Артем, поворачиваясь на другой бок.

Но спать не получилось. Артем только начал погружаться в сладкое марево дремоты, как в кубрике появился дневальный матрос.

– Марш на шканцы, лейтенант вызывает.

– Какой еще лейтенант? – с бьющимся сердцем спросил Артем.

– Из водолазной команды порта.

– А звать его как?

– Почем я знаю? Лейтенант и лейтенант, – пожал плечами матрос.

– Чего выясняешь, – удивился Базыка. – Есть разница, какая холера на холод выдергивает?

Лейтенант, прямой, как палка, в отутюженной форме, расхаживал по пустым шканцам. Когда-то на эту часть палубы могли подниматься только офицеры, матросы попадали сюда крайне редко, для нагоняя или получения благодарности. «Апостолы» давно потеряли статус боевого корабля, но шканцы по-прежнему внушали благоговейный ужас, словно опустевшее капище уничтоженного идола, которому на этом месте много лет приносили кровавые жертвы.

– Водолазы Дмитрий Базыка и Артем Шапиро по вашему приказанию прибыли! – доложил Димыч. Лейтенант окинул внимательным взором стоявших на вытяжку водолазов.

– Я лейтенант Шелепин, старший помощник командира водолажной команды севастопольского порта.

Артем едва сдержал вздох облегчения, но, видимо, сдержал не полностью, Шелепин перевел на него серые, холодные, как утренний туман глаза, и осведомился ледяным тоном.

– Ты спросить что-то хотел?

– Никак нет!

– Хорошо. Итак, начнем с внешнего вида. Строительные работы закончились, сейчас вы на палубе корабля императорского российского флота. После завершения нашей беседы форма должна быть выстирана и выглажена, ботинки

блестеть как яйца у кота, пряжки на ремнях, – презрительно опустив уголки губ, он поглядел на потускневшие от соленого воздуха пряжки Артема и Димыча, – чтоб сияли не хуже солнца. Понято?

– Так точно! – гаркнули водолазы. Они и сами понимали, что расслабились за время работ. Мичмана их внешний вид не занимал, его больше заботила скорость укладки блоков. После утомительного рабочего дня сил на основательную чистку перышек не было, поэтому, возвращаясь в мазанку, друзья выполняли лишь самые необходимые починки. Бочкаренко за такой вид точно бы понес их по кочкам.

– Завтра утром, – продолжил Шелепин, – придет катер. На пристани в Артиллерийской бухте вас ждет ученый шпак, археолог. Погрузите вещи на повозку и сопроводите его к месту следования. Поступаете в его распоряжение на две недели. Сегодня – четвертое декабря, значит, восемнадцатого декабря доложите дежурному офицеру о возвращении. Деятнадцатого числа вместе с другими водолазами приступите к текущим работам в порту. Понято?

– Так точно!

Он еще раз скользнул по ним безразличным взглядом.

– Парни вы крепкие, справитесь. Попотеть, правда, придется. Ну, ничего, на дне намерзлись, теперь согреетесь, – вместо улыбки он приподнял верхнюю губу, так, что щеточка усов почти коснулась носа.

– И вот еще... – лейтенант замолчал на несколько долгих секунд.

«Сейчас скажет какую-нибудь гадость, – подумал Артем. – Если его поручик назвал неплохим человеком, какая же тогда сволочь Герасимов?»

– Командир отряда решил наградить вас за хорошую работу, – продолжил Шелепин. – Две недели со шпаком, вне рамок флотской дисциплины – это ваш отпуск. Он же награда. Понято?

– Так точно!

– А сейчас приступите к починке обмундирования. Есть вопросы?

– Есть! – гаркнул Базыка.

– Какие? – прищурившись, спросил лейтенант.

– Одежда не успеет высохнуть до утра.

– Поедете в мокрой, – отрезал Шелепин. Но спустя секунду добавил, чуть смягчившись:

– Разогрейте утюг и подсушите.

Археолога они заметили сразу. Он сильно отличался от матросов и офицеров, сновавших по пристани в Артиллерийской бухте. Его строгое, чисто выбритое, словно у актера лицо, плохо сочеталось с каламянковым костюмом легкомысленного песочного цвета, небрежно повязанном красным в черную клетку шотландском шарфом и благородной сединой на висках.

– Водолазы Дмитрий Базыка и Артем Шапиро прибыли в ваше распоряжение! – бодро отрапортовал Димыч.

– Нородцов Василий Алексеевич, – представился археолог, не по-уставному протягивая ладонь для рукопожатия. – Приват-доцент Московского археологического института.

Ладонь была мягкой и пухлой, как у человека, никогда не занимавшегося физическим трудом.

– И сделайте одолжение, не отдавайте мне честь и не вытягивайтесь в струнку, пусть даже, как вы говорите, посланы в мое распоряжение.

Артем и Димыч переглянулись и рывкнули в две глотки:

– Так точно!

Нородцов испуганно отшатнулся, схватившись за профессорского вида пенсне.

– Пожалейте мои уши, молодые люди, если свои горла не жалеете. Чем орать, давайте займемся делом. Видите вот эти ящики, – он указал на небольшой штабель, – в них оборудование для экспедиции. Их нужно перенести вон в ту повозку в начале набережной, уложить и можно отправляться в Бахчисарай.

Ящики оказались не тяжелыми, водолазы шутя перетащили их в пароконную, крытую брезентом повозку. Кучер, обстоятельного вида татарин, пальцем указывал, как укладывать ящики. Когда погрузка завершилась, он степенно взобрался на облучок, а водолазы и приват-доцент уселись прямо на ящики.

– Поехали, однако, – меланхолически заметил кучер, свистнул лошадям, и те шагом тронулись с места. Спустя полчаса выбрались из города, по ровной дороге лошади шли быстрым шагом, без труда катя повозку. Скрипели колеса, кучер тянул себе под нос заунывную басурманскую песенку. Пахло мокрым кустарником, тополя скрипели ветками под порывами налетающего с моря сырого ветра. Солнце скрылось за облаками, день выдался серым и влажным.



– До Бахчисарая верст сорок, – нарушил молчание Нордцов. – К обеду доберемся, вскроем ящики, нагрузим на себя оснащение и в путь, в путь!

При слове «путь» его глаза засверкали, и весь он задержался, от волнения потирая руки.

– А куда в путь-то? – спросил Базыка.

– Наверх, в горную крепость Чуфут-Кале. Слышали такое название?

– Нет, – ответил Артем.

– Выходит, содержимое этих ящиков придется в гору переть? – вскричал Базыка.

– Не волнуйтесь, ребята, – заверил археолог, – я вам помогу!

Димыч отвернулся, чтобы скрыть язвительную улыбку.

– А что в ящиках? – поинтересовался Артем.

– В основном шанцевый инструмент для раскопок и материалы для консервации находок. Вещи нетяжелые.

Дождь застучал по парусиновому верху, остро потянуло прелью из придорожного кустарника, лошади зафыркали и прибавили шаг. И хоть парусиновые стены и крыша были ненадежным укрытием, но под их защитой у людей в повозке возникло удивительное чувство уюта и близости.

– Чуфут-Кале очень необычное место, – негромко произнес Нордцов. – Я полжизни мечтал попасть в него на раскопки. И вот, мечта сбылась. Так случается в жизни, ребята: когда бьешься, трудишься, отказываешься от многого во имя цели – награда обязательно приходит. Не всегда в том виде, как нам бы хотелось, но приходит. Я ведь подал проект полномасштабных раскопок на три летних месяца, а утвердили грошовый бюджет. Хватит только на меня и нескольких рабочих, да и то в зимнее время, когда труд дешев. Спасибо, флотское начальство помогло.

– Флотское начальство, – удивился Базыка. – Я сейчас лопну от любопытства, кто же в нашем порту помогает науке?

– Это не в вашем порту, а командование куда более высшего ранга, – ответил Нордцов. – Мне повезло, уж не знаю как, через кого и где, только о моей записке услышал контр-адмирал, начальник Главного управления торгового мореплавания и портов. И распорядился помочь. Вот так вы оказались со мной в повозке.

– А звать-то как этого адмирала? – полюбопытствовал Димыч.

– О, это член царской семьи, великий князь Александр Михайлович Романов.

– Вот так штука! – вскричал Базыка, хлопая себя по коленям. – Вот так встреча! А вы знаете, что Артем оказался в водолазах по прямому указанию этого же адмирала?

– Вы знакомы с великим князем? – удивился Нородцов, и Артему в очередной раз пришлось рассказать историю спасения бочки деда Вани.

– Да, бывают в жизни роковые случайности и счастливые совпадения, – заметил Нородцов, когда Артем замолчал. Шум дождя стих, Базыка поднял парусину, и свежий влажный воздух наполнил повозку. И без того неяркие краски пасмурного дня совсем смягчились, придавая медленно тянувшимся вдоль дороги приземистым холмам и полям, покрытым почерневшей стерней, черты печальной и трогательной красоты.

– А у нас говорят, что случайностей не бывает. Все отмерено, но выбор в руках у человека.

– Как такое может быть? – удивился Нородцов. – Или отмерено или в руках!

– Как в русской сказке про богатыря на распутье. Куда пойти решает он сам, а дальше все отмерено – или коня потерять или голову сложить. До следующего распутья.

– Где ты это прочитал? – уважительно спросил Нородцов.

– Так в наших книгах написано.

– По-твоему выходит, мы не случайно тут оказались, – сказал археолог. – Но зачем, для чего?

– Не знаю, – пожал плечами Артем. – Выяснится, наверное, со временем.

– Или не выяснится, – буркнул Базыка.

– Отчего же, – улыбнулся археолог. – Кое-что видно уже сейчас.

– И что? – спросил Димыч.

– Чуфут-Кале по-татарски – еврейская крепость, – ответил Нородцов. – Так ее стали называть после того как татары ушли в Бахчисарай, и в крепости остались одни караимы.

– А кто они такие, караимы? – спросил Базыка.

– Крымские евреи тюркского происхождения. Соплеменники водолаза Шапиро. Так что, как видишь, все отмерено.

– Караимы это секта, – произнес Артем. – Вроде раскольников. А евреев тюркского происхождения не бывает.

– Двумя перстами, небось, крестились? – хихикнул Базыка. – Ладно, ты с Василием Алексеевичем тут не случайно оказались, и через нацию, и через великого князя. Но я-то при чем?

– Не знаю, выяснится, наверное, со временем, – улыбаясь, повторил Нородцов слова Артема. – Давайте я вам про крепость расскажу, все равно до Бахчисарая еще часа три езды.

– Отчего же нет, – отозвался Базыка, пытаясь усесться поудобнее на ящиках. – Уж коли начали рассказывать, шуруйте до конца.

– История крепости предположительно начинается в пятом веке нашей эры, – начал Нородцов. Поправив характерным жестом пенсне, он моментально перенесся на свое привычное место за кафедрой перед аудиторией студентов и начал лекцию.

– Город Фуллы упоминается еще в византийских хрониках. Существует несколько версий его месторасположения, но однозначно историки так и не определили, какая из них наиболее достоверна. Большинство склоняется к мысли, что речь идет все-таки о нашей крепости.

Первыми обитателями города и окружающих его пещер были аланы, осевшее в горном Крыму могущественное сарматское племя, союзники Византии. В 1299 году татары завоевали Фуллы и назвали город Кырк-Ор, Сорок крепостей. Они долго и упорно осаждали эти крепости, отвоевывая их у местных сармато-аланов.

Батый сделал Крым частью Золотой Орды и назвал Крымским улусом. В начале тринадцатого века в Кырк-Оре поселилась Джанике-ханум, дочь хана Тохтамыша, правительница Золотой Орды. Прямая наследница Чингисхана по отцовской линии, она могла бы возглавить Орду, но не захотела воевать за титул. Джанике-ханум переселилась на родину своей матери, в Кырк-Ор и вместо огромной Орды стала править небольшой крепостью. Умная и справедливая правительница пользовалась огромным почитанием среди всех жителей Крымского улуса. После ее смерти в 1437 году, над усыпальницей благодарные горожане возвели мавзолей. Он сохранился до нашего времени, с него я и хочу начать раскопки.

– Разве можно беспокоить прах усопших? – удивился Артем.

– Ради науки – можно, – твердо ответил Нородцов и продолжил. – Спустя сто лет, когда Крым отъединился от

Золотой Орды и стал самостоятельным государством, хан Сахиб Герай построил недалеко от Кырк-Ор новую резиденцию, Бахчисарай. Разумеется, все окрестное население устремилось в столицу, и крепость совсем бы опустела, если б не ханский указ. Милостивый и справедливый повелитель правоверных разрешил селиться в ней караимам. С тех пор и до конца прошлого века, то есть на протяжении трехсот лет в ней жили в основном караимы. Старое название Кырк-Ор постепенно вытеснилось другим – Чуфут-Кале, еврейская крепость.

Крепость давно потеряла военное значение, а жить в городе, стоящем на отшибе неудобно, вот караимы и стали потихоньку переселяться в Бахчисарай, Симферополь, Керчь, Феодосию. Сегодня крепость пуста, в ней живет только смотритель. Поэтому ничей покой мы не нарушим, и можем спокойно заниматься научными изысканиями.

– Какие изыскания могут быть в могиле? – удивился Базыка.

– О, в мавзолее правительницы города, прямой наследницы Чингисхана может оказаться немало предметов, рассказывающих о том времени. Самые интересные и красноречивые артефакты археологи находят именно в усыпальницах.

Когда добрались до Бахчисарая, солнце, словно приветствуя путников, выглянуло из-за облаков. Артем и Димыч откинули парусину и с любопытством рассматривали приземистые здания старого города. Их вид сильно разнился от того, к чему они привыкли в России. Узкие, грязные улочки, отходящие от главной дороги, едва успевали отступить на несколько саженей, как тут же сворачивали, подставляя взгляду щербатые стены домов. Деревянные постройки иногда украшала примитивная роспись, порой встречались окна, забранные ажурными решетками. Шпили минаретов торчали там и сям, словно персты, указующие на небо.

– Сколько же их тут? – не выдержал Димыч. – И зачем так много?

– А это, чтобы о Боге не забывали, – наставительно произнес Артем.

– Да-да, – улыбнулся Димыч, – Помни об Аллахе. А вот почему нет булыжных мостовых, что за город с земляными дорогами?!

– Татарин без коня не татарин, – ответил археолог. – А коню мостовая ни к чему. И арбе с ее огромными колесами тоже.

– Востоком пахнет, – Димыч втянул ноздрями воздух. – Чем-то особенным, необычным.

– Баранину кто-то варит, – подтвердил Нородцов.

Миновав Бахчисарай, повозка медленно покатила по плотно убитой земляной дороге, идущей вдоль белого скалистого хребта. На его вершине ветер раскачивал приземистые деревья. Вскоре вдаль показалась церковь, сложенная из белого камня, видимо той же породы что и скалистый хребет.

Возле церкви кучер остановил повозку.

– Все, ребята, приехали, это Успенский монастырь, дальше пешком. Видите дорожку справа? Она через кладбище вас в Чуфут-Кале и приведет. И поспешайте, до темноты недолго осталось.

Артем и Дима быстро разбили ящики и вытащили содержимое. Нородцов оказался прав, шанцевый инструмент и материалы для консервации весили немного, ящики, надежно сохранившие поклажу, весили куда больше ее самой. Взвалили на себя мешки, археолог нагрузился наравне со всеми, и двинулись в путь. Первым шел Нородцов, за ним Артем, Димыч замыкал небольшую колонну. Поначалу дорога шла через густую рощу, но довольно скоро деревья расступились, и показалась долина, уставленная могильниками.

– Что за кладбище? – крикнул Базыка в спину археологу. Нородцов остановился.

– Старинное караимское. Лет триста, как тут хоронят. Место немного жутковатое, но впечатляет своей стариной и необычностью. Говорят, тут около десяти тысяч надгробий.

– А что это за караули на могилах? – спросил Базыка.

Артем остановился возле одной из могил внушительно-го вида и стал читать:

– Здесь покоится Исаак-Шалом, сын Аарона, поразительный и выдающийся, почтенный и богобоязненный, наставник наш, пусть вечно светит светильник его учения.

– Ого, ты как по писаному чешешь!

– Я просто читаю, вот и все.

– А тут что написано? – Базыка подошел к надгробию попроще.

– Вот слово пишущего сквозь слезы от имени всех членов семьи Аланкасара, сына Минаша, да пребудет его душа в раю.

– Вы умеете читать на древнееврейском? – уважительно спросил археолог.

– Да, это мой родной язык. Это по-русски я научился читать год назад, уже в Кронштадтской школе водолазов, а на еврейском читаю с трех лет.

– Замечательно! Не поможете перевести кое-какие надписи?

– Пожалуйста.

– Эта долина называется Иосафатовой, подобно такой же в Иерусалиме, где могила царя Иосафата, – сказал Нордцов. – Мы сюда еще вернемся. А пока давайте поспешим.

От вида, открывшегося на выходе из долины, у Артема перехватило дух. Дорога под небольшим уклоном, петляла по желтому склону плато. На его вершине виднелись внушительные стены, сложенные из белого, почерневшего от времени и сырости камня. Рядом со стенами, в откосах склона чернели входы в пещеры, купы кустарника под порывами ветра печально шевелили остатками листьев.

Постепенно уклон возрастал, крепко нагруженным путникам идти становилось все тяжелее. Несмотря на холодный ветер, пот начал заливать глаза.

– Теперь я понимаю шуточку лейтенанта Шелепина, – прокряхтел Базыка, – парни вы крепкие, справитесь. И про «попотеть» он точно заметил. На дне намерзлись, теперь согреетесь, Как в воду глядел, гад!

– Да он просто бывал здесь, знает, что за подъем, вот и вся премудрость, – возразил Артем.

– Давайте остановимся, дух переведем, – задыхаясь, попросил Нордцов. Он был почти в два раза старше водолазов, да и сложен не так крепко, а нагрузился не хуже молодых парней.

Дорога обвивала большую пустошь, чистую от камней. Остановились, сбросили поклажу посреди дороги, между глубоких колея, выбитых в твердом грунте колесами бесчисленных повозок, поднимавшихся к воротам крепости за сотни лет, и уселись вдоль обочины.

– Во время Крымской войны – сказал Нордцов, – тут была застава. Палаточный лагерь, человек на сто солдат и персонала. Они-то и очистили пустошь от камней.

Вечернее солнце выглянуло из-за туч, осветив их лица нежным оранжевым светом. Оставшуюся внизу долину Иосафата уже наполнял предвечерний туман, похожий на белый мох. Базыка потянулся, привольно раскинул руки, оглядел простирившиеся перед ним серо-коричневые каменные гряды, прореженные островками кустарника, поросшие лесом лощины, желтые склоны плато и воскликнул:

– Как мне здесь хорошо и привольно! Не поверишь, Темка, такое чувство, будто домой вернулся!

Артем только пожал плечами. Вид, конечно, был красивым, но совершенно чужим, ни о каком чувстве дома не могло быть и речи. Может быть под Курском, где вырос Димыч, водилось нечто подобное, вот на него и повеяло родным. Но ни в Чернобыле, ни в его окрестностях не было даже в помине глубоких лощин, каменистого взгорья или плато, окруженного ущельями.

Город действительно оказался заброшенным. Пустые улицы поросли сорной травой, деревья поднялись на провалившихся крышах. В порядке был только дом смотрителя, куда и привел их Нородцов. Смотрителя предупредили об их приходе, поэтому аромат свежесдобитого хлеба щекотал ноздри, на плите аппетитно булькал казанок с картошкой, а в отдельной комнате были приготовлены три постели.

– Авшин, – представился смотритель. Небольшого роста, смуглый, морщинистый, как печеное яблоко, он выглядел крепким и очень здоровым. Одежда на нем была чистой и отглаженной, черные яловые сапоги блестели. На маленьком строгом лице выделялись синие, точно у варягов, глаза. Широкая улыбка, не совпадавшая с выражением лица, то и дело обнажала три оставшихся зуба.

– Добро пожаловать в Чуфут-Кале, – радостно произнес смотритель. – На правах единственного жителя города, приветствую вас в его стенах!

Разложив вещи, поспешили к столу, ужинать. Нородцов достал бутылку водки.

– Знаю, водолазы привычны к спиртному, так что давайте отметим прибытие на театр военных действий.

Натопленная плита дышала теплом, через приотворенную заслонку багровело не прогоревшее нутро. Авшин ловко откупорил бутылку, поставил на стол глиняные чашки, разлил. Нородцов поднял свою чашку:

– Я посвятил жизнь делам малых народов, судьбам их счастливых и несчастливых звезд. Друзья, давайте выпьем

за великую историю государства российского! Кто только ни жил на нашей земле, и всем доставалось места. Лучше, хуже, но каждый находил свой угол. За наш общий дом!

Выпили, крепко закусили картошкой, обильно политой растительным маслом, похрустели репчатым луком. Пышные ломти хлеба, покрытые селедкой из взятых с собой припасов, немедленно впитывали рассол, и каждый кусочек был невероятно вкусен.

– Пища богов, – промычал с набитым ртом Димыч. Авшин снова разлил. На сей раз выпили без тоста, просто в охотку.

– А вы знаете, что в этой крепости побывали почти все российские императоры? – спросил Нородцов. Он насытился быстрее других, быстро опьянел от усталости, и сейчас сладкая волна близости и доверия к собеседникам накрыла его с головой, как накрывает прибрежный утес волна, пришедшая из глубины моря.

– За исключением двух столиц, немного найдется в России городов, которые могут таким похвастаться, – не дожидаясь ответа, продолжил Нородцов. – Для удаленной горной крепости вообще явление сверхнеобычное. Первой в Чуфут-Кале побывала Екатерина Вторая, провела ночь в мавзолее Джанике-ханум и уехала другим человеком. Потом она не раз повторяла, что эта ночь полностью изменила ее представление о мире.

По совету Екатерины все российские императоры, кроме Павла, сюда приезжали. Хотел бы я знать, что Екатерина Великая нашла в этом мавзолее? Многие достойные люди проводили в нем по несколько суток кряду, и никто ничего не заметил!

А вот цари все ж таки приезжают. И не может быть, что только из-за почтения к совету Екатерины. Что-то еще тут скрывается, но что, никто не знает, а спросить невозможно.

– Почему невозможно? – удивился Артем.

– Да потому, что некому царю такие вопросы задавать, – усмехнулся археолог. – Ну, давайте допьем, – предложил он и сам разлил остатки водки.

– Историю, конечно, вы лучше моего знаете, – встрепнулся смотритель, осушив свою кружку. – А вот про мавзолей я могу рассказать. И про то, что Екатерина там отыскала, думаю, тоже.

– Вот как, – удивился Нородцов. – Неужели это такая известная история?



– Вряд ли, скорее – малоизвестная. Но я не просто смотритель, я – последний из рода, живущего этом городе с незапамятных времен.

– Так вы караим? – спросил археолог.

– Нет, алан. Сейчас нас называют осетинами, по имени той части народа, что ушла от татар на Кавказ. А наш род остался в крепости, поэтому мы настоящие аланы. Караимы сюда пришли гораздо позже нас. Мое имя означает – хозяин. Так вышло, что я стал последним хозяином Чуфут-Кале.

– Авшин, я заинтригован, – воскликнул Нородцов, потирая руки. – После столь роскошного ужина, – он обвел рукой стол, – вы решили на десерт угостить нас замечательной историей! Говорите же, говорите скорее!

– Аланы живут тут испокон веков, – начал смотритель. – Пещеры в скалах выдолбили задолго до появления крепости. Наверное, тогда же и возник обычай приносить человеческую жертву Ваюге, богу смерти, чтобы он получил свое и не трогал остальных. Я не осуждаю своих предков, их жизнь была тяжелой и опасной.

Делали это так: в самую короткую ночь года, посередине лета, бросали жребий. В жеребьевке участвовали все без исключения жители крепости, от мала до велика. Ваюге нет дела до возраста, для него ребенок хорош, как и дряхлый старик.

– Что, – вскричал Димыч, – вы убивали маленьких детей?

– Да, – кивнул Авшин, – бросали в пропасть любого, на кого выпадал жребий. Причем должны были это сделать родственники, чтобы показать Ваюге свою добрую волю. Случалось, матери собственными руками кидали в пропасть грудных младенцев, сыновья сталкивали отцов, отцы сбрасывали стариков, но чаще всего вниз летели молодые мужчины и женщины. Некоторые пытались сопротивляться, их оглушали дубинкой, именуемой «жезлом сострадания». Но обычно жертва покорно принимала выбор, ведь это была веками освященная традиция. Когда византийцы возвели стены, под их защитой жизнь стала куда безопаснее, но обычай остался.

– И что, все терпели такое варварство? – спросил Артем.

– Многим это не нравилось, многие роптали, но те, кто были у власти, боялись что-либо изменить. Как говорится, вытащишь камень из фундамента – только один камень – а дом развалится.

К самым говорливым приходил старейшина, окруженный воинами. Но воинов боялись куда меньше, чем жезла сострадания, который нес в руке старейшина. От удара жезлом впадали в беспамятство. Навсегда впадали, никакое лекарство не помогало. В общем, стоило старейшине с жезлом показаться возле дома заядлого ворчуна, как он навсегда закрывал рот.

Только Джанике-ханум прервала этот обычай. Потому ее так и полюбили. За все годы ее правления жертву Ваюге принесли только один раз.

– Но все-таки принесли, – отметил археолог.

– Да. Причем из-за самой правительницы.

– Вот как? – удивился Нородцов. – Неужели ханскую дочь бросили в пропасть?

– Нет, конечно, нет! – вскричал смотритель. – Тут все сложнее и глубже.

– Глубже пропасти? – перебил смотрителя Димыч.

– Имейте терпение выслушать! – чуть рассерженным тоном произнес Авшин, и Димыч в знак примирения поднял руки вверх

– Молчу-молчу!

– Джанике-ханум не вышла замуж, – продолжил смотритель, – прожила свой век одна. Говорила, если женщина хочет править, у нее самой не должно быть правителя. Разумеется, от наложников она не отказывалась, но они были только для услаждения тела, сердце она не отдавала никому. Лишь в преклонные годы, после сорока лет, Джанике-ханум полюбила молодого раба, который ее утешал.

Влюбилась до ослепления, как любят женщины на закате жизни. Поначалу тайну удавалось сохранять, но чем дальше, тем Джанике-ханум больше теряла голову и, в конце концов, начала миловаться с рабом почти открыто.

В один прекрасный или, скорее, ужасный день, пришли к ней самые приближенные вельможи с предупреждением: эту любовную связь нужно немедленно прекратить. Такие отношения подрывают устои. Если правительнице позволено так себя вести, что же станут делать обыкновенные люди? Джанике-ханум подумала и согласилась.

– Хорошо, – сказала она, – он больше никогда не переступит порог моего дворца. Я спрячу его во внутренних поках.

– Поздно, – возразили вельможи. – Дело вышло наружу. Раба необходимо казнить.

– Нет, – ответила правительница. – Я не могу.

– Тогда отправить подальше и навсегда.

– Хорошо. Я попытаюсь.

Джанике-ханум попыталась, но не смогла. Дни шли за днями, а раб по-прежнему жил во дворце в одних покоях с правительницей. Когда стало понятно, что мудрость на сей раз изменила Джанике-ханум, вельможи собрались на тайный совет. Позвали старого нукера, начальника дворцовой стражи. Он родился в крепости и всю жизнь охранял дворец, сначала простым ратником при предыдущем правителе, затем – при Джанике-ханум. Ох, чего только он не посмотрелся за длинную жизнь во дворце! Сколько тайн прошло перед его глазами, сколько секретов ему довелось выслушать и сохранить?! Не было в крепости человека, более искушенного в интригах, чем этот нукер.

– Как поступить, – спросили вельможи, – как убедить правительницу избавиться от раба?

– Никак, – ответил нукер. – По своей воле женщина не откажется от последней любви. Выход один, возобновить старинный обычай жертвоприношения Ваюге. Пусть к Ханум обратятся старейшины города, пожалуются, будто стали умирать дети, и остановить это можно только одним способом.

– А если она проверит и выяснит, что дети живы? – спросили вельможи.

– Нужно заранее все подготовить, – сказал нукер. – Отправить детей в другие крепости, соорудить фальшивые могилы, привести Ханум на кладбище, пожаловаться на загадочную эпидемию. А уже потом отправить к ней делегацию старейшин. Она все проверит и со скрипом согласится.

– Ну и что? – не выдержал один из вельмож. – При чем тут наша беда?

– А при том, – пояснил нукер, – что жребий падет на того самого раба. И Ханум ничего не сможет предпринять. Ничего!

– Но ведь после этого придется продолжать этот кровавый обычай?! – сказал другой вельможа.

– Совсем нет! Дети после жертвоприношения продолжают умирать, как и раньше. Тогда вы придете к Ханум и заявите, что воочию убедились в жесткости и бессмысленности этого обычая. И что жалеете всех тех, кто потерял своих родных и близких во имя нелепой и кровавой традиции. И поэтому требуете запретить ее навсегда. А дети через пару месяцев вернутся домой.

– Но если Ханум узнает про обман?

– Кто, кроме родителей, может отличить одного сопливого мальчишку от другого? А от доносов, я уверен, вы сумеете надежно оградить правительницу.

Так и поступили. На церемонии раб сопротивлялся, зывал к милости Джанике-ханум, его утихомирили жезлом сострадания и сбросили в пропасть. Говорят, будто в последнее мгновение он пришел в себя, поднял руку и указал пальцем на жестокую возлюбленную.

Джанике-ханум очень грустила. Часами просиживала у обрыва, читая молитвы в память о погибшем. Но молитвы надо было читать по ней самой, она начала хиреть и вскоре умерла. Перед смертью правительница завещала бросить ее тело в пропасть, вслед за возлюбленным. Конечно, пойти на такое никто не мог, Джанике-ханум похоронили со всеми почестями, неподалеку от обрыва и быстро возвели над могилой роскошный мавзолей, который стоит до сих пор. Существует легенда, по которой верный нукер, тот самый начальник стражи, в ночь после похорон вытащил тело из могилы и выполнил последнюю волю правительницы.

– Вот это любовь, – заметил Артем. – Точно в сказке.

– Думаю, это и есть сказка, – отозвался Нородцов. – В жизни все по-другому. Не так трагично, а куда будничней и скучнее.

– Точно сказка, да еще басурманская, – решительно вмешался Димыч. – У нас под Курском на это дело смотрят куда проще. Как бык покрывает корову, так мужик должен брать бабу. Раз-два, сделал свое дело и пошел дальше.

– Так что же там искала Екатерина Великая? – перебил его Нородцов. Авшин ответил не сразу. Судя по его чуть сникшему виду, он ожидал куда более восторженной реакции на свой рассказ. Но деваться теперь было некуда.

– Согласно нашему поверью, – наконец заговорил он, – Ваюга каждую ночь приходит на то место, где ему хоть раз приносили жертву. А там, где было много жертв, задерживается надолго. Я думаю наш город одно из последних мест в мире, где это делали. Поэтому у нас он бывает постоянно и есть души, которые это чувствуют.

– А ты чуешь?

– Нет. Ночи целые у мавзолея проводил, закат провожал, восход встречал, и ничего, даже листок в душе не шевельнулся.

– Так по-твоему российские императоры близки к богу смерти? – строго спросил Нородцов.

– Откуда мне знать? – пожал плечами смотритель. – Но к чему-то сокровенному, тайному, недоступному простым смертным точно близко. Иначе зачем бы они стали тащиться на заброшенную гору и сидеть целую ночь у мавзолея давно забытой татарки?

– Я с уважением отношусь к былинам и сказаниям, и очень люблю их слушать вечером у теплой печки, под хорошую закуску, как вот мы сейчас, – с едва заметной улыбкой сказал археолог. – Но не могу не отметить, что это не наука и даже не ее начало. Безымянное устное творчество, народная этимология. А наука построена на фактах, подтвержденных документами, или артефактах.

– Чем-чем подтвержденными? – переспросил Авшин.

– В археологии, – важно произнес Нородцов, – артефактом называется объект, подвергавшийся воздействию человека и обнаруженный в результате раскопок или единичного, иногда случайного события.

– Я эту историю услышал от отца, – обиженно произнес Авшин, – а он слышал от своего отца и тот от своего. Чем такая цепочка хуже какого-нибудь обломка, вытасченного из могилы?

– Тут мы с вами не договоримся, – подвел итог разговору Нородцов. – Большое спасибо за былинку, а сейчас давайте укладываться, на завтра у меня большие планы.

## Сон

### *Психоаналитический этюд*

Этот сон был странным хотя бы потому, что я в нём себя не узнал. То есть это был вроде я, но живущий в каком-то другом измерении, с похожим, но всё же немного другим лицом и телом, и в другом времени – вроде бы чем-то напоминавшим дни моей советской молодости, но всё же не совсем.

Всё было как бы тем же, но в чём-то неуловимом другим.

Начался сон с того, что я с моим другом и однокурсником Додиком Абрамовичем оказался на двухмесячных военных сборах в какой-то жуткой глуши. Когда нас, четверокурсников университета, одетых в военную форму без всяких знаков отличия, построили на плацу гарнизона, позади и впереди высились синеватые, невысокие горы, словно поставленные причудливым декоратором вокруг ровной, как стол, степи.

Мы стояли в толпе таких же, как и мы, студентов, приехавших на сборы, чтобы сдать здесь экзамены на командиров каких-то там ракетных установок, и чувствовали себя крайне хреново. Все вокруг рассматривали происходящее как двухмесячное приключение, перешучивались и улыбались. Но вот мне с Додиком перспектива жить в палатке с ещё четырьмя незнакомыми чуваками, есть непонятно что и, самое главное, заниматься какой-то совершенно чуждой нам хренью, – не то чтобы не нравилась, а вгоняла в экзистенциальный ужас из картины Мунка.

Вдобавок, и сама форма не только отказывалась почему-то на нас с Дудкой сидеть так же ладно, как на остальных, но и топорщилась в самых разных местах, а сапоги уже начали натирать лодыжки.

– Кажется, я здесь сдохну! – прошептал Дудка.

И хотя у меня самого настроение было хуже некуда, я понял, что размазываться нельзя – плакаться будет некому.

– Не паникуй, прорвёмся! – сказал я ему. – Сборы всего 56 дней. Сегодняшний уже не в счёт, значит, осталось 55.

Перед нами возник невысокий подполковник в обычной советской форме со странной фамилией Карабинов. Подполковник объяснил, что является начальником гарнизона и ракетных батарей, стерегущих границу нашей родины от

непримиримых врагов, и теперь он становится нашим высшим командиром. А мы, соответственно, больше никакие не студенты, а рота товарищей курсантов, которые пройдут учебные стрельбы и после сдачи экзамена получат звания лейтенантов запаса. А нашим непосредственным командиром все эти месяцы будет капитан Жалкускунов.

Жалкускунов оказался молодым поджарым мужиком с раскосыми глазами, говорившим с лёгким и даже приятным, словно дымок дамской сигареты, азиатским акцентом.

– Не нравится мне что-то этот друг степей калмык, – сказал я в пространство, глядя перед собой.

– Он не калмык, а казах, – ответил Додик, тоже не пошевелив головой.

– Да какая на хер разница?!

– И то правда! – подтвердил Дудка.

Наши худшие опасения начали сбываться уже в столовке, когда на раздаче в качестве обеда нам вручили алюминиевую миску, в которой посреди непонятного цвета жирного озерца бульона плавал островок, напоминающий кусок сваренного свиного жира.

– Едим только хлеб. Это лучше не есть! – скомандовал я Додику.

– Но я голодный! – жалобно пролепетал он и откусил первый кусок... Потом его долго рвало за столовкой, а я курил и смотрел с видом ангела Господня, не ведающего милосердия к грешникам...

К вечеру, когда перед отбоем дали два часа свободного времени, мы скинули сапоги и освободили наши щиколотки, на которых уже успели образоваться и лопнуть два огромных волдыря. Затем натянули прихваченные из дома кеды, но завязывать шнурки не стали – хотелось дать ногам свободу.

– Говорят, здесь неподалеку есть посёлок с магазином. Давай сбегает. Может, купим пожрать что-нибудь вкусное. Например, кильку в томатном соусе, – предложил я.

Мы как раз собирались покинуть гарнизон в кедах и в распахнутых на груди гимнастёрках, когда напоролась на подполковника Карабинова.

– Эй, ты, Рабинович, или как тебя там! – сказал он, оглядев Дудку презрительным взглядом. – Это что за вид?! А ну-ка быстро вернуться и одеться, как полагается. Разгильдяй!

– Товарищ полковник, а вы что, антисемит?! – спросил я, проклиная собственный язык, живущий, сколько себя пом-

ню, своей особой, независимой от меня жизнью и совершенно не считающийся с моими личными интересами.

Но – и такое могло быть, конечно, только во сне! – похоже, вопрос несколько удивил подполковника.

– А с каких пор указать разгильдяю на то, что он разгильдяй, считается антисемитизмом? – спросил он с издевательской улыбкой.

– Вы сделали акцент на фамилии моего товарища, вдобавок намеренно исказив её. Он – не Рабинович, а Абрамович. И это – антисемитизм! А антисемитские настроения никак не делают чести настоящему офицеру! – отчеканил мой язык, решив, видимо, вконец сорваться с цепи.

– Абрамович, значит? Я это учту, товарищ курсант! Хотя, если честно, какая на хер разница?! – ответил подполковник Карабинов и, покачиваясь, словно неваляшка, в такт своим мыслям, пошел дальше...

\*\*\*

Стоп! Стоп! Стоп!

Проснувшись, я понял, что не успокоюсь до тех пор, пока не проанализирую весь этот сон по косточкам и не разберусь, откуда в нем всё взялось. Не верить же во всю эту чушь о том, что во сне нам открывается наша другая жизнь из параллельной реальности!

Ну, с тем, почему мне могли присниться сборы, было в общем-то, более-менее ясно. Мой младший сын как раз пару месяцев назад был призван в армию, ему там явно не нравилось, и я понимал его как никто.

Я сам в своё время панически боялся службы в армии, так как знал, что там просто не выживу. Во-первых, я с детства был толстяком и хлюпиком, и на уроках физкультуры мне никогда не удавалось подтянуться на турнике даже один раз. Во-вторых, одна мысль о том, что в армии придётся мыться в общей бане, а значит, и раздеваться перед всеми догола, приводила меня в ужас.

В десятом классе, когда будущий призыв замаячил в такой близости, как никогда, ужас стал паническим. Ни о чём другом, как о том, что будет со мной в армии, я думать не мог. Не считая мыслей о женщинах, разумеется.

Выход был только один – поступить в какой-то вуз с военной кафедрой и таким образом получить освобождение от армии. Поэтому поступал я не туда, куда мне хотелось, а туда, куда был шанс поступить. И когда увидел в списке принятых абитуриентов своё имя, вздохнул с облегчением



человека, которому сообщают, что поставленный ему поначалу смертельный диагноз не подтвердился.

Армия догнала меня через четыре года – когда пришло время ехать на двухмесячные сборы от военной кафедры и сдавать там экзамены, окончательно избавляющие меня от необходимости когда-либо попасть на срочную службу.

Но дело в том, что на военной кафедре нас обучали на командиров взводов мотопехоты. К ракетным войскам я никогда никакого отношения не имел, и никакого подполковника Карабинова, как и капитана Жалкускунова, в моей жизни не было. А если бы и был, я бы никогда не посмел сделать ему то замечание, какое сделал во сне. Да, с языком у меня и в самом деле всю жизнь были проблемы, но не до такой же степени!

Но самое главное: у меня в жизни никогда не было друга по имени Додик Абрамович; и откуда он мог взяться, было совершенно непонятно!

Моим другом по детскому саду, а потом и по школе был Гарик Гительсон. Мы были вместе с младшей группы детского сада, и подружился потому, что оба были другими, не похожими на всех остальных детей.

Детский сад у нас, надо заметить, был интернациональный, среди детей там были и русские, и армяне, и азербайджанцы, и грузины. Но для русских мы с Гариком были слишком смуглыми, а для армян и азербайджанцев слишком светлыми. Вдобавок только у нас двоих фамилия заканчивалась на «сон», что почему-то остальных детей очень веселило.

В общем, мы были другими. И не только по мордашкам и по фамилиям. Руки и ноги у нас обоих явно росли не из того места, что у других детей, и у обоих не было совершенно никаких способностей ни к музыке, ни к танцам, ни к лепке и рисованию, и эти занятия превращались для нас в самую настоящую пытку. Особенно, когда наша воспитательница в конце показывала сначала лучшие, а затем самые худшие работы – и это всегда были наши с Гариком рисунки.

До сих пор помню, как в старшей группе нас учили рисовать легковую машину. Воспитательница подробно описала, как следует рисовать контур машины, затем пририсовывать колёса, потом обозначать на рисунке окна и двери. У неё самый рисунок получился замечательный, но, когда настало время рисовать, мы с Гарькой поняли, что повторить этот рисунок ни за что не сможем.

– Что будем делать? – с тоской спросил Гарик.

– Рисуи за мной! – сказал я. – Что такое машина? Сначала рисуем большой прямоугольник, затем по бокам два маленьких – и получится похоже. Внизу рисуем колёса, в центре большого прямоугольника – два окна, затем руль – вот тебе и машина.

Наметив этот план, я нарисовал в центре листа большой прямоугольник, затем пририсовал к нему окна, а снизу колёса, и Гарик сделал то же самое. И тут я вдруг обнаружил, что у меня из памяти исчезли остальные детали плана рисунка – те самые два прямоугольника, которые должны символизировать капот и багажник. Минута шла за минутой, а я усиленно вспоминал, что же делать дальше – и не мог вспомнить до тех пор, пока воспитательница не стала собирать наши работы.

– И что это такое?! – с издёвкой спросила она, повесив на доску два наших рисунка с прямоугольниками на колесах и окошками посередине.

Я на мгновение задумался, но в тот раз язык решил не губить меня, а прийти на помощь.

– А это, Вера Ивановна, вагон! – сказал он.

Отыгрывались мы с Гариком на уроках, где надо было выучить стишок или пересказать только что прочитанный рассказ – вот тут нам уже не было равных. Мы оба с поразительной лёгкостью запоминали любой текст, как стихи, так и прозу, а затем могли его с выражением декламировать. И потому были главными героями всех утренников в детском саду, а затем и в школе.

Вдобавок лет в пять я научился читать, и с тех пор стал верить написанному куда больше, чем увиденному или услышанному. Поэтому, когда однажды Вера Ивановна поставила перед нами картину и спросила, что мы на ней видим, я первым поднял руку и сказал, что мы видим на картине, как грачи прилетели.

– А почему ты решил, что это прилетели именно грачи? – спросила она.

– Так там же внизу написано! Художник Саврасов, – ответил я.

Да, вот так мы и жили с Гарькой Гительсоном сначала в детском саду, а потом и в школе. Так получилось, что в нашей паре я был заводилой, а Гарик не только списывал у меня контрольные и диктанты, но и влипал со мной во все истории...

Но Гарик – это ведь не Додик, а Гительсон – ещё не Рабинович. То есть не Абрамович. Как и бронетранспортёр,

который я однажды чуть не перевернул на сборах – это совсем не ракетная установка.

А ведь в том сне было не только это...

\*\*\*

Жизнь на сборах постепенно вошла в свою колею – в том смысле, что мы с Додиком успешно избегали похода в общую баню, и наладились ходить мыться в расположенный за ближайшей горкой посёлок, и там же закупали консервы.

Билетом на выход в самоволку была бутылка водки, которую надо было по возвращении из посёлка передать товарищу капитану, а тот честно делился ею с товарищем подполковником. Поэтому отправлялись мы в посёлок обычно с тремя-четырьмя ребятами. Там они шли к местным девочкам, а мы с Додиком в магазин или чайхану, а затем, погуляв, скидывались на водку.

Но временами на капитана Жалкускунова находил особый стих, и он начинал наводить порядок, требовать соблюдения армейской дисциплины и всего такого прочего. В один из дней он обратил внимание на то, что мы с Додиком носим бакенбарды, и вообще своим внешним видом стали напоминать Пушкина со знаменитого портрета Кипренского.

– Бакенбарды сбрить немедленно! И вообще постричься! – велел Жалкускунов.

– Это не бакенбарды, а пейсы, товарищ капитан. А сбрить пейсы – это для еврея даже хуже, чем нарушить субботу, – бойко ответил я.

– Че-е-е-го? – протянул Жалкускунов.

– Понимаете, товарищ капитан, – пустился я в объяснения. – Мы, евреи, соблюдаем заповеди Торы. В Торе, например, написано: «Храни и помни день субботний» – и поэтому, как мы уже вам объяснили, мы в субботу на построение не ходим, так как помним и храним. Но там же написано, что еврей должен отращивать волосы на висках и не брить их, так как это – пейсы. Так что мы их трогать не будем...

– Хорошо, – сказал Жалкускунов, видимо, зная о моём столкновении с подполковником. – Можете эти ваши пейсы оставить. Но всё остальное – состричь!

– Так ведь остальное – это тоже продолжение пейсов!..

Так, снова стоп! Никогда в жизни не было подобного разговора, да и не могло быть. В то время, когда я был на сборах, я был ещё бесконечно далёк от своего еврейства, и никакого понятия ни о Торе, ни о субботе не имел. Всё это пришло намного позже, без малого через десять лет.

И бакенбарды я, между прочим, тоже никогда не носил – вот почему во сне и был я, но как бы и не я.

Но откуда-то же эти самые «пейцы» и лихой ответ по их поводу должны были взяться!

Может, все дело в Александре Сергеевиче?! Пушкина я в детстве любил самозабвенно, и знал наизусть не только все его сказки, но и «Руслана и Людмилу», написанную совсем не для детей. Как уже было сказано, я вообще любил письменное слово, и за каждым из них почему-то видел то, чего не видели другие. До сих пор помню, как объяснял на уроке в третьем классе сокровенный смысл вступления к «Руслану и Людмиле», которое мы должны были выучить наизусть.

– Пушкин рассказывает нам здесь о сказочном лесу у моря, который часто посещают мореплаватели, и в котором полно деревьев, на которых сидят русалки! – громко, чтобы слышали все в классе, объяснял я.

– А с чего ты взял, что Лукоморье посещали мореплаватели, и что там было много русалок? – спрашивала моя первая учительница Мария Михайловна, которая, в отличие от воспитательницы Веры Ивановны, меня обожала.

– Так это просто. Сказано: «златая цепь на дубе том». Откуда цепь? Понятно, что её могли оставить только мореплаватели в знак благодарности коту учёному за его сказки. Дальше сказано: «Там чудеса, там леший бродит, русалка на ветвях сидит...». Была бы одна русалка или один леший, Пушкин бы написал, что там только одно чудо. Но чудес много – то есть и русалок с лешими тоже...

– Хорошо, – улыбнулась Мария Михайловна. – Но как русалки могут залезать на деревья? У них же нет ног!

– Так это просто, – ответил я. – Их лешие туда подсаживают...

Ну, а Пушкин с портрета Кипренского мне нравился особо.

Во-первых, именно так в моем представлении должен был выглядеть истинный поэт (каким я и сам мечтал стать), а во-вторых, если сравнивать его с портретами остальных русских классиков, которые висели у нас в классе, то он яв-

но был другой. Примерно, как мы с Гарькой Гительсоном. И потому лет в девять я искренне подозревал, что Пушкин на самом деле тоже был не совсем русским.

Ладно, допустим с Пушкиным и бакенбардами разобрались, но откуда всё остальное?

О субботе, и о том, как её следует соблюдать, я до 27 лет вообще ничего не знал. Мои знания по данному поводу ограничивалась тем, что мы – евреи, и что евреи вообще-то свинину не едят, но мои папа и мама её очень даже любят. Проблема заключалась в том, что по каким-то, разумеется, не религиозным, а чисто физиологическим причинам я её с детства есть не мог и даже запаха не переносил. Как-то отец дал мне кусочек сала, и меня после этого долго рвало. Отсюда – и та рвота Дудки во сне.

Но пейсы, пейсы...

И тут я вспомнил!

В последний день моих последних летних каникул мать дала мне рубль и велела пойти подстричься перед школой.

Парикмахер оказался молодым парнем, признававшим только модельные стрижки.

– Я сделаю из тебя вылитого Элвиса Пресли! – пообещал он.

Я посмотрел в зеркало после того, как он смахнул с моего лица последние волоски, и то, что я увидел, мне понравилось. Я смотрелся... Ну, если не как Пресли, то как юный талантливый поэт-романтик из 19-го века.

Мама, увы, этого мнения не разделила.

– Это ещё что за пейсы?! – воскликнула она, как только я вошёл в дом. – А ну-ка иди обратно и постригись, как следует! Ты что, хочешь быть похожим на Пиню?!

Пиня был грузчиком из мебельного магазина, располагавшегося на базарной площади города Прилуки, где жила моя бабушка. И когда я приезжал к ней на летние каникулы, Пиня время от времени попадался мне на глаза. Толстый, высокий, как шкаф, он целыми днями в любую жару сидел у ворот магазина в картузе и чёрном пальто нараспашку, под которым болталась белая фуфайка с кисточками, и всё время читал одну и ту же книгу. Это меня удивляло – я люблю такую же книгу проглатывать часа за три, и потому Пиня в моём представлении был недоразвитым.

Раза три в неделю кто-то из прилучан покупал в магазине шкаф или диван, и тогда Пиня вставал, целовал книгу, откладывал её в сторону, одним движением взваливал покупку на спину и нес её куда надо – иногда через весь го-

род. При этом из-под шкафа или чего-то там ещё была видна его голова со спутанной бородой и болтающимися сбоку странными, завитыми в колечки локонами.

Однажды мать и в самом деле сказала, что эти локоны называются пейсами, но слово это тут же утонуло в моей памяти, и второй раз я его вспомнил лишь во время той злосчастной художественной стрижки.

– А собственно говоря, – сказал я матери, вернувшись вечером остриженный наголо, – что ты имеешь против Пини?!

Самое интересное, что после того, как я вспомнил о Пине, я понял, откуда в моем сне взялся Додик.

Ну, конечно (как же я мог забыть?!), был в моей жизни друг по имени Додик. Только не Абрамович, а Хаймович! Появился он в седьмом классе, когда родители перевели меня в новую школу. Я там с самого начала не прижился, и все в классе относились ко мне враждебно. Им почему-то казалось, что я слишком вытыкаюсь. Особенно на уроках литературы и истории.

Окончательно всех пацанов добило то, что ко мне вдруг начала проявлять знаки внимания первая красавица класса Лера Барнёва. Никто не мог понять, что она нашла в таком маленьком круглом слизняке, как я. И только я знал правду – просто однажды после уроков я ей показал, как умею читать только что открытого мною Есенина.

Додик был единственным пацаном в классе, который не участвовал в моей травле. Не пытался со мной подружиться, но и не участвовал. А однажды на большой перемене он подошёл ко мне и сказал, что сегодня мне лучше уйти с последнего, шестого урока.

– Это ещё почему? – спросил я.

– Тебя будут бить. Всем классом. Фарик всё организовал. Уходи сейчас! – сказал Додик.

Фарик, он же Фархад, был самым большим амбалом в классе. Выше меня даже не на голову, а как минимум на полторы. Сильнее раза в два однозначно.

Сам не знаю почему, но я остался и спокойно смотрел, как они закрыли стулом дверь в класс после шестого урока.

– Ну что, жирный, обосрался? – спросил Фарик. – Это тебе не за Леркой после уроков портфель носить...

– Не дождётесь! – ответил я фразой из любимого папиного анекдота. – Если будем драться один на один, я тебя уложу!

– Да ну! – сказал Фарик. – А ты попробуй, еврей!

Что было дальше, я в подробностях не помню. Помню, как мы кинулись друг на друга, как Фарик неожиданно оказался на полу, я – сверху и, схватив его за волосы, я стал бить головой об пол. Меня пытались оторвать, но я всё бил и бил этой здоровеннойловицей об паркетный пол лучшей школы города.

Ещё помню, что домой шел с Додиком Хаймовичем, и он говорил, что, если будет надо, скажет то, что надо.

– Я своих не сдаю! – сказал Дудка, считавшийся в классе за двоечника и придурка.

На следующий день в школу пришел отец Фарика – заведующий из большого универмага, и меня вызвали к директору. Потом в школу вызвали маму.

– Я понимаю, у вас умный мальчик, но какой-то не адекватный, – сетовала директриса. – Я бы даже сказала, сумасшедший! Он едва не убил товарища, который просто хотел с ним подружиться. Как вы понимаете, в школе я его после этого оставить не могу. Вообще не знаю, откуда это взялось. Вы же, евреи, такой тихий народ...

– Я – не тихий! Я – буйный! – сказал за меня язык, хотя сам я понимал, что в такую драматическую минуту лучше было бы помолчать.

– Ну вот, видите. Он и сам это признаёт! – вздохнула директриса.

Впоследствии столь же яростно я дрался только один раз в жизни, в девятом классе, когда Олежка Анищенко обозвал меня жидом. Анищенко был акселератом, ростом под два метра, а во мне было тогда метр пятьдесят восемь. Меня снова оттащивали всем классом, и снова никак не могли оттащить. Затем в школу вызвали «скорую», а потом приходил Олежкин отец-подполковник – сам Олежка ещё пару дней был в больнице...

Господи, до чего же я их боялся – и Олежки, и его отца!

А с Додиком Хаймовичем мы после того скандала в седьмом классе сталкивались лишь пару раз на улице, но всё равно я считал его другом, на которого в случае чего можно положиться.

Прекрасно, допустим с Додиком-Давидом тоже разобрались. Но откуда взялось всё остальное?!

\*\*\*

Сборы подходили к концу. Армейская форма за это время выцвела, и брюки внизу висели ключьями. Деньги кончились, покупать «билет в самоволку» стало не на что, но и

сидеть в лагере было невыносимо. Поэтому мы с Дудкой, в очередной раз поспорив о темных местах «Степного волка» и «Игры в бисер», бегали в посёлок на свой страх и риск, уже слабо задумываясь о последствиях.

Как-то на обратной дороге мы с Дудкой подобрали белого ослика. Альбиноса. Сесть на него мы не решились, но взяли под уздцы и зачем-то потащили в лагерь, в котором уже знали все ходы и выходы.

Главное было, вернувшись, сделать вид, что мы никуда не ходили – разве что отлучились в кусты по нужде, и это мы уже тоже отлично умели.

Мы приготовились к встрече с капитаном Жалкускуновым, но он нам не встретился. Нам вообще никто не встретился. Лагерь был пуст. Ни в одной из десятков палаток не было ни души. Ветер трепал их брезентовые пологи. Над палатками низко нависало вечернее небо цвета скороспелой черешни.

Тишина была оглушительной – в самом что ни на есть буквальном смысле этого слова.

– И куда все подевались? – растерянно поинтересовался Додик.

В это время в небе цвета черешни послышался резкий нарастающий свист. И тут я всё понял.

– Это – стрельбы! – прокричал я, чтобы заглушить свист. – Они ушли на стрельбы! А стрелять будут как раз по лагерю – больше некуда!

В это время свист стал нестерпимым, и вслед за ним в метрах пятистах от нас рухнула ракета, смяв в лепешку несколько палаток и вздыбив землю. И не успело всё стихнуть, как издали снова послышался тот же свист...

– Бежим! – крикнул я Дудке. – Они сейчас здесь всё расколошматят...

– Куда бежим-то?

– Да хоть к той горке, укроемся с другой стороны. Там посёлок, до него точно достреливать не будут...

И мы побежали.

– Стой! – мне снова приходилось кричать из-за нарастающего зловещего звука приближающейся ракеты. – Ослика забыли! Бери ослика – и бежим.

Мы едва ли не на руки подхватили несчастное перепуганное животное, и стали оттаскивать его в сторону горки. Грянул второй взрыв, теперь уже совсем близко от нас.



– Бежим же! – и так, вместе с осликом мы всё же добежали до горки, укрылись за её склоном, и теперь слушали новые взрывы уже оттуда.

– Как же они могли про нас забыть?! Они ведь должны были сделать переключку? – спросил Дудка.

– А что им до нас?! Мы – другие! И мы всегда – одни! – ответил я.

– Мы никогда не одни. Мы всегда – с осликом! – возразил Додик...

– Да какая, на хер, разница?! – сказал я, и на этом месте проснулся.

\*\*\*

...Никогда в жизни я не участвовал в ракетных стрельбах, и уж само собой, никогда не попадал под ракетный обстрел – разве что один раз, когда ракеты из Газы всё же долетели до израильского города, в котором я живу.

И никакого ослика в моей жизни тоже никогда не было. Как и палаточного городка – на давних армейских сборах я жил, как и все, в обычных казармах.

Так откуда же всё это взялось в том чёртовом сне?!

У меня нет ответа.

Но он обязательно должен быть.

## Celebration of life

*Синкретическая новелла*

У Оли Стрижевской умерла мать. Ушла не безвременно - восемьдесят шесть отметила. Отбыла в мир иной как праведница, во сне, да ещё и в канун еврейского праздника Песах. Никто не узнает, что она видела в последнем сне на этом свете и чего ждала на том, но было доподлинно известно - она хотела, чтобы её похоронили, как соседку по субсидированной квартире. Та готовилась долго: заранее заказала фотографию, прикупила наряд из «Нордстрема», составила меню для поминок. Олина мама подготовиться не успела, говорила только: «Хочу, как у Эльвиры».

К матери Ольга относилась неоднозначно. Наверное, потому, что та преподнесла дочери немало сюрпризов в жизни. Взять хотя бы её роман с дядей, родным братом отца. Оле было пятнадцать, когда она увидела дядю впервые. Он приехал из Херсона, где служил лоцманом. Видали такое - еврей-лоцман! Как тот паренёк из песни, который плавал в Херсон за арбузами. Герой песенки, как выясняется из текста, ни за какими арбузми не ездил, а воровал и доставал крупную валюту. Дядя, Мика Стрижевский, видимо тоже не очень-то увлекался физическим трудом. Невозможно было представить канат в его почти женских ладонях с золотым перстнем-печаткой на указательном пальце. Как и положено лоцману из советских фильмов, Мика был лысоватым, весёлым крепышом-коротышкой. В отличие от Олиного отца – высокого, угрюмого инженера с кучевыми бровям и большой головой, обмотанной проволокой семитских волос.

«Любовь кольцо, а в кольце нет конца», — прошептала мать на прощанье, уезжая с лоцманом. В Херсоне она пробыла полгода, пока не выяснилось, что у Мики есть там «рыбачка Соня», и не одна.

Папа-инженер прохаживался по коридору и фальшиво насвистывал песни советских композиторов. Оля запиралась в комнате. А мама заигрывала с прыщавыми одноклассниками дочери. Да что там говорить!.. Не жизнь, а оперетта, фарс.

В начале девяностых всю семью вынесло в Америку. Мать старела, болела, отец ворчал, вспоминая свои инженерные патенты, а Олина жизнь тоже пошла по опереточному сценарию — яркие любви, бурные разводы, молоденькие партнёры. То танго, то краковяк.

Отец ушёл из жизни довольно скоро. Свою мать Ольга теперь сильно жалела: из кокетливой веселушки фривольного поведения она превратилась в облысевшего, одутловатого подростка. Когда пришел конец, дочь без колебаний решила отметить его в мамином стиле — как говорят в Америке, «celebration of life».

Празднование жизни в русском исполнении планировалось недалеко от могильной ямы, на травке, возле заносчивых голубых елей, под богатыми клёнами, уже покрывшимися зелёно-терракотовыми листочками. Ольге вроде хотелось, чтоб у матери было всё как положено, но по такому поводу она всё-таки не смогла себя пересилить - заниматься готовкой было лень, тратить деньги на кейтеринг тем более. Поэтому блюда и выпивку распределили по участникам похорон, а вернее, по «подружечкам» - её коронное словечко. Нам было поручено принести на поминки салат оливье и селедку под шубой.

Машка подбирала меня на своей машине и, как всегда, опаздывала. К кладбищу мы подъехали только через полчаса после намеченного начала церемонии. Нам повезло - мы отыскиали свободную стоянку всего за полмили от похоронной ротонды с вывеской «Место скорби», и потащились туда. Каблуки застревали в рыхлой весенней земле, покрытой девственным пушком и залысынами чернозёма. Из пластикового пакета с «шубой» текли малиновые струйки. «Оливье» тоже, видимо, страдал от подпрыгивающей походки - охал, издавал плюхающие звуки. Я сильно злилась: какого чёрта, ещё не хватало, чтоб «подшуба» пролилась на мою белую блузку, - но упорно ковыляла за шикарной Машкой, высокой седовласой красавицей во всём чёрном обтягивающем, с коралловой ниткой на удивительно гладкой для её возраста шее. Вот Бог красоту дал!

Нас ждали. Вовсе не из-за угощений. Именно Машка была главным действующим лицом первого акта этого печального действия. Будучи профессиональной певицей, она выучилась по приезду в Америку на кантора - знала погребальные молитвы и умела отпевать по-еврейски, хотя без знания иврита понимала текст весьма приблизительно. Но получалось всегда очень прилично, даже классно: роскош-

ная, стройная Мария глубоким интимным контральто провозжала к праотцам не сильно помнящих о своём еврействе членов сообщества.

Машка предпочитала, конечно, благословлять молодожёнов - это она тоже здорово умела делать, но в тех краях женились по традиции очень немногие, зато в последний путь предпочитали отправлять более-менее, как положено. Кроме того, на свадьбы она всегда могла сосватать халтуру своему бойфренду Алику. Его музгруппа играла всё, что может пригодиться на русско-еврейском празднестве - от «Любушка, целую тебя в губушки», через «Вальс Бостон» до «Бесаме мучо». А чем мог Алик «порадовать» присутствующих на похоронах или поминках? Он виртуозно играл только на бас-гитаре и на тубе - не слишком востребованном духовом инструменте, самом низким по регистру и самым громоздким по размеру. Приняв обычно полстакана виски и закрепив его «косяком», крупный рыхлый Алик легко взваливал на себя блестящий кусок металла и красиво дудел. Иногда протяжно и жалостно, иногда отрывисто и резко. Пару раз я слышала его соло на тубе — высший пилотаж.

Гремучая смесь чеченцев и кавказских евреев, Алихан – или, по-нашему, Алик много пил и, по традиции, склонялся к рукоприкладству, что объяснялось страстностью натуры. Свирепые приступы ревности заканчивались краткосрочными заездами к запасным подругам - к востроглазой молдаванке из магазина «Каштан» или к разбитной приме местной самодеятельности.

«Ой, Алюшечка!» - тихо вскрикнула Машка, отыскав глазами любимого. Сейчас в их отношениях преобладал штиль.

В ротонде стоял едва слышный шепоток: соседи ушедшей жаловались друг другу на недостатки американской медицины, Олины коллеги по работе обменивались дежурными фразами, русско-еврейские знакомые выясняли цены и локации погребений. Я, слава Богу, справилась с «подшубой» - не пролила ничего на одежду, и пристроила пакет на травку дожидаться своей очереди.

Над закрытым гробом прозвучали все необходимые слова на непонятном, и от того особо магическом языке. Машка, как всегда, была на высоте - делала свою работу грациозно, торжественно, а главное, быстро. Дело шло к обеду, и хотя народ был предупреждён о предстоящем празднике

жизни, и люди не нагружали с утра желудки, чувствовалось некоторое нетерпение.

Через полчаса все подтянулись к могиле. Ольга, вся в красном - любимый мамин цвет - отлично смотрелась на фоне разнообразных оттенков зелени. Её теперешний партнёр, подслеповатый толстый парень неопределенного возраста, обнял её за талию и серийно зачихал... Сочувственное «God bless you» слилось с раздраженным «зай гезунд».

Рабочие справились быстро. Последняя молитва в исполнении «канторки» была очень кстати. «Ху осэ шалом бимромав, ху яасэ шалом алейну, вэ аль коль исраэль вэ имру...». «Амен» с облегчением выдохнули еврейские пенсионеры. «Аминь» - чуть было не перекрестились православные соотечественники.

Ольга приподняла тёмные очки, покосилась на расставленные столы с белоснежными скатертями и едва заметно кивнула, подала знак.

Я поспешила к своей «подшубе», отсидживающейся под елкой. Как бы Машка не забыла оливье, вот бестолковая - оставила пакет на солнце, скиснет ведь.

За несколько минут скатерти покрылись узорами салатов и нарезок — подружки постарались. Народ ринулся к столам.

«Ну, наконец! Девочки, отлично выглядите!» - к нам, прихрамывая, двигался с распростёртыми объятиями мужчина. Эдвард, местный спортивный тренер и по совместительству герой-любownik, сильно состарился, большие суставы расходились в бёдрах, от чего ноги все больше искривлялись в колесо. Но руки — сильные, молодые! И глаза, как ни странно, оставались и в семьдесят чётко очерченными и яркими. Взглянет, бывало, пронзительно и коротко, сосканирует - и сразу отводит глаза, серые, как Балтийское море. Я называю такое «взгляд доброго следователя». Ходили слухи, что он немец, что мать родила его от пленного, потом сдала в детдом и всякое такое. Похоже, все эти истории он сам и сочинял. Во-первых, чтобы было легче покорять нежные сердца девушек разных возрастов. Во-вторых, в маркетинговых целях - немецкая педантичность и требовательность, мол, залог успеха в спорте.

«Ой, Эдик...» Обнимаясь с бывшим ухажёром, Машка растерянно озиралась. Под столом сияла начищенными боками туба Алика. Сам же музыкант вполне цивилизованно обсуждал что-то с пожилой парой — яйцеголовым муж-

чиной с натянутыми выше талии шортами и ухоженной женщиной, замотанной в платок зебровой окраски. Было заметно, как собеседник Алика удивляется - его глаза всякий раз распахивались, и крупная бородавка между бровей, в аккурат на месте индусской бинди, оживлялась, участвуя в разговоре. «Правда, Ирочка?» - обращался он к жене за одобрением, но она только глубже закапывалась в платок и оттуда, из-под тёмных очков, с пристрастием осматривала посетителей. Затем она снисходительно процедила: «Ты, как всегда, Са-а-аша...», и, сверкнув розоватыми дымчатыми стёклами, двинулась к столу занимать место. Муж Саша, который когда-то был просто Изей, засеменял вслед за зебровым платком.

Алик, закончив свой «косяк», заметил улыбающуюся всем своим шикарным ртом Машку. «Ну, надо же, дурёха, - подумала я, - никак не может удержаться, даже сейчас кокетничает со всеми подряд». Алик плюхнулся на стул напротив нас с Машкой. Он уже пребывал в nirване, только непонятно было, сколько он протянет - обычно эта благодать длилась недолго. Моя селёдка под шубой закончилась моментально - под водочку-то, ещё бы. В розовой лужице на дне чёрного блюда отражались морщинистые кленовые листочки, ещё не сформировавшиеся и беспомощные. Люблю я всё-таки розовый цвет, - не младенческий, как клубничное мороженое, конечно, а чуть-чуть сиреневатый, прохладный такой.

Гости уже успели пропустить по рюмочке, когда из-за стола поднялась раскрасневшаяся Ольга. «Мама была лёгким человеком. Да, она жила легко», - начала Ольга. Будучи в курсе жизненного пути покойной, её соседи по дому престарелых перестали жевать, ожидая, не дай Бог, скандала - с их здоровьем это ни к чему. Близкие Олины подружки встrepенулись и явно приготовились выручать в случае чего. Малознакомые люди заинтересовались: глядишь и развлечёмся, какие ж поминки без заварушки. «Лёгким, но... честным и ответственным». Уф, отлегло. Всё-таки Стрижевская не дура совсем, даром что научный работник. «Береги честь смолоду - учила меня мама». Вот так поворотик! «А платье снова», - проговорила она вторую часть поговорки, бросив взгляд на свой дорогой красный наряд. Тут я догадалась, что на этом фольклорная часть речи закончилась. «Этому я постоянно учила своего сына, и надеюсь, он передаст эту мудрость дальше, своим потомкам». Сын Ольги с раннего детства проживал с отцом в Нью-

Йорке, они изредка перезванивались, а виделись два раза в год. «В этом и выражается, по-моему, преемственность поколений. Спасибо тебе, мама, за всё!» Последнее слово было произнесено особенно громко и отчётливо. Люди выдохнули, зашевелились, зашумели, потянулись к рюмкам и оставшимся угощениям. Парочка хорошо сохранившихся друзей усопшей прочли по бумажке свои некрологи. Пастор баптистской общины коротенько поведал о чудесах. Кто-то вспомнил фирменную кизилковую наливку мамы и рассказал несмешной анекдот.

«Выпьем не чокаясь, по нашей древней русской традиции», - прокричал с места бывший Изя. Затем он встал и подтянул шорты повыше: начиналась художественная часть. «Наталья Наумовна любила поэзию. Поэзию Пастернака, Бродского и других. Вот и я, как многим здесь известно, балуюсь. Когда-то написал я ей вот такое посвящение: “В краю тихоокеанском, в глуши американской, все любят тут Наташу со взглядом христианским”». Там было много разных буквосочетаний, и заканчивалось так: «Всегда добросердечна, она твоя защита, приветлива открыта и никогда сердита». Гости захлопали, одобрительно закивали. Поэт зарделся, смущённо улыбнулся, знаменитая бинди между бровей заметно порозовела. «А вот ещё...» - попробовал продолжить он, но тут жена заметно толкнула его острым локтем в бедро, и он покорно опустил на место.

Алик громко икнул - видимо, нирванное время истекало, - а затем снова обмяк. «Немец» Эдвард сверкнул глазами и подмигнул всем тётенькам сразу. «Эдик... Теперь ваша очередь...» - заныли Ольгины подружечки. Эдвард явно готовился к выступлению, хотя чего тут готовиться: на всех мероприятиях, начиная от крестин и кончая поминками, он выступал с одним и тем же номером. И швец, и жнец и на дуде игрец, как говорится, незаменимый гость местного русско-еврейского сообщества, Эдвард пел. Пел оперным голосом, громко и сносно, но репертуаром владел весьма ограниченным, а именно: двумя итальянскими песнями, которые знакомы каждому бывшему советскому интеллигенту. Одна из них, «Скажите, девушки, подружке вашей...» исполнялась на свадьбах и юбилеях, а вторая годилась для любых мероприятий, даже не очень весёлых. “*Che bella cosa na jurnata 'e sole...*”. В ухоженном парке, среди дивных деревьев и незаметных могил, голос звучал проникновенно и благородно. Он пел о солнце, об ощущении праздника, о

лице любимой, о расставании с солнцем-лицом, когда наступает ночь.

«O sole, 'o sole mio  
Sta 'nfronte a te  
Sta 'nfronte a te»

Эдвард, бывший любовник по меньшей мере пятерых присутствующих дам, пел о сиянии на неизвестном нам женском челе. Одинокие старушки пытались выпрямить спины, взрослые женщины затаили дыхание, несколько молодых взглядывались в певца с недоумением. Последний припев прозвучал особенно взволнованно - Эдвард в упор глядел на Машу, она плакала.

Взрыв аплодисментов вернул музыканта Алика к реальности. Он окончательно опомнился, когда застал нежный взгляд своей подруги, направленный совсем не на него. «Твою мать... Оля... я очень уважал. А она... ценила музыкантов», - произнёс он скорбно. О том, как покойница ценила музыкантов, знали немногие. «И сейчас... вод эда вод». Алик вытащил из-под стола свой мощный инструмент, бережно разместил тубу между колен, обхватил её выносливую шею и положил мягкие мохнатые ладони на клапаны. «Вод эда вод!» - повторил он, угрожающе взглянув на сидящую напротив Машу, которую, казалось, прошиб озноб. За десятки лет знакомства мы наблюдали Алика в разных ипостасях: в виде чадолюбивого отца семейства, запойного неудачника, злобного Отелло, талантливого профессионала, худого и ожиревшего, с бородой и без, в компании бомжей и даже в каталажке. Но больше всего ему, похоже, нравилась роль обиженного ревнивца. Я держала подругу за руку, Эдвард скрылся в туалете, Ольга смотрела сочувственно и ласково, жена Саши-Изи выглядывала из-под зебры в предвкушении кульминации.

Бурый могильный холмик влажной земли начинал подсыхать, ненадёжное весеннее солнце спряталось от грустных посетителей за каменной оградой кладбища. Алик впился губами в мундштук тубы и заиграл соло. «Чардаш» Монти. Первые звуки напомнили выходцам из Украины любовную песню трембиты, евреям - праздничный сигнал ритуального шофара, кладбищенскому охраннику из местных индейцев - призывные крики вождя племени. Алик шевелил бровями, жмурился, как от боли или от удовольствия, затем вытаращил глаза, снова их прикрыл и, обнимая инструмент, закачался из стороны в сторону в такт музыке.



Вдруг туба резко подняла к небу свой раструб и издала очень низкие тревожные звуки. Гости насторожились в предвкушении знакомой части, *allegro vivo* – супер-темпераментной и вдохновляющей, буквально инъекции жизненной энергии, которая так показана эмигрантам на туманном, дождливом тихоокеанском побережье. И тут четыре крупных пальца как будто бы отделились от мастера и забегали по клапанам с необыкновенной скоростью. Гости хлопали в такт - сначала неуверенно, кладбище всё-таки, затем всё громче и настойчивее; некоторые постукивали ножами по стаканам, другие притоптывали. Ожившие бабушки подёргивали плечами на цыганский манер, распространяя запах сладких духов, несколько пожилых мужчин ёрзали на стульях, Олины университетские сотрудники явно радовались - наконец-то можно расслабиться, а то иди пойми их, этих русских.

И снова протяжная и многообещающая мелодия. Алик сверкнул влажными белками и уставился на Машку, как будто предупреждал о чём-то страшно важном. Моя подруга подалась вперёд и улыбнулась самой что ни на есть сладостной улыбкой. «Птичка скачет весело по дороге бедствий, не предвидя от сего никаких последствий», - любила повторять моя мама. Как это Машке удавалось оставаться такой легковой и наивной? С её-то тяжелой жизнью, бесконечными травматическими событиями! Я называла её «Маугли, дитя природы» - она здорово выживала в человеческих джунглях.

Туба захрипела, зарычала, болезненно застонала и, наконец, будто вырвалась на свободу и запела вполголоса. Запела взахлёб, звуки побежали вприпрыжку. Пальцы витали над каплевидными клапанами, Алик надолго прикрыл веки. Он взял последнюю ноту, самую высокую, на которую был способен, и затих. В кладбищенской тишине послышался хриплый выдох музыканта. Он любовно погладил тубу, опустил её на землю, с яростью опрокинул стул и широким шагом кинулся прочь. Здесь было бы крайне уместно выражение «куда глаза глядят», но я совсем не уверена, что Алика вели глаза. Машка по инерции блаженно улыбалась, пока я не зашипела, что надо бы принять меры.

Народ выражал безмерное ликование по поводу выступления. Платок с зеброй наконец отделился от шеи и парил над головой мужа. Охранник приближался к столу - такое развитие событий показалось ему подозрительным.

Эдвард наконец покинул уборную и теперь, уверенно переваливаясь с ноги на ногу, подгребал к столу.

Машка с жалобным писком покинутого птенца: «Алик, Алик!» - бросилась вслед за другом жизни. Учитывая её узкое платье, странно, что она настигла Алика в несколько прыжков. Он развернулся, потянулся рукой к её шее... и сорвал коралловые бусы. Боже, какой штамп, какая пошлость! Как в плохом кино! Прямо оскорбляет мой художественный вкус!

Маша сидела на корточках и медленно собирала алые шарики, прятавшиеся в свежей зелени. Издалека они напоминали мне сочные ягоды земляники, которые мы с ней в детстве собирали на братских могилах в лесу возле пионерлагеря.

Люди засуетились, у туалета образовалась небольшая очередь.

Эдик подкрался сзади к Ольге Стрижевской и дружеским жестом приобнял её за плечи. Дочь покойницы смотрела невидящим взглядом на лежащую перед ней черно-белую фотографию весёленькой и молоденькой своей матери. Прохладный весенний ветер подхватил карточку, она покрутилась в воздухе и упала на влажную землю лицом вниз. «Драгоценная моя Н.Н.! Нам никогда не забыть этих дней. Твой М.С.» - гласила надпись фиолетовыми чернилами на обороте.

- Н-да, Наталье Наумовне бы понравилось, - заговорщически прошептал Эдвард Оле на ушко.

- А то ж! - фыркнула Ольга.

## Мыльная опера

Семейство Колбасиных собиралось праздновать тридцатилетие совместной жизни так, чтобы аж земля дрожала. Подготовка была проведена очень серьёзная. Был снят зеркальный зал ресторана русской кухни "Бонбон", оплачен шоу-балет "Бразилия" и приобретены наряды. Госпожа Колбасина, далее Томочка, сходила аж к целому парикмахеру-колористу, а также татуировала брови в акварельной технике. Господин Колбасин, далее Игорёсик, рачительно постригся в бюджетном заведении через дорогу от их квартиры, но, сверх обычных процедур, затребовал выщипать ему волосы из носу, купил себе очки в несколько менее устаревшей оправе и не пилил супругу за траты. Игорёсик был прижимист, но в важные моменты жене не перечил. А момент был именно что важный.

Томочка была госпожой Колбасиной номер два, и отступить ему было некуда, тридцать лет семейного счастья ушатала его весьма серьёзно. Иногда, оглядывая их совместную жилплощадь, тесно обставленную коричневой лакированной мебелью (так Томочка трактовала английский стиль), вытирая пыль с десятков статуэток, купленных на туристических рынках (Томочка, скупая их, чувствовала себя коллекционером), пылесосая ковры, коврики, половички, шторы, гардины и занавески (Томочка считала, что так уютнее) или дегустируя один из её любимых салатов с майонезом (Томочка была консервативна в вопросах питания) Игорёсик задавался вопросом, как вообще сюда попал. Прошедшие тридцать лет помнились ему пёстрым бессмысленным фильмом, поставленным на быструю перемотку.

Дом-работа-праздник-дом-работа-селёдка-под-шубой-отпуск-в-Европе-дом-работа-сын-родился-сын-вырос-сын-уехал-за-море-дом-работа-салат-«мимоза»-дом-работа-концерт-в-Доме-культуры-мясо-по-французски-дом-работа – не жизнь, а влажноватый ком старых газет.

Игорёсик плохо помнил последние тридцать лет, но отлично помнил предшествующие свадьбе с Томочкой годы. Теперь он вглядывался в картины прошлого, и те годы казались ему временем безмятежного и безграничного сча-

стья. В том счастье Игорёсик был Игорем, был кудряв, женат на весёлой бесшабашной Кате, и дочка у них тоже была весёлая и бесшабашная. И тоже – Катя. Катя-старшая была всегда довольна жизнью, много пела и смеялась, танцевала с Катей-маленькой по утрам на кухне и готовила всякие странные блюда по рецептам из книг. Она, правда, не умела жарить котлетки, как у мамы, и не варила холодец с чесноком, и не терпела гардины. А ещё она всё время спорила с Игорем. По любому поводу у Кати имелось собственное мнение. Игорь страшно обижался. Он хотел котлеток, холодца и послушания. Во всяком случае, ему тогда так казалось.

Томочка работала в его конторе чем-то вроде секретаря. Она смотрела на Игоря во все глаза, она заискивала перед его мамой, приходившей к сыну на работу, и мелким почерком записывала рецепты её котлет, салатов и торта "Рыжик". А главное, она соглашалась с любым его словом. Короче, Игорь в конце концов развёлся и ушёл к Томочке. И довольно быстро на ней женился. Вот тогда-то счастье и закончилось. Томочка оказалась дурой, причём не доброй. Томочка оказалась истеричкой, любой спор уводившей в крики и слёзы. Томочка готовила скучную, однообразную, жирную еду. И самое страшное: Томочка считала, что мужчина должен приходиться в семью так, будто его нашли выброшенным из летающей тарелки: с тяжёлой амнезией, без каких-либо документов, писем и фотографий из прошлого, но с полным чемоданом денег.

С дочерью Игорь, очень быстро ставший жалким подкаблучником Игорёсиком, видеться мог только подпольно. Деньги, кроме алиментов, давать не решался. Подарки передавал через третьи руки. Даже фотографии Кати-маленькой были под запретом в уютном гнёздышке Колбасиных. А уж когда Катя-старшая увезла дочь за море, даже имя Катя попало в чёрный список. Родившийся у Томочки и с Игорёсиком сын Дима, по-домашнему Дусик (у Томочки было своё понимание ласки) узнал о существовании старшей сестры чуть ли не после армии, и сразу же после армии уехал с ней знакомиться, очень эмоционально сообщив отцу, что он думает о людях, бросающих своих детей. Уехал, да и остался. Брат с сестрой отлично поладили, Катя-большая приняла Диму как родного. Этот факт Томочка приняла как объявление войны, и теперь любящий отец и даже уже дед, для того, чтобы поговорить с детьми по ви-

део – либо уходил из дому, либо прятался в ванной, включив воду.

Последние годы супруги жили, на радость Томочке, практически в социальной изоляции. Друзей у них не было. Томочка считала, что все хотят либо нажиться на Колбасиных, либо обмануть их. Кроме корыстных целей у окружающих, она усматривала и в каждом, вернее, в каждой встречной-поперечной охотницу на пусть уже немного не свежее, но вполне ещё годное мужское достоинство Игорёсика, и опасалась увода супруга из семьи. Так что любая представительница женского пола, от восьми и до девяносто восьми, в колбасьевский терем впускалась весьма неохотно. Привечала хранительница очага строго женатые пары в возрасте, но больше одного-двух раз к ним в гости никто не приходил. Связанно это было как со своеобразием Томочкиной кулинарии, так и с особенностями застольных бесед, в которых хозяйка дома неумолчно сплетничала о предыдущих гостях, не умевших оценить честь дружбы с самими Колбасиными, уважаемыми повсеместно. Ну и ещё, наверное, потому, что в доме непрерывно был включён телевизор.

Именно эта социальная не востребованность и явилась причиной пышности празднования юбилея. Нужно было продемонстрировать триумф воли.

Всем, чьи телефоны обнаружались в списке контактов Томочки, было отправлено приглашение. Затем Игорёсику было велено обзвонить приглашённых и любой ценой добиться от них согласия прийти в "Бонбон". Сыну и его заморской подруге купили билеты и заказали гостиницу, так как пара отказалась жить в отчем доме. Через соцсети был нанят фотограф, готовый снимать за еду и рекламу. (Томочка мнила себя блогером, безуспешно выставляя на своей страничке фотографии своих вазонов и своих салатов).

В день X в десятках зеркал зеркального зала "Бонбона" отражались столы, накрытые с ностальгической роскошью прошлого века. Советский шик обкомовского меню удачно оттеняла культурная программа в стиле лихих 90-х. У входа полуголые девицы балета "Бразилия" хватали входивших за руки, тащили к Колбасиным, фотограф быстро делал несколько снимков новобрачных с гостями, и девушки, трясая павлиньими хвостами, сопровождали всех к столам. Томочка поражала воображение новой прической, мелированием в медовый блонд, акварельными бровями, сияла пайетками платья в пол и крепко держала под руку несколько без-

участного Игорёсика в узковатом синем костюме и пёстрой рубаше (так переосмыслила Томочка голливудский гламур).

Юбилей отгремел и закончился вносом грандиозного торта с бенгальскими огнями и лиловыми розами из маргарина.

Вечер прошёл для молодожёна, как во сне. Он помнил рифмованные здравицы, видел танцовщиц, пляшущих самбу под рыбное и румбу под горячее блюдо, слышал длинное поздравление супруги, целовался с ней под пьяное "горько!", плясал под Сердючку и всё время краем глаза наблюдал за сыном и его подругой, напряженно сидевшими за дальним столом всё празднество.

По дороге домой счастливая Томочка считала подаренные деньги и выдавала едкие замечания по поводу гостей. Игорёсик только мычал неопределённо через каждую пару её реплик, но большего и не требовалось. Томочку несло:

– Ах какие скупердяи эти Нижкины, могли бы и побольше дать!

– А как Пестровская-то растолстела, а?

– Видел, как нам Трещуки-то завидовали? То-то; у них на юбилее балета не было, не догадались пригласить!

– О, Юрины сколько дали! Чувствуют, чувствуют, что упустили дружбу с нами, да поздно теперь!

– У Толика зубы что-то для его возраста больно хорошие, наверняка протезы, а сам беззубый давно!

– Официанты хотели еду оставшуюся себе забрать, но я не таковская, я велела при мне всё запаковать и в машину сложить. Меня не обманешь!

И так далее, и так далее, и так без остановки до самого дома.

Затащив пакеты с недоеденным шашлыком, остатками нарезок, обломками лавашей, пирожками и соленьями, Игорёсик встал среди душной тесной гостиной, – по которой радостно расхаживала, успев по привычке включить на полную громкость телевизор, возбуждённая Томочка, продолжавшая говорить о платьях, зубах, бутылках вина, цветах со столов и прочей белиберде. – и внезапно как будто впервые увидел её со стороны. Она была злой, некрасивой, абсолютно чужой женщиной в нелепом наряде. Её раздражающий голос стучал по лбу, как деревянная ложка.

– Ну, Игорёсик, сбылась твоя мечта? Ты видел, как все нам завидуют, Игорёсик? Как все хотят быть нашими друзьями, а? Игорёсик? Игорёсик?!

– Меня Игорь зовут, слышишь! Игорь!! – внезапно заорал Игорёсик и затряс перед лицом поражённой супруги кулаками. – У меня имя есть! Я Игорь! И я от тебя ухожу. Прямо сейчас ухожу! Хватит! Достала! Всю жизнь мне испоганила! Всё!

Томочка мигнула, хлюпнула носом, собираясь разрыдаться, но быстро овладела собой.

– Сейчас я тебе принесу таблетки, Игорёсик, солнышко, ты устал, такой вечер, такая мечта сбылась, – засюсюкала она и, поцеловав остолбеневшего мужа жирно напомаженными губами, ушла на кухню, за вечерней дозой лекарств, и уже из кухни сказала металлическим голосом:

– Ты сам свою жизнь выбрал, Игорь. Ты же сам выбрал, чтобы котлетки, как у мамы, и уютно? Выбрал – неси ответственность...

Игорь стоял, тупо глядя перед собой. Перед его мысленным взором Катя-большая беззвучно танцевала с Катей-маленькой на руках в давно несуществующей кухне их давно несуществующего дома.

Из включённого телевизора несло:

– Наш демократически избранный бессменный лидер в неустанной заботе о народном благосостоянии принял решение о беспрецедентном по размаху праздновании дня национального единства....

Игорёсик вздохнул, постоял ещё немного, глядя в экран, на котором злой некрасивый старик в нелепом наряде неприятным голосом говорит о счастье быть вместе и о сбыче мечт, и, пошатываясь, ушел в спальню....

## Ощущение курорта

По давно заведённой традиции, мы закрывали ежегодный купальный сезон в конце года, 31 декабря.

Ходили на море рано утром, благо, жили недалеко. Сначала ходили вдвоём, потом нам составляли компанию друзья.

Чувство неповторимое: розовое солнце только-только встаёт из-за горизонта, ещё довольно прохладно, а вода такая тёплая, что заходишь в море и греешься. В общем, полное блаженство. Не думаешь о насущных проблемах, о надоевшей работе, о постоянных долгах... Вообще ни о чём не думаешь. Короче говоря, ощущение курорта.

Точно такое же ощущение я испытывал, когда почти пятьдесят лет назад в первый раз оказался на море. Незабываемое лето 1973 года. Лазурно-голубое Чёрное море, – и я, жизнерадостный пацан из сибирского города Томска.

То состояние полного блаженства и беззаботного ничегонеделания, бешеного восторга и прелести ласкового южного солнца настолько сильно запечатлелось тогда в моей детской памяти, так эмоционально засело в подсознании, – что всегда снова ощущалось, внезапно возникало, когда я оказывался на море. Неважно на каком: на Чёрном, Азовском или Средиземном.

Однако ощущение курорта неотвратимо проходит, когда возвращаешься домой, покидая море. Потому что ощущение – субстанция, к большому сожалению, не вечная. Всегда оно когда-либо заканчивается. Поэтому и наши новогодние походы на Средиземное море, как и ощущение курорта, должны были когда-нибудь закончиться. И они закончились очень внезапно и довольно трагично. В конце декабря 2021 года кардинально изменилась вся наша жизнь.

Наверное, в глубине души, не признаваясь себе в этом, я ждал, что ощущение курорта закончится. Ведь блаженство не может длиться вечно.

Вспоминаю то ужасное утро, как кошмарный сон, почему-то случившийся именно с Леной. Она, пережившая в своей жизни много бед, получила очередное испытание – инсульт. И случилось это рано утром 31 декабря на пляже.



Лена вмиг потеряла сознание и была доставлена в больницу по «скорой». Теперь у неё впереди ожидалась совсем другая жизнь. А я навсегда утратил ощущение курорта при виде моря.

Она уже два года проходит реабилитацию в больнице, а я один не хожу на море. Я поклялся пойти туда, только когда Лена полностью поправится.

Говорят, что как встретишь Новый год, так его и проведёшь... Два года я встречал Новый год в больнице, рядом с Леной. А в этом году, тоже в декабре, – так же, как и Лена, получил инсульт. Что это?! Ирония судьбы или новогоднее пророчество?

## Номер на руке

Гнилой промозглый дождь хлестал с самого утра, загнав в коллапс транспортную систему Тель-Авива. Водители как с ума посходили; не найдя ничего лучшего, они монотонно сигналили, увеличивая тем самым общую нервозность.

Натан Моисеевич в очередной раз взглянул в серое окно и шёпотом произнёс:

– Вот ведь как; жарко – плохо, дождь – плохо. А когда хорошо?

Ладно, в магазин всё равно надо выбираться. Да и собачьи консервы закончились.

Боксёрша Альфа сидела тихо, прислушиваясь к раскатам далёкого грома и преданно глядя на хозяина.

– Ну что, девочка моя, вдвоём мы остались в этой маленькой квартирке? Погоди немного, сейчас пойду, корма тебе куплю...

Натан Моисеевич глубоко вздохнул и грустно взглянул на календарь. 27 января, День памяти жертв Холокоста.

Взял старенький, выдавший виды зонт и вышел на хмурую улицу, где косой дождь набирал обороты.

Взяв пакет молока, хлеб, три банки собачьего корма, он покорно встал в очередь. В этот момент к кассе подскочил полупьяный парень, весь в непонятных наколках.

– Три пива и сигареты.

Старик тут же распрямился и генеральским тоном процедил:

– Молодой человек, немедленно встаньте в очередь!

Магазинный сквозняк откинул полу куртки Натана Моисеевича, обнажив на лацкане старенького пиджака орден Отечественной войны.

Татуированный нахал покосился на орден, издевательски ухмыльнулся и прошипел:

– Я такие побрякушки на блошином рынке по двадцать шекелей оптом скупаю!

Пенсионер засучил рукав куртки до локтя, обнажив грубо выколотый номер.

– А это тоже оптом покупаешь?

Юный наглец тут же оторопел и отпрянул в сторону.

– Дед, ты кто?

– Конь в пальто!

Натан Моисеевич не спеша вернулся в одинокую, пропахшую лекарствами квартиру, накормил любимую Альфу, включил, до боли скучный телевизор, сел в продавленное кресло и... потерял сознание.

\*\*\*

Объявление на "Фейсбуке": «Ласковая, спокойная собака Альфа, пяти лет, порода боксёр, нуждается в доме. Прививки сделаны. Хозяин в настоящее время находится в коме...».

## Вася и тётя

Дожди, дует, с неба летит пух, хлам, белиберда. Осень. Идти на работу под громкий листопад не помогают и звончки трамвая. Листья скользят под ногами, не дают повернуться резко, от воды дует в бок. Мокрые голуби гонят тоску. Белки лежат в жарко натопленных дуплах и сушат шкурку. Нет у них другого выхода.

Бердичев – весёлый город, и в подтверждение тому есть в нём музыкально-драматический театр. Билеты покупают осторожно, переспрашивая у Аллы Дмитриевны:

- Скажите, пожалуйста, это случайно не оперетта?
- Агга Карегига? Боже упаси!

У Аллы Дмитриевны редкий дефект речи. Вместо «н» она произносит «г». Бывает конечно, никто не спорит, что «г» выговаривают вместо «р»; но вместо «н»? Она – уникальный случай, единственный в мире.

Купивший билет называется «зритель» сразу, хотя пройдёт долгая неделя, прежде чем занавес взлетит, и он что-нибудь узрит, например, декорацию. Справа рояль, слева кресло-качалка перед книжной полкой. Успокоенный зритель уходит домой под хлопанье мокрой афиши на ветру и долго вытирает ноги о половик, потом садится за борщ. Каждому позволено своё настроение, – и для Васи это еда. Поесть и хлопнуть перед первой ложкой большую, запотевшую рюмку водки на прочной ножке.

Вот и дождалась воскресенья, а казалось, неделя на вечность растянулась.

По дороге в театр наблюдался несчастный случай. Кота передавил мотоцикл. Рыдания оглушили площадь и вылились на улицу Рубинштейна. Животное увезли, надо полагать, в ветеринарную клинику, где ему сделают дорогостоящую операцию, а кот через месяц всё равно умрёт от полиорганной недостаточности, но пока что Вася с тётей шествуют в театр, не зная многого, – и не только про пострадавшего кота.

Не знают они, что неправильно он волновался, неточно задал вопрос дружественной кассирше Алле Дмитриевне, в очках с большой золотой оправой. Он целил узнать, не музыкальный ли спектакль, а спросил, оперетта ли это.

Есть те, которые считают, что все музыкальные спектакли называются оперетта, как, например, оперетта Штрауса «Летучая мышь». «Анна же Каренина» – не оперетта, но спектакль, несомненно, музыкальный. В нём многие герои поют, вместо того, чтобы прямо сказать, в чём дело. Всего этого Вася не знал, вот и спросил не то.

Другой кассир на месте Аллы Дмитриевны догадался бы, о чём, на самом деле, волнуется заморыш со слипшимися волосами в зелёной шляпе. Но она, во-первых, давно потеряла интерес к жизни вообще и к исправлению чьих-либо недоразумений в частности, а во-вторых, нюхом чувствовала, что, скажи она ему правду, ответ на незаданный вопрос, – ох, не купит он два билета в седьмом ряду слева.

Алла Дмитриевна корыстным человеком не была, но ей было жаль артистов, зря надрывающих простуженные голоса на службе музыки, искусства и всего высокого и тёплого в полупустом зале. Полупустой зал – это только так говорится, а на самом деле пустует две трети или больше, заполнена же, хорошо, если четверть зала. И того не наберётся...

Певцов она не жалела, считала несолидными, про себя называла пьяницами и распутниками, но с детства затаила в душе бережное отношение к голосам, – быть может, из-за папы-кантора большой хоральной синагоги, построенной ещё в 1850 году. Все хасиды жили тут, между синагогой и театром, и город называли Иерусалим Волыни.

Вася жил с тётёй, и повсюду ходил с тётёй, кроме занятий в университете. Эта невысокая женщина была его единственной семьёй и управляла его внешней жизнью.

У каждого из них, и у тётёи, и у Васи, было две жизни – внутренняя и внешняя, у каждого своя. У Васи внутренняя жизнь была такая, что он писал на листах бумаги стихи из длинных строчек с редкими словами. Одному знакомому он посвятил стихотворение, сначала как будто хвалебное, но заканчивалось оно словами «Заблудший, бедный мисагог». Никто не знает слова «мисагог», – и правильно делает. Нет такого слова. Есть слово «мистагог», но у Васи в стихотворении был именно «мисагог». Каждый может перепутать. Вася учится на факультете древних языков и литературы, знает древнегреческий и латынь, но ему нравится знать их расплывчато. Это впускает его в перекошенные стиль и стих.

Всё это, однако, лишь кажется его внутренней жизнью. На самом деле внутренняя, она же тайная, жизнь Васи за-

ключалась в том, что он, по его же собственным словам, гомозэротик. «Не гомосексуалист, а именно гомозэротик», – добавляет он, морща лицо, неважно вымытое, и его заливают нежный румянец. Под этим он понимает, что никто его до сих пор не касался, несмотря на сильный его к этому интерес. Возможно, причина этого – щуплое телосложение узкоплечего Васи с выпирающими мослами и жёсткими ключицами: мало есть, что обнимать, – но, скорее всего, его девственность объясняется небольшим числом редко расставленных во рту зубов, нечищенных и всегда жёлтых. Кроме того, от него исходит незаметный затхлый запах тёти.

Внутренняя же жизнь тёти заключалась в страхе арбузов. Страх этот был сильный, и во внешней жизни проявлялся в убеждении, что корки арбуза ни в коем случае нельзя выкидывать в мусорное ведро, ибо, оказавшись там, они начинают вонять. Поэтому она либо сама немедленно выносила мусор, как только в нём появлялись страшные арбузные корки, либо выбрасывала их только в индивидуальных полиэтиленовых пакетах, если не удавалось послать Васю вынести помойное ведро. Она поминутно бросала на ведро нервные взгляды, что заставляло Васю громко, истерично орать: «Тётя!!».

Но гораздо больше она втайне боялась целых арбузов. По ночам ей снился кошмар. Большой, тяжёлый, как ядро, арбуз в зелёную полоску катится, издавая гранитный гул. Она просыпается в поту холщовой ночной рубашки, и в свете ночника видит Васю на коленях, в рваных белых трусах, истово молящегося и бьющего земные поклоны. Он был православный и ложился поздно, когда тётя уже смотрела свой сон про тяжкий, гулкий, тёмный арбуз.

Были они неразделимы, но никто не мог бы сказать, как сложилась эта странная семья.

Упрёки и придирки маскировались под теоретическими исследованиями. По дороге он нудил.

– Почему тебе нужно всё делать заранее?

– Надо ко всему заранее подготовиться, – быстро сказала тётя.

– Зачем?

– Ну, чтобы было уже. Так удобнее, что ли?

– Вот, смотри. Пока готовится еда, ты что делаешь?

– Что я делаю? – всполошилась тётя, чувствуя привычный капкан и понимая, что из него ей будет не выбраться.

– Пока готовится или разогревается второе, ты ставишь на стол тарелки и кладёшь рядом вилки.

– Я это делаю?

– Каждый раз. Вот зачем? А – чтобы зацепить ненароком рукавом и уронить на пол? Бэ – чтобы чувствовать, что на кухне нет места, негде повернуться? Ведь так же легко и быстро можно в нужный момент протянуть руку и взять тарелку из шкафчика, как и со стола, когда она понадобилась, не правда ли?

– Ну, я не знаю.

– Это отрицательно воздействует на мой разум. На днях я заметил, что повернул голову в сторону крана, следовательно, подумал, не налить ли воду в стакан сейчас, чтобы потом она уже была, когда захочется пить. Я начинаю тебе подражать. Медленно превращаюсь в тебя. Что делать? Ты никогда не перестанешь готовиться. Я обречён.

Тётя внимательно рассматривает трамвайные провода, чтобы скрыть выступившую на левый глаз слезинку.

Некоторое время они идут рядом и тяжело дышат, как борцы в перерыве между потными схватками.

– Или вот ещё...

Вася с отчаяньем машет рукой и ускоряет шаг. Он чувствует, что его никто не любит. За ним бесполезной трусцой едва поспевают тётя, путаясь в блестящих ремешках выходных босоножек.

Они молча проходят между каменных глыб фасада, берут программки и, не сговариваясь, начинают ими обмахиваться. Места прекрасные, кресла винного бархата, зал почти пуст, медленно гаснет свет.

Вдали в сером сумраке проезжает на коньках Левин. На переднем плане косо стоит купе. В нём Анна одновременно читает книгу и поглядывает в окно. Еле слышна музыка. Звучит тема её тоски. Когда она встаёт, чтобы дать простор диафрагме, Вася ещё не понимает своей ошибки, но когда из приоткрытых её губ выскальзывает первое глиссандо, он тревожно крутит головой, проверяя, вызывает ли неуместный звук такую же реакцию и у других зрителей. Поблизости никого нет, кроме тёти. Тётя смотрит на Аннину юбку, запоминая фасон, и в этом состоянии не слышит ничего.

Отказываясь верить до последнего, Вася решает, что и в драматическом спектакле герой может запеть, промурлыкать несколько нот себе под нос; но когда Анна, всё ещё стоя, берётся за третий куплет, он понимает, что мурлычет она не себе под нос, а ему. Надули его. Спектакль-то музы-

кальный. Дальше он вспоминает смелые глаза кассирши, её орлиный профиль, и становится ясно, что билет вернуть, может быть, и возможно, но денег обратно он не получит. Кроме того, косой взгляд на тётю убеждает его, что тётя в состоянии, близком к блаженству, и с места не стронется, по крайней мере, до конца спектакля.

Появляется Вронский и громко поёт на перроне. Вася пытается заглянуть ему в рот, чтобы проверить, на месте ли сплошные зубы. Он помнит их по оригиналу, но, видимо, режиссёр роман не прочитал и положился на сведения инсценировки. Зубов нет. Не то, чтобы офицер был совсем беззубый, но белой доски сплошных зубов точно не различить из седьмого ряда.

Разочарований много, и все их Вася сверяет с оригиналом романа. Память у него прекрасная, а сейчас она ещё обострена усилиями не слышать ненавистную ему музыку.

Каренин ему неожиданно понравился – высокий, сухощавый, серые брюки в полоску. Лицо сложено в маску иронии и разочарования. Вронский танцует с Китти и собирается сделать ей предложение. Входит Анна в бальном платье с открытыми плечами. Естественно, Вронский не готов был согласиться, но кто устоит надолго?

Это спектакль, поэтому события развиваются быстро. Анна отдаётся, у Вронского трясётся челюсть. Тут Вася остался доволен – всё идёт как по писаному.

В антракте тётя доверчиво повернулась к нему и спросила:

– Как ты думаешь насчёт платья?

– Что насчёт платья?

– На Аннино платье сколько отпустили крепдешина? Она там в некоторых местах в три слоя обёрнута. Складки на турнюре, и вообще.

Вася громко фыркает. Хорошо, что ближних соседей нет, и даже дальние ушли в буфет.

– Васенька, тебе нравится? – тётя блаженствует и доверчиво склоняет к плечу племянника увядшую головку.

– Пожалуй, останусь на второе действие. Посмотрим, как они решат муторную часть, где влюблённые таскаются по Европе и медленно развлюбляются. Вронский там учится живописи у художника Ивáнова.

Тётя счастлива, получив от Васи согласие остаться на второй акт. Ближе он ещё никогда к комплименту не подходил. Она боялась, что он убежит домой, как в прошлый раз,

когда они тоже попали на музыкальный спектакль «Клоп» по Маяковскому.

На обратном пути Вася перекраивает спектакль.

– Фиолетовый – прекрасный цвет. Трудно поверить, что некоторые этого не понимают. Я бы одел в него всех героев. Анна в фиолетовом неглиже, особенно в сцене соития. Вронский в тёмно-фиолетовой шинели в первом акте, и в бледно-фиолетовой, выцветшей, в последней сцене, когда отправляется на фронт, и у него болят зубы. Единственным в другом цвете будет у меня Левин. Надо его одеть с головы до ног в розовый.

Тётя погружена в счастливые эмоции и едва слышит Васеньку, но отдельные слова «секрет, экстаз» просачиваются сквозь мечты о выкройках. Она прислушивается. Оказывается, с перекойки мизансцен он плавно перешёл на привычное мучительство ближнего.

– У тебя, тётя, низкое самоуважение. Только этим я могу объяснить твой пиетет перед знаменитостями. Когда ты говоришь: «Он знаменит», у тебя меняется голос, как будто все вопросы отпадают. Знаменит – это всё.

Заметив, что она слушает, но ещё не отвечает, он продолжает – на смежную тему. Впрочем, реагирует тётя редко.

– Потом секреты. В прошлом году тебя попросили никому не говорить, о чём начал писать книгу Гавриилов. Ты всё лето ходила с таким видом, как будто готовишься снести яйцо. Тебе надо было шпионом быть. Идеальная для тебя профессия. Любишь секреты, и всё такое прочее. Они дают тебе чувство важности.

При слове «шпионом» он испуганно косится на тётю. Она смотрит прямо вперёд и ступает, как канатоходец, ставя одну босоножку перед другой.

Тётя смотрит на часы, пристёгнутые у неё к поясу, и говорит:

– Разве можно так рано ссориться?

Он продолжает нудить на разные темы, то о спектакле, то о личных достоинствах и недостатках тётю, но что-то его гнетёт и не даёт сосредоточиться. Он замечает странность в её последнем ответе. Что значит «рано ссориться»? На улице уже темно, а ссорятся они целый день.

Он опускает глаза и замечает, что она в босоножках, и из одной из них вылезает большой палец с кривым ногтем. Палец этот посинел от холода. У Васи прекрасное зрение в



очках, но он никогда до сих пор не смотрел на тётю внимательно.

Он обернулся. Качели тяжело обвисли на вымокших верёвках. Он попробовал сосредоточиться на Анне Карениной и не думать подозрительные, беспокойные мысли о тёте. Анна не любила сидеть дома одна. Вечно она по балам, по подругам, в высшем обществе, знаете ли. У них там так принято. Княгиня Бетси Тверская, и всё такое прочее. Босоножки, однако, совсем не по сезону. М-да.

На сына не обращала внимания, пока ей не запретили с ним видаться. Вот тогда она взвилась, – и только тогда!

Список недостатков тёти едва почат, и не продолжать идти по списку так же трудно, как, выпив первый бокал, не протянуть руку за бутылкой снова, но что-то его удерживает. «Если не учиться на ошибках, дальше пойдёт так же», – нараспев произносит бас у Васи в голове.

Он вздохнул, пытаясь что-то понять или изменить, и неожиданно брякнул:

– Тревожно жили в этом году.

Тётя останавливается и моргает, но Вася, не в силах сдержать душевный порыв, твёрдой рукой берётся за следующий номер списка тётиных недостатков:

– Простыни у меня все в дырках, особенно около ног. Чисто кружево.

## Баба Поля

1

Когда я научился считать, то, очарованный магией цифр, сравнивал с ними всех взрослых. Толстый сосед с огромным животом, выпиравшим так, что постоянно расстегивались нижние пуговицы рубашки, был у меня восьмеркой; учительница начальной школы с длинной шеей, которую постоянно наклоняла так, что держала почти параллельно земле, – семеркой, а моя баба Поля – единицей. Худая, с большим крючковатым носом, прямая, как палка, несмотря на возраст, баба Поля и ходила всегда с палочкой. Вылитая единица.

Вообще-то бабой Полей ее называть неправильно. Она была мне вовсе не бабушка, а прабабушка, и настоящее имя ее – не Поля или Полина, а Перл. Перл Боровская.

Она родилась в 1868 году. Еще десяти лет не прошло с отмены крепостного права, которого, правда, в Юго-Западной Украине, в черте еврейской оседлости, где жила семья бабы Поли, не было. Украинцы жили там свободно, евреи – относительно: им запрещалось проживать не только за пределами черты оседлости, но также в больших городах и в сельской местности внутри нее, запрещалось владеть землей (поэтому крестьянским трудом евреи не могли заниматься), носить традиционную одежду... Для евреев существовала процентная норма – квота при поступлении в гимназии и высшие учебные заведения...

Баба Поля родилась и выросла в Шаргороде – еврейском местечке (штетле) в Подольской губернии. В семье сохранилась фотография ее отца – Моисея (Мошко) Боровского. Мой прапрадед сидит вполоборота в глухом черном сюртуке у стола, одна рука на столе, другая на колене. Седые усы, длинная белая борода, двумя клиньями раздвоенная книзу. Сзади видна этажерка с книгами. Ну, вылитый Менделеев, если бы не еврейский картуз и пейсы.

В той "фотосессии", где-то в конце восьмидесятых годов XIX века, принимала участие вся семья. Сохранились явно сделанные тогда же фотопортреты моего прадеда, мужа бабы Поли, и ее самой. Все они сняты на фоне той же светло-серой драпировки. У прадеда пейзажи не видно. Ак-

курятная стрижка (наверное, стригся специально к приезду фотографа), короткая бородка, ухоженные усы, модный "светский" пиджак, белая рубашка со стоячим воротничком и небрежно повязанным галстуком... На широком узле галстука видна светлая (серебряная?) булавка. Совсем другой тип, чем его тесть.

В Шаргороде, судя по старому справочнику, который мне посчастливилось отыскать в музее еврейской старины в Виннице, своего фотоателье не было даже в начале XX века. Значит, фотограф специально приезжал в местечко со всем своим профессиональным скарбом. Стоило все это, между прочим, недешево: за каждый портрет фотограф брал от двух до пяти рублей. А буханка хлеба стоила тогда 4 копейки, литр молока – 15 копеек, а длинный прапрадедов лапсердак – рублей десять-пятнадцать.

Похоже, что семья бабы Поли была зажиточной – во всяком случае, по меркам штетла. На одной ее фотографии на ней, двадцатилетней, – застегнутое до самого подбородка платье из какой-то переливающейся ткани (шелка? атласа?) с белым кружевным воротником, спускающимся с плеч на грудь. На другом снимке она в затянутом в талии пальто с огромными пышными рукавами, со сборкой у плеч и узкими от локтя вниз (они назывались "жиго"), в перчатках на руках и крошечной шляпке на голове.

В том самом справочнике Шаргорода, выпущенном через полтора десятка лет после этой "фотосессии", я нашел два магазина Боровских: посудную лавку моего прапрадеда и бакалейную – Поли. В ней продавались крупы, соль, сахар, перец, копчености, сухофрукты, пряности...

Через много лет, когда я приехал в Шаргород в гости к деду по отцу (мой отец тоже родом оттуда, хотя с мамой они познакомились уже в Москве), мне показали дом бабы Поли – типичный для еврейского штетла на рубеже XX века: глинобитный, полутораэтажный, с четырехскатной крышей и деревянной галереей, протянувшейся вдоль всего дома. В полуподвальных этажах таких домов располагались или мастерские ремесленников: сапожников, портных, шапочников, лудильщиков, – или торговые лавки. В доме бабы Поли в полуподвальный магазинчик (низкая дверь, вместо витрины – большое окно, разделенное рейками на квадратики) вели четыре-пять ступенек, а над лавкой жили хозяева.

У бабы Поли было пять дочерей: Маня, Рахиль, Таня – моя будущая бабушка, Лия и Геня. Прадед рано умер (ему

еще не было и пятидесяти лет), и баба Поля осталась с дочерями одна. У каждой в доме был свой особый круг обязанностей. Старшая, Маня, помогала матери в магазине, вела бухгалтерию, Рахиль готовила, Таня шила и вязала, Лия занималась домом и присматривала за маленькой еще Геней. И это осталось с ними на всю жизнь. Лия умерла совсем молодой после родов, а вот тетя Маня окончила курсы счетоводов и до самой пенсии работала бухгалтером, моя бабушка Таня всех обшивала. вязала кофты, шарфы и варежки, тетя Рахиль потрясающе готовила.

Еще в Шаргороде, в юные годы, она помогала сарварке – поварихе на еврейских свадьбах, пекла лейкех, флудн, печенье, макес – бисквитные торты с надписями, которые вручали родственникам жениха. Я помню ее уже совсем старой, полуслепой: она сидела на табуретке у открытой двери в крошечную "хрущевскую" кухню, где две женщины готовили под руководством тети Рахили сладости для еврейской свадьбы (пакетики с этими сладостями раздавали по традиции гостям), и, подслеповато щуря глаза, давала указания: "Орехов хватит; еще ложечку сахара"...

Бабушка Таня шила и вязала до глубокой старости. Ее муж, мой дед, ополченец, погиб под Вязьмой в первые же месяцы войны, и она, оставшись одна с двумя детьми (моей матери было в 1941 году одиннадцать лет, ее брат родился в мае, за месяц до войны), стала швеей-надомницей. Сначала вязала свитера и варежки для солдат, за что потом получила медаль "За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны" (бабушка говорила по этому поводу: "Лучше бы деньгами дали"). Позже, в начале шестидесятых, работала на ткацком станке, который занимал чуть ли не всю стену в однокомнатной квартире, которую она получила с сыном и бабой Полей, как вдова фронтовика. И я, ночуя у бабушки, засыпал на раскладушке под мерный стук оверлока.

В бакалейной лавке им помогал Семен Голуб – богатый-украинец из шаргородской Слободы, единственный мужчина в этом бабьем царстве. Он таскал мешки с товаром, колот дрова для печки, чинил, что ломалось, и отводил бабу Полю с детьми в Свято-Николаевский православный монастырь, где собирались еврейские женщины, дети и старики, когда близился очередной погром. А сам потом возвращался в лавку – охранять от погромщиков, чтобы не разграбили.

## 2

Частые кровавые погромы начались в Шаргороде во время Гражданской войны. До этого при жизни бабы Поли погромов там не было: евреи и украинцы жили в мирном симбиозе: украинцы из близлежащих сел привозили на рынок продукты, а евреи шили им одежду, чинили обувь, точили ножи, ковали, лудили, латали, ремонтировали сельскохозяйственный инвентарь... В еврейских лавках всегда можно было найти и дешево купить все, что угодно: от скляных изделий и галантереи до бакалеи и посуды. На тридцать верст вокруг только в Шаргороде были врачи, аптекарь и фельдшер, и все ходили к еврейским врачам и аптекарю, а фельдшер Яков Горбик вообще принимал в любое время суток... Соседей-украинцев приглашали на еврейские свадьбы, а те звали к себе музыкантов-клезмеров, которые играли и украинские народные песни...

В общем, "свои" еврейских погромов в Шаргороде не устраивали. Но во время Гражданской войны кто только не проходил через местечко: белые, красные, зеленые, петлюровцы, махновцы... Нестор Махно, правда, расстреливал погромщиков, но сдержать свою озверелую, пьяную анархистскую братию не мог даже этим. При каждой новой власти, как бы коротко она ни держалась в Шаргороде, громили еврейские лавки и дома, насиловали, били и убивали. Это, так сказать, входило в обязательную программу.

– Только при Котовском, – рассказывала баба Поля, – только при Котовском в Шаргороде погромов не было!

И Григория Котовского поэтому – единственного! – очень уважала.

Революция и Гражданская война принесла еще одну беду. Были разорваны все торговые связи, оптовики больше не привозили в Шаргород товар, и лавка бабы Поли опустела. Продавать стало нечего, нечем было кормить семью. Если бы сердобольные украинки из соседних сел, ее постоянные покупательницы, не подкидывали бы время от времени картошку, овощи и подсолнечник, да Семен Голуб не приносил бы из своего сада яблоки и вишню, они вообще остались бы без еды.

И баба Поля – делать было нечего! – решила сама поехать за товаром. Взяла подводу со знакомым балагулой, здоровенным грубым мужиком (в Одессе их называли биндюжниками), оставила дочерей на попечение Семена Голуба, погрузила на подводу на обмен яблоки и бутылки с подсолнечным маслом, которого в Шаргороде было в изоби-

лии, взяла деньги, копившиеся на "черный день" (а такой день наступил), и отправилась за тридцать с лишним верст в Жмеринку, не зная толком, через какие линии фронта проходит этот путь, где какая власть, не зная даже, найдет ли она там нужный товар. Но так как Жмеринка была крупным железнодорожным узлом, баба Поля надеялась, что найдет.

Дорога в Жмеринку шла, в основном, полями. Но изредка заезжали в лесок, и в таком вот леске, еще совсем близко от Шаргорода, бабу Полю ограбили. Подводу остановили мужики с закрытыми платками лицами и обрезам в руках. Яблоки и бутылки с маслом они не тронули, а деньги ей пришлось отдать. Но мужики, пошептавшись между собой, неожиданно вернули ей часть денег.

– Тобі ще дівчат годувати, – сказав главарь.

– Местный, – догадалась баба Поля. Знал, с кем имеет дело.

Ей удалось найти в Жмеринке понемножку и крупы, и соли, и сахара, и муки, и она без приключений вернулась в Шаргород. Товару было мало, но в обнищавшем местечке и этого хватило, чтобы продержаться те скудные годы.

Из всех своих дочерей баба Поля в это время больше всего боялась за младшую, Геню. Родившаяся на рубеже веков еврейская молодежь ниспровергала авторитеты и ломала традиции. Часть ее шла в революцию, часть – в сионистское движение. Геня, похоже, тогда еще не решила, с кем ей по пути: с большевиками или с халуцим – сионистами, которые создавали коммуны в сельских районах Палестины, чтобы, подобно американским пионерам на Диком Западе, осваивать земли будущего еврейского государства (халуцим и значит – "пионеры").

А пока суть да дело, Геня, как выражалась баба Поля, "точила язык" в Шаргороде, и нередко делала это в разговоре с людьми, с которыми было просто смертельно опасно говорить. Русский язык Геня знала плохо, поэтому ни с белыми, ни с красными никаких разговоров, к счастью, вести не могла. Зато хорошо говорила по-украински, и горячо убеждала офицера петлюровской Директории, оценившего поварское искусство тети Рахили и столовавшегося у них, в том, что тот служит "оперетковым бандитам". Офицер, кадровый военный, интеллигент и украинский патриот, только снисходительно усмехался и советовал Гене говорить такие вещи "тільки за обідом".

– Не дай Бог, кто-то бы еще услышал, Геню бы расстреляли, – качала головой баба Поля, объясняя мне, почему она, хотя и с тяжелым сердцем, но, в конце концов, отпустила свою младшую дочь с такими же молодыми ребятами, когда они решили добраться до румынского порта Констанца, чтобы оттуда пароходом уплыть в Палестину. А до Констанцы – семьсот километров через Украину и Бессарабию, где все воевали со всеми!

Геня добралась до Констанцы живой и здоровой, где, правда, села на пароход, отходящий не в Палестину, а в Америку. Года через два баба Поля получила от нее письмо. Дочь писала, что хорошо устроилась, уже говорит по-английски, учится на каких-то курсах, и что мама может за нее не беспокоиться.

В сталинские времена любые контакты с Геней прекратились: это было и опасно, и невозможно. Но в 1957 году, когда в Москве проходил Всемирный фестиваль молодежи и студентов, в недавно построенной гостинице "Турист", где тетя Рахиль работала ночным администратором, раздался телефонный звонок. Звонила ее сестра Геня из Америки. Каким-то невероятным образом она узнала номер телефона.

Они говорили долго, Гене этот разговор, конечно, влетел в копеечку, но обе были счастливы. Геня сказала, что при первой же возможности приедет в Москву, где, как она знала, живут уже с конца двадцатых годов мать и сестры. Американских туристов тогда уже начали пускать в Советский Союз и даже усиленно зазывали. Но потом начался новый виток "холодной войны", затем сняли Хрущева, и поездку пришлось отложить. А в начале семидесятых годов Геня тяжело заболела и умерла. Так они и не встретились.

### 3

Советская власть, прочно утвердившаяся в Украине в 1921 году, в конце концов, добралась и до Шаргорода. Какие-то ее декреты – например, декрет ВЦИК "Об отмене частной собственности на недвижимость", осуществить здесь было просто невозможно: в Шаргороде все дома были частными, и, если бы удалось "выбить буржуазию из ее крепостей", как призывал один из большевистских агитаторов, то весь Шаргород оказался бы без крыши над головой.

Но другие предписания советской власти прибывшие сюда комиссары (тоже, в основном, евреи, только из больших городов) проводили в жизнь без колебаний. Десятки

шаргородских семей в одночасье стали лишенцами, были лишены избирательных прав. А это влекло за собой множество других ограничений: лишенцам не выдавались продуктовые карточки (или выдавались по самой низкой категории), не выделяли дров, за которые частным образом приходилось платить баснословные деньги, они не могли стать членами артели, не имели права получать пенсию и пособие по безработице...

Баба Поля владела бакалейной лавкой, к тому же у нее был наемный работник – Семен Голуб, – так что и она стала лишенкой. Какое-то время выручала Маня, работавшая бухгалтером в кооперативе кустарей, да помогал тесть Мани, арендатор мельницы Нухем Шпун (по какой-то советской логике мельники под категорию лишенцев не попадали). Но потом весь "нетрудовой элемент", а значит, саму бабу Полю и остальных ее дочерей, решено было задействовать на черных работах: заготовке дров, прополке сорняков, уборке мусора...

– Хуже, чем во время "черты", – решила баба Поля.

Тут кто-то (вполне возможно, что кто-то из приезжих комиссаров) подсказал ей выход: подарить дом советской власти. Так как в нем было также торговое помещение плюс кое-какой товар еще оставался, то баба Поля могла получить за него небольшую компенсацию. Но самое главное: она и вся ее семья переставали быть лишенцами. Баба Поля оформила дарственную на дом, получила деньги, сказала комиссарам:

– Золт ир эйнэр дэм андэрен айншлинген ун эйнэр митн андэрен зих дэр вэргн ("Чтоб вы друг друга проглотили и друг другом подавились"), – и семья уехала в Москву. Там, в Черкизово, тогда еще деревне на окраине Москвы, у них жила дальняя родня, которая обещала помочь устроиться. Так моя прабабушка, бабушка и ее еще остававшиеся в советской России сестры оказались в Москве.

А что с этими комиссарами стало в 37-м году, можете себе представить. Очень возможно, что проклятие бабы Поли сбылось, и комиссары-таки сожрали друг друга.

#### 4

Моя бабушка и тетя Рахиль вышли замуж уже в Москве. А вот их старшая сестра Маня переехала туда из Шаргорода с мужем и дочерью. Маня была красавицей, но с детства прихрамывала. За ней долго ухаживал сын арендатора шаргородской мельницы – одного из самых богатых людей



местечка, – но когда стал свататься, баба Поля разрешения на брак не дала.

– Не пара ты ему, – убеждала она дочь. – Ты красавица, но хромоножка. И из простой семьи. Кто мы? Мы – мелкие торговцы, а он – настоящий меюхес (знатный еврей), окончил Киевское коммерческое училище... Ничего хорошего из этого не выйдет.

Но потом сдалась, уступила.

Тетя Маня и ее муж прожили вместе лет тридцать, у них уже, кажется, даже внуки родились, а потом он ушел к другой. Баба Поля, торжествуя стуча своей палкой, бегала по квартире и повторяла:

– Я предупреждала! Я предупреждала!..

Большинство этих семейных историй я услышал от бабушки, мамы и ее брата, моего дяди, много позже, когда бабы Поли уже не было в живых. Но саму бабу Полю хорошо помню с тех самых времен, когда начал сравнивать ее с единицей, еще до того, как пошел в школу. Мы жили тогда в огромном многоквартирном деревянном доме с балкончиками, галереями, множеством неизвестно куда ведущих лестниц, как на гравюрах Эшера, и большим внутренним двором, в котором вешали белье, забивали "козла" и играли в футбол.

В доме жили, наверное, семей тридцать, и среди них, до начала шестидесятых годов, – магазинные воры. Когда они "брали" продуктовый магазин, то щедро делились добычей с соседями. Одно из моих самых ярких детских воспоминаний: как меня, трех– или четырехлетнего, позвали к накрытому посреди двора столу, на котором стояли бутылки с лимонадом. Бабушка Таня, увидев это с галереи нашего третьего этажа, крикнула мне:

– Не вздумай пить, это ворованное!

Но как только она ушла, один из взрослых, сидевших за столом, быстро налил мне в стакан лимонад и подмигнул:

– Пей, не бойся!

И я выпил. Соблазн был слишком велик.

Я не заметил, что с галереи на меня смотрела баба Поля. Она-то и выдала меня бабушке, которая задала мне потом серьезную трепку.

Предательницу бабу Полю я решил не прощать никогда в жизни. Но из всех взрослых именно она оставалась дольше всего со мной. Через несколько лет, когда мой дядя женился и переехал к жене, отец произвел какой-то сложный обмен, и мы все вместе съехались в трехкомнатную

"распашонку" на Открытом шоссе, недалеко от леса. У родителей была отдельная комната, я спал на диване в проходной, а уроки делал за маленьким письменным столом в комнате бабы Поли и бабушки Тани. Когда бабе Поле было уже за девяносто, она упала на улице, сломала шейку бедра (вечная напасть стариков!) и с тех пор не вставала. Полулежала в постели, подложив под спину подушки, и целыми днями читала толстую, потрепанную еврейскую книгу, которую она называла "женской Торой". Наверное, "Цэна урена", упрощенное переложение Библии на идиш. Или что-то другое, точно не знаю: книга не сохранилась. Я с почтением и даже благоговейным страхом смотрел на непонятные иероглифы и на бабу Полю, которая, шевеля губами, листала книгу справа налево. При этом она ухитрялась внимательно следить и за тем, что делаю я. Мальчишка я был шустрый, с домашними заданиями справлялся быстро, и на этот случай у меня в среднем ящике стола лежала какая-нибудь увлекательная книжка вроде "Одиссеи капитана Блада". Но как только я выдвигал ящик и начинал читать, не доставая на всякий случай (вдруг зайдут родители!) книжку из ящика, баба Поля отрывалась от своего "женской Торы" и бросив презрительный взгляд в мою сторону, укоризненно качала головой:

– Пионэр!

## 5

За всю свою жизнь в Москве баба Поля ни разу не была в Шаргороде, куда мы с родителями ездили чуть ли не каждое лето в гости к деду по отцу. Ее собственных родных или ровесников, знакомых по молодым годам, там не осталось: часть умерла своей смертью, большинство погибло в гетто во время войны.

Но связь с Шаргородом баба Поля не теряла. К своей жалкой пенсии ("на пару чулок", как говорила мама) баба Поля подрабатывала тем, что помогала в Москве знакомым по Шаргороду украинкам из окрестных сел, а позже их детям, которые приезжали в Москву, на Преображенский рынок, торговать яблоками, вишней, подсолнечником. Она находила им недорогое временное жилье поближе к рынку, договаривалась о хорошем торговом месте, заказывала билеты на поезд, улаживала проблемы с милицией, если таковые возникали, – и за это получала какие-то "посреднические" деньги. Много она не брала, но и из этих денег часть откладывала, копила ("на похороны", предполагала

мама). Украинки бабу Полю очень уважали и обращались к ней почтительно: Перля Мовсевна.

Одно из семейных преданий гласило, что, когда бабе Поля исполнилось девяносто лет, она решила съездить в Шаргород. Все всполошились: хоть и крепкая старуха, но все-таки девяносто лет! А в Шаргороде даже не было железной дороги, приходилось добираться поездом до Жмеринки и оттуда – больше тридцати километров тряским автобусом по отвратительным сельским дорогам. Но баба Поля была непреклонна, да и родня понимала: хочет проститься. От сопровождающих баба Поля категорически отказалась. Сама договорилась со своими украинками, которые обещали ее встретить, посадить в автобус, и у которых она могла бы переночевать. Бабу Полю проводили на вокзал, дали трешку проводнице, чтобы та за ней присматривала, и баба Поля уехала.

Вернулась она очень скоро – уже дня через три-четыре. Никого это, в общем-то, не удивило: а что ей было делать там, в Шаргороде? Ну, пройтись по улицам, взглянуть на свой бывший дом, в селе пару дней погостить...

Телефона тогда у нас не было, и только через несколько дней, из письма, которое пришло от родных отца, мы узнали, что произошло в Шаргороде. Баба Поля сошла с автобуса, отдала чемодан встречавшей ее украинке, попросила ту подождать ее на автовокзале и пошла напрямик к своему бывшему дому, который еще стоял. Внизу, в ее бывшей бакалейной лавке, был магазинчик канцтоваров: ручек, карандашей, тетрадок, скрепок и тому подобного. Баба Поля постояла перед домом, а потом палкой, с которой она не расставалась, с размаху ударила по окну-витрине, так что осколки стекла со звоном разлетелись в разные стороны и треснули рейки, разделявшие окно на квадратики.

Из магазина выбежал продавец. Он схватился за голову:

– Вы что, с ума сошли?!

Баба Поля достала из ридикюля деньги, спросила:

– Сколько это стоит?

Отсчитала нужную сумму, отдала ошеломленному продавцу, вернулась на автовокзал и навсегда уехала из Шаргорода.

Умерла она в 1967 году, лишь год не дожив до своего столетия и всего несколько месяцев – до пышного празднования 50-летия Великой октябрьской.... короче, 50-летия советской власти, которую она так сильно ненавидела.

## Дочь миллионера

1

Среди всей нашей многочисленной родни, в которой преобладала скромная советская интеллигенция – инженеры и учителя, была одна-единственная по-настоящему богатая семья – Голековы (с ударением на первой “о”). Какова была степень нашего родства, я так никогда толком и не понял. Но не седьмая вода на киселе. Во всяком случае, их дочь Алинку, которая была на три года младше, называли моей троюродной сестрой. Да и общались мы довольно часто. Обычно ходили к ним в гости. Дом у Голековых был радужный и хлебосольный, квартира большая, гостей они принимали часто и с удовольствием.

Столь странным написанием своей фамилии, через “е” (конечно, правильно было бы Голиковы), как рассказывал дядя Сёма, глава семьи, он был обязан полуграмотному писарю воинской части на Дальнем Востоке, где он служил в армии. Выписывая дяде Сёме военный билет, по которому тот позже получал паспорт после демобилизации, писарь перепутал безударную “и” с “е”. Исправлять было хлопотно, дядя Сёма торопился уехать из своего местечка в город, поэтому так и осталось: Голеков.

Дядя Сёма был подпольным миллионером. Не таким, как увертливый Корейко из “Золотого тельца”, прятавший свои миллионы в чемодане под кроватью, а солидным, представительным мужчиной за сорок, любящим хорошо пожить, посидеть за богато накрытым столом, принять гостей, пообщаться с многочисленными друзьями.

Как богаты были Голековы, я смог представить себе только через несколько лет, когда они эмигрировали из СССР и меняли перед отъездом рубли на доллары. Тогда это невозможно было сделать легально, и они в Москве отдавали рубли, а потом в Америке им по какому-то дикому, несправедливому курсу (а что делать?) давали за них доллары. Голековы попросили мою мать (и, наверное, не ее одну) заехать в несколько сберкасс и снять деньги со сберкнижек. Были такие книжки на предъявителя: на каждую можно было анонимно, или почти анонимно, класть до десяти тысяч рублей.

Я сопровождал мать. Мы объехали на такси пять или шесть сберкасс, снимали деньги с книжек, а потом привезли

их домой. Толстенные пачки, заклеенные банковскими бандеролями, грудой лежали на обеденном столе. Мы с матерью не то, что не имели, – никогда в жизни не видели столько денег. Впечатляло!

Тетя Мира, жена дяди Сёмы, и сама зарабатывала очень неплохо. Она работала косметологом в каком-то модном салоне красоты в центре Москвы, причем косметологом очень высокого класса, Я слышал, что к ней даже специально прилетали из Баку жены каких-то министров, чтобы сделать чистку. Тётя Мира могла в такие дни зарабатывать до ста рублей, – это при средней зарплате в стране сто пятьдесят в месяц.

На деньги тети Миры они жили. То есть покупали продукты, всякие вещи, необходимые для повседневной жизни, оплачивали коммунальные услуги, бензин для машины... Деньги дяди Сёмы тратили осторожней и почти исключительно только на очень дорогие вещи: на "жигуленка", кооперативную квартиру, дублинки для дочери. Именно так: множественное число. У Алинки было три дублинки.

При всем том дядя Сёма был всего-навсего заведующим таро-ящичным складом где-то под Москвой. Мне было страшно интересно: каким образом на копеечных деревянных ящиках можно зарабатывать большие деньги? Однажды на каком-то юбилее у Голековых, когда мы с дядей Сёмой прилично выпили украинской горилки с перцем, которую он предпочитал всем другим спиртным напиткам, я спросил у него напрямую:

– Дядя Сёма, как могут ящики приносить большой доход?

Он был расслаблен, в прекрасном настроении, да и, наверное, ему доставляло удовольствие учить жизни несмышленного юнца.

– Ты бутылки сдаешь? – спросил меня дядя Сёма.

– Сдаю.

– Где?

– На Преображенке есть пункт приема стеклотары. Хожу туда, правда, нечасто: непонятно, в какие часы он открыт. И очередь там всегда огромная.

– Неужели стоишь? – не поверил дядя Сёма.

– Никогда, – честно ответил я. – Там, если сзади зайти, принимают без очереди. Но по десять копеек бутылка.

– Вот-вот, – сказал дядя Сёма. – А вообще-то полулитровые бутылки стоят двенадцать копеек, а большие – пятнадцать или семнадцать. То есть приемщик выигрывает на

каждой твоей бутылке, сданной без очереди, от двух до семи копеек. Пусть будет в среднем четыре. Ты много сдаешь?

– Конечно! Чтоб десять раз не ходить. Штук по тридцать, как скопятся на балконе.

– Вот и считай. Ты один раз сдал – и приемщик заработал рубль двадцать. А сколько таких, как ты, в день сзади заходит, чтобы в очереди не стоять? Десятку в день приемщик запросто заработает. Но!.. – дядя Сёма сделал паузу. – Заработает только тогда, когда сам сдаст эти бутылки на завод. Понял? Чтобы их туда отвезти и сдать, нужна тара. Ящички. А ящички у меня. Дефицит, как и всё у нас. Ящичков тоже не хватает...

Дядя Сёма довольно откинулся на спинку дивана. И добавил, подмигнув:

– Это только одна из возможностей. Есть и другие. И у меня на складе хранятся не только ящички.

Он был крупным, красивым мужчиной, настоящим хозяином в доме. Из-за проблем со здоровьем держал бессолевую диету, и все блюда, которые так замечательно готовила тетя Мира, были несолеными. Пальчики оближешь – но несоленые. Гостям приходилось всё солить самим.

## 2

Алинка была поздним ребенком, и родители на нее, что называется, не дышали. Они баловали ее фантастически, и, ясное дело, возможности у них имелись. Можно только удивляться тому, что Алинка выросла совсем не такой избалованной, капризной, самовлюбленной и эгоистичной, как этого можно было бы ожидать. Родителей она обожала. Она не знала тогда, что дядя Сёма – не родной ее отец. От Алинки это много лет скрывали, как скрывали и совершенно невероятную историю ее родителей. Историю, которую знали многие близкие родственники.

Дядя Сёма, приехавший в Москву с Украины, и москвичка тетя Мира должны были пожениться еще в середине пятидесятых годов, и всё уже было готово к свадьбе. Ими восхищались: какая прекрасная пара! Тетя Мира и в зрелом возрасте выглядела прекрасно: на лице ни морщинки, большие миндалевидные глаза... Склонная к полноте, она старалась держать себя в форме, что в те времена было непросто: тогда еще и слова такого – фитнес-студия – не знали, а женщину "бальзаковского возраста", которая осмелилась бы утром делать пробежку по Преображенке, за-

брали бы в психушку. Можно себе представить, какой красавицей тетя Мира была в молодости.

Так вот: как поговаривали, чуть ли не накануне свадьбы, на прощальной холостяцкой вечеринке, дядя Сёма, бывший в хорошем подпитии, в ответ на восхищенное:

– На такой девушке женишься! – хвастливо ответил:

– А куда она теперь денется?..

Тете Мире донесли в тот же вечер. Она оделась и пошла к одному из своих бесчисленных ухажеров, безнадежно в нее влюбленному:

– Хочешь на мне жениться? Я согласна.

И утром они расписались.

Когда, проспавшись, дядя Сёма пришел к ней, она его даже в дом не пустила:

– Поздно, дорогой, я уже замужем.

Дядя Сёма вернулся в Киев, там вскоре женился, у него родился сын... Тетя Мира тоже хотела ребенка, но у нее были какие-то проблемы: она ходила по врачам, ездила в Кисловодск, и только лет через семь или восемь, наконец, забеременела. И еще до рождения Алины рассталась с мужем – причем по ее инициативе. Якобы она сказала ему что-то вроде:

– Твоя миссия окончена. Ребенка буду растить сама.

Самой не пришлось. Дядя Сёма, узнав о том, что она разошлась с мужем, прилетел в Москву, встретился с тетей Мирой, после разговора с ней вернулся в Киев, развелся со своей женой, и они с тетей Мирой расписались. Все это было сделано стремительно, еще до рождения Алины. Дядя Сёма всегда любил ее как родную дочь, да и был ее настоящим, а не биологическим, как принято говорить сегодня, отцом. Тот, кстати, куда-то сгинул, и Алинка, по-моему, с ним даже никогда не встречалась. Кажется, и не горела особенно.

Она училась со мной в одной школе, хотя и на три класса ниже, и родители просили, чтобы я "присматривал" за ней. Что я, конечно же, не делал: нужна мне еще какая-то пигалица! Младшие классы вообще сидели на другом этаже, так что мы даже на переменах не встречались. Пару раз я провожал – или, точнее, сказать, сопровождал – Алинку домой из школы, благо жили они недалеко. Делал это, надо сказать, не без удовольствия: тетя Мира в таких случаях готовила обед и на меня, а хозяйкой и поварихой, как я уже сказал, она была прекрасной.

От Алинки тех времен самым ярким моим воспоминанием осталось то, как она ела бутерброды с икрой. Алинка брала батон, разрезала его поперек, намазывала поперечный разрез маслом, сверху красной икрой и только тогда отрезала собственно бутерброд – тонкий кусочек хлеба, уже намазанный маслом и икрой. Она объясняла это так:

– Если сразу тонко резать хлеб, он будет крошиться, когда я его стану мазать маслом. А толсто я резать не хочу.

Она, как и ее мама, тоже была склонна к полноте и старалась мучного много не есть.

Училась Алинка очень хорошо и мечтала стать детским врачом. Но времена для девочки-еврейки, выбравшей этот путь, были плохие: государственный антисемитизм достиг в середине семидесятых годов такого размаха, которого не было, наверное, со времен смерти Сталина. Евреев в медицинские вузы не брали даже в провинции, не говоря уже о Москве.

Алинка отлично подготовилась, у нее были репетиторы, Голековы за большие деньги нашли блат... Ничего не помогло. На устных экзаменах заваливать ее было сложно, но за сочинение поставили двойку ("тема не раскрыта") – и всё, провалили. А посмотреть сочинение было невозможно: к апелляции не допустили.

Кстати, аналогичная практика была тогда не только в медицинских вузах. Со мной на факультете прикладной математики в МИИТе учился человек десять евреев, которые таким образом не прошли на мехмат МГУ: математику и физику сдавали на отлично, а потом получали два за сочинение.

### 3

В медицинский институт Алинка поступала трижды, причем в третий раз сдавала вступительные экзамены, уже учась в техническом вузе на факультете электронно-вычислительной техники. Пошла она туда без особой охоты, но настояли родители: хорошая профессия, с перспективой, востребованная, всегда и везде можно найти работу.

Между прочим, деньги за несостоявшиеся поступления в медицинский (как мне по секрету рассказала Алинка, десять тысяч рублей, стоимость машины "Волга") Голековым каждый раз аккуратно возвращали: блат был честный.

После третьей попытки дядя Сёма сказал:

– Всё. Здесь тебе жизни не будет. Закончишь институт – уедем в Америку.



Сама Алинка в эмиграцию не рвалась. Она понимала, что врачом там тоже не станет, все друзья у нее оставались в Москве, а главное: у нее был в то время страстный роман со своим бывшим одноклассником – блондином-сердцеядом. Ее родители блондина, что называется, на дух не переносили. Был он, в самом деле, балабол и разгильдяй, но, в общем-то, парень неплохой, и Алинку, похоже, любил.

Я как раз вернулся после службы в армии, и родители Алинки вызвали меня на серьезный разговор. То ли считая, что я являюсь для Алинки авторитетом, то ли совсем отчаявшись как-то на нее повлиять, они попросили меня поговорить с ней и убедить ее расстаться с блондином. Я сочувственно кивал головой, но делать ничего не стал. Да и не послушалась бы она меня.

Блондин отпал сам, нашел себе другую. Алинка была в отчаянии, рыдала, а Голековы благодарили меня. Я не стал их разочаровывать.

Мужа они нашли дочери сами – дельца с прозрачными глазами, который не понравился мне сразу, с первой минуты. Но он проворачивал какие-то большие дела, очень хорошо зарабатывал, отец у него был директором подмосковного санатория, а мама работала врачом в какой-то элитной поликлинике. Это определило выбор дяди Семы и тети Миры. Кроме того, идея с эмиграцией пришла к нему по душе.

Они поженились. Алинка быстро забеременела. Беременность она переносила плохо, а муж говорил:

– Ну, что ты мучаешься? Давно бы аборт сделала.

Алинка сделала аборт, но и после этого ее семейная жизнь лучше не стала. Ее родители, кажется, поняли, какого негодяя сосватали дочери, и развели их.

Алинка с отличием окончила институт, параллельно уча английский – аккуратно и серьезно, как она делала все в жизни. Голековы подали документы на выезд и довольно быстро уехали – не то до московской Олимпиады, не то сразу после нее.

В Америке Алинка освоилась очень быстро. Начала работать программистом, потом открыла собственный небольшой бизнес, адаптируя громоздкие бухгалтерские компьютерные программы к условиям конкретных средних и малых фирм. То, что им не нужно было, отсекалось. Алинка приобретала лицензии на "генеральные" бухгалтерские программы оптом, поэтому они обходились ей дешевле. А

фирмы-заказчики платили за адаптированные варианты хорошо: такие программы были существенно проще и понятней, и не требовали дорогого и долгого обучения сотрудников. Так я, во всяком случае, понял из писем Алинки.

Тетя Мира тоже быстро устроилась на работу – в салон красоты, принадлежавший выходцам из СССР. Публика, конечно, была не та, что в Москве, но зарабатывала тетя Мира по эмигрантским понятиям неплохо.

А вот для дяди Сёмы эмиграция обернулась катастрофой. В Москве он был король, хозяин, добытчик, всё в доме делалось, как он хотел, включая еду без соли, а в Америке его таро-ящичные таланты негодились. Потерю социального статуса он переживал очень сильно. Так и не смог выучить английский язык, в общем, кажется, и не пытался. Ходил за покупками в русские магазины, читал эмигрантские газеты, смотрел на видео старые советские фильмы... И даже в автомастерскую ему приходилось брать с собой Алинку, иначе он и объясниться бы не смог.

Дядя Сёма быстро сдал. Отчасти он утешался тем, что уехали ведь ради дочери, а она-то, как он себе представлял, полностью реализовалась в Америке, у нее-то было отлично. Голековы жалели только, что Алинка так и не вышла замуж, не родила им внуков.

Однажды она написала мне, что второй раз в жизни (первый был из-за блондина-одноклассника) крупно поскандалила с отцом. Она сказала ему, что решила бросить компьютерные дела, продать свой накатанный бизнес и заняться чем-то совершенно другим – например, дизайном. Или открыть кафе. Дядя Сёма схватился за голову:

– Как?! Такое хорошее дело, столько денег приносит, – и бросить ради какой-то блажи!.. Ты с ума сошла!

"Но я его не послушала", – написала мне Алинка.

Это был странный бунт. Обычно против родителей бунтуют в пятнадцать лет, а ей было за пятьдесят. Поздно, конечно, но Алинка сделала свой выбор; она стала жить своей собственной жизнью, не той, которую долгие годы определяли для нее любящие ее родители.

Мне показалось, что дело было не только в деньгах и не только в блажи. По каким-то не слишком ясным намекам в редких письмах Алинки я сделал вывод (возможно, впрочем, и ошибочный), что причиной скандала стала также ее подруга, с которой они вместе и открыли кафе. Насколько близкая подруга, – мне трудно судить.

Почтовая переписка наша шла вяло, и мы охотно перешли на лаконичный язык “фейсбука”. Я не видел Алинку больше сорока лет. Она превратилась в стильную, элегантную женщину. Выглядит – и явно без фотошопа – намного моложе своих лет. Коротко подстриженные седые волосы, экстравагантные дизайнерские очки...

Жалеет ли она, что не стала педиатром? Глупый вопрос. Поэтому я его и не задаю.

## Долг банку и долг Всевышнему

*(Из книги «Пришельцы в иудейском зазеркалье»)*

Одной из ярких личностей йешивы был Соломон. «Какой светлый человек этот Соломон, – думал тогда Семён, – как луч в тёмном царстве!». Соломон, еврей из Грузии, лет сорока, в сандалиях, высокий и худощавый, с длинной бородой и орлиным носом, был на редкость радушным человеком, даже подчёркнуто радушным. Он очень резко выделялся на фоне вечно угрюмых и не здоровающихся бывших ленинградцев и москвичей средних лет, в прошлом отказников, – "костяка" русскоязычной иерусалимской йешивы. Те смотрели на Соломона с плохо скрываемой неприязнью. Тоже, видишь ли, культуре поведения поучать нас будет, грузин грёбаный! Но Соломон как будто ничего не замечал. Или делал вид. Всегда громко здоровался, с улыбкой от уха до уха, демонстративно открывал настежь входную дверь в йешиву, широким жестом пропуская перед собой коллег, но главное – совершенно безвозмездно занимался со студентами, которые сильно нуждались в учителе. Он тратил на них каждый день целые часы, вместо того, чтобы посвящать время собственной учёбе. А учиться он умел. И преподавать тоже. При виде его некоторые ленинградцы вместо приветствия, казалось, втягивали шею в туловище, желая провалиться сквозь землю.

В течение нескольких лет добровольным подопечным Соломона был Булат – пухлый низенький еврей лет за 50; весёлое выражение на его лице периодически сменялось кислой миной. Булат, приехавший из Тбилиси, был земляком Соломона. Казалось, эти два человека нашли друг друга – вместе они всегда выглядели весёлыми и радостными. При виде Соломона кислая мина исчезала с лица Булата, и с него не сходила довольная улыбка.

Соломон с Булатом читали Талмуд на иврите, а Соломон переводил и объяснял Булату по-грузински. В перерывах они что-то бурно и весело обсуждали на этом языке, звучащем, как дробь автомата. Семёну всё это очень нравилось. А ленинградцы терпели молча.

С Булатом Семён был в доверительных отношениях, тот приглашал Семёна на шاباتы к себе домой, подолгу рас-

сказывал душещипательные истории из своей жизни, которые гость внимательно и с интересом слушал, но Булату не льстил, а говорил то, что думает. Настоящим людям такая реакция всегда нравится, ведь честность слушателя доказывает, что интерес к рассказчику был неподдельным.

Однажды на уроке Галахи проходили законы запрещённой ноши в шабат. Интеллигентный и сердечный раввин из Швейцарии объяснял, что носить в шабат можно только одежду, и только тогда, когда она служит "одеждой", а не "ношей". А вместо шапки надеть, например, на голову кастрюлю – нельзя, даже если ты это делаешь за неимением другого головного убора.

Тут Булат оживился.

– Недавно я в пятницу ходил в бассейн, плавать. Когда одевался, заметил, что пропала моя кипа. Как ни искал, да и другие люди помогали мне в этом, – я её не нашёл. Наверное, украли. Но не пойду же я без кипы! И нацепил я себе на голову полиэтиленовый пакет, который нашёл в раздевалке. А если бы это со мной произошло в шабат, я бы мог ходить по улице с таким пакетом на голове, или же должен был бы идти с непокрытой головой?

– Это всё равно, что нацепить кастрюлю. Это не одежда, это ноша. Пришлось бы ходить без головного убора, – ответил раввин.

Булат очень возбудился. Никак его душа не могла принять этот псак<sup>1</sup>, что в подобной ситуации надо ходить по улице как гою, с непокрытой головой. Ещё несколько раз в течение урока он задавал свой вопрос, но раввин терпеливо повторял тот же ответ.

На следующий день урок Галахи начался возбуждённым вопросом Булата:

– Ну, и на самом деле: если бы я в микве в шабат потерял кипу, я бы не имел права нацепить на голову пакет?!

– Послушайте, реб Булат, вы уже вчера несколько раз задавали этот вопрос. Не хватит ли? Надо же знать меру! – раздражённо выпалил Семён.

У Булата в глазах заиграла острая обида, но он сдержался и ничего не ответил.

Как гром среди ясного неба грянула дурная весть: Соломон развёлся. Семён недоумевал: такая дружная семья, славная жена и неповторимый в своём благородстве и ве-

---

<sup>1</sup> Псак (иврит) – раввинское постановление.

сёлом нраве Соломон. Ленинградцы недоумевали: "Уж не сглазили ли мы его?"

Семён, в бытность свою неженатым студентом, не раз бывал в семье Соломона на шабат, и всегда восхищался радушием хозяев и доброй атмосферой, царившей в их доме. Однажды Семён рассматривал книги в библиотеке Соломона, и его внимание привлекла книга рава Таубера "Тьма перед рассветом".

– Соломон, можно взять почитать эту книгу? – спросил Семён.

– О чём речь, азиджан? Только не "почитать", а я дарю её тебе! – ответил Соломон. А на исходе субботы написал на книге посвящение: «Дорогому Семёну с наилучшими пожеланиями, до 120 лет! От Соломона грузинского». Семён был даже несколько смущён.

После того, как Семён узнал о разводе Соломона, он обратился к Булату с вопросом:

– Реб Булат, как с Соломоном могло такое произойти?

– Я не знаю; никто не знает и не понимает. Это она потребовала развод. Ничем не мотивируя. Соломон плакал, умолял её. Наверное, она – яркая личность, и ей надоело, что её муж не раввин никакой. Он ведь честный парень, не то, что эти карьеристы ленинградцы. Никогда не стремился сделать карьеру; вечно помогает разным юродивым, веселит йешиботников. В общем, шут гороховый. Это то, что я предполагаю о том, что она думает. Ты же знаешь, я о нём совсем другого мнения, он мой лучший друг, поставил меня на ноги...

– Ну да, я помню, он с вами долгое время учился. А что, ещё что-то было?

– Смотри, когда я приехал в Израиль, я был только на самой начальной стадии тшувы<sup>1</sup>. А моя жена вообще не была религиозной. Я к иудаизму-то стал приобщаться ещё в Тбилиси, когда был атеистом. А дело было так. Дома нечего было кушать, начались тяжёлые перестроечные времена, и я потерял работу ведущего инженера, а жена, лучшая преподавательница математики в городе, раньше прибыльно подрабатывала частными уроками, а теперь у людей просто больше не было денег платить. В советское время у нас на столе всегда была красная икра, а потом

---

<sup>1</sup> Тшува (иврит) – раскаяние, возвращение еврея к религии предков, к еврейскому традиционному религиозному образу жизни.

стали жить впроголодь. И зачастил я к своему брату на шабаты. Он тогда уже несколько лет как был религиозным, и ему из Америки филантропы посылали кашерные продукты. Приходил просто чтобы покушать. И так – через желудок – я стал приобщаться к религии.

– А жена ходила на шабаты?

– Нет, не ходила. Так вот, и в Израиль мы решили переехать с голодухи. Когда мы приехали, нам было страшно тяжело. Жена, учитель математики, мыла подъезды. Никак не получалось у неё усвоить иврит. А я ошивался то там, то здесь. Соломон меня спас, опекал меня, ходил всюду со мной, устроил в йешиву. Без него я бы сошёл с ума. Да... Вот что я забыл: в тот период меня ужасно мучил страх смерти: я отчётливо осознавал, что меня ждёт наказание "карет" – отсечение души, а я очень хотел жить. Ещё в Тбилиси, когда я начал делать тшуву, мне рав Айземан из Америки сказал, что я должен уйти из дома, я не имею права продолжать жить со своей женой. Я ушёл к брату, а тот мне сказал: «Ты выдержишь несколько дней, а потом полезешь на стенку. Возвращайся домой и надейся, что придёт время, и твоя жена тоже сделает тшуву».

– Послушай, Семён, таких, как ты, надо отстреливать! Ты живёшь не по понятиям! – заявил однажды Булат.

– А что такое? – недоумённо отреагировал Семён.

– Вот, посмотри. Почти все аврехи<sup>1</sup> нашей йешивы уже давно перешли в "колель усиленного питания", а ты всё ломаешься, как принцесса!

Руководство йешивы, постоянно страдавшее от финансовых трудностей, постигла большая удача. Еврей-миллиардер предложил проект: открыть при йешиве двухгодичные курсы будущих раввинов, учителей и лекторов – лидеров русскоязычных еврейских общин по всему миру. За это религиозный миллиардер будет платить студентам двукратную стипендию, а раввинам-преподавателям – трёхкратную зарплату. Обязательным условием для принятия студента на курсы должно быть его письменное обязательство по окончании курсов отработать по специальности два года.

Руководство йешивы смекнуло, что эти курсы – наилучший способ отыскать средства для выплаты стипендий

---

<sup>1</sup> Аврех – женатый студент йешивы или колеля (учебного заведения для семейных евреев).

своим женатым студентам. Поэтому, прежде чем набирать людей "с улицы", оно принялось активно агитировать поступить в этот "колель усиленного питания" своих же аврехов. Долго агитировать не пришлось, ведь это предприятие со всех сторон выглядело как бриллиантовая жила: и деньги получишь, и диплом раввина-лектора-учителя; – в общем, как в сказке. Только одно "но": в договоре студент подписывался под тем условием, что, если по окончании курсов сам не найдёт соответствующую работу, он будет обязан согласиться на такую, какую ему предложат миллиардер и его контора. Что-то вроде распределения, которое практиковалось после окончания советских вузов. На первый взгляд, даже очень мило. Чем плохо работать раввином, учителем, лектором? И притом тебе подносят эту работу "на блюдечке с голубой каёмочкой"!

– Реб Булат! – отреагировал Семён. – Вы хотите сказать, что я выпендриваюсь, делаю всё специально наоборот. Но я сделал простой расчёт и увидел, что при любой раскладке буду проигравшим. Через два года меня пошлют – в буквальном и переносном смысле – куда-нибудь в Магадан руководить там общиной. Но общину прежде всего надо будет создать на месте самому. Если местных евреев (если вообще они там есть) привлечь не удастся, то поступит негласный приказ от начальства: достань людей хоть из-под земли! Что между нами, девочками, означает: хоть иудайзируй местных чукчей и иже с ними; преврати в людей белых медведей, а потом и их тоже иудайзируй! Одним словом, продай свою душу дьяволу и поступишь запретом Торы заниматься миссионерством. И не забывайте, реб Булат, что обратного пути у меня уже не будет, потому что, по договору, я буду обязан везти с собой в Магадан и жену, и детей. И если я не оправдаю надежд, то мне прекратят платить зарплату, и тогда уже за свои деньги я должен буду везти семью обратно в Израиль. Представьте себе, какая досада и разочарование, волокита и неудобства! Ведь перед отъездом из Израиля мы отовсюду должны будем выписаться – из хедера<sup>1</sup>, детского сада, школы, где учатся дети, даже из больничной кассы, и так далее. Придётся опять начинать жизнь сначала. Каково в этой ситуации будет искушение пойти на сделку с совестью и согласиться заниматься распространением Торы среди неевреев?!

---

<sup>1</sup> Хедер – еврейская религиозная начальная школа.



– Семён! Ты мне напомнил советский анекдот: «Чукчи послали письмо Брежневу с жалобой по поводу того, что о них рассказывают анекдоты. От правительства пришёл ответ: "Дорогие товарищи чукчи! Теперь вы будете называться не чукчи, а евреи-оленеводы"».

Семён засмеялся:

– О да! Очевидно, создатели этого анекдота пророчески предвидели сегодняшнюю ситуацию. Все ребята, думаю, понимают то, что я вам сказал, но верят, что их пожалеют и по окончании курсов оставят в йешиве – просто переведут обратно из "колеля повышенного питания" в "колель скудного". А для проформы, для отчёта перед спонсорами устроят их читать какие-то лекции, вроде тех, с которыми я выступаю перед пожилыми советскими евреями. Но чую я, что на самом деле будет не так. И уж во всяком случае, не с теми, кто не склонен "лизать начальству". А если уж кого-то и оставят, так подумайте же, унижение какое: над тобой смилостивились! – и теперь, будь добр, смирись и будь кроток и благодарен до скончания жизни! Противно. Куда ни погляди – проигрышный вариант.

– Но ведь надо же что-то кушать! – парировал Булат. – Деньги же не валяются с небес!

– Если Всевышний захочет, то свалятся и с небес!

Прошли годы. Семён частенько вспоминал разговор с Булатом о том, что деньги не валяются с небес. Неужели Булат был прав? Работу, которая была у Семёна в раввинате – не жирное, но неплохое подспорье к его жалкой колельской стипендии – он потерял. Долг банку и кредитным компаниям стремительно рос. Банковский счёт и кредитные карточки буквально трещали по швам, но Семён старался не паниковать: он верил, что Всевышний поможет.

В один прекрасный день Семён понял, что другого выхода нет: он пошёл в банк и попросил, чтобы ему увеличили разрешённый "минус".

В пятницу после утренней молитвы Семён заметил на столе в синагоге новую, недавно изданную книгу. Обычно, увидев новую святую книгу, он брал её в руки, раскрывал на середине и смотрел, что там написано. Так он поступил и в этот раз. Семён прочитал следующее: у одного авреха в банке был минус размером в 40 тысяч шекелей. Он решил, что будет отделять десятину – маасэр, ибо Тора обещает, что у того, кто отделяет маасэр, не будет материального недостатка. В течении года "минус" в банке у этого авреха

непонятным образом улетучился. Семён решил последовать его примеру: ведь ввиду стеснённых обстоятельств отделять маасэр он прекратил.

В праздник Шавуот Семёна, по пути домой после утренней молитвы, остановил незнакомый ему еврей.

– Я слышал, что ты работал в раввинате, проверял происхождение выходцев из бывшего Союза, которые собираются регистрировать брак. Может, у тебя на приёме были потомки знаменитого каунасского раввина Шапиро?

– Нет, не было. А что такое? – спросил Семён.

– Понимаешь, я занимаюсь поиском его рукописей по всему миру. Кое-что я чудесным образом уже нашёл и издал. Но этого мало – большая часть его рукописей пока ещё не найдена. Среди изучающих Тору сегодня – огромный интерес к его книгам.

– Знаешь, если буду в Каунасе, спрошу там прихожан в синагоге. Ведь это совсем недалеко от моего родного города – Риги, а там я рано или поздно буду. Как твоя фамилия?

– Бамбергер. Я живу недалеко от тебя. Хаг sameах<sup>1</sup>!

– Хаг sameах!

Через несколько лет Семёна пригласили в Ригу – проверить происхождение кантора синагоги, по поводу которого появилось подозрение, что он не еврей.

Жена Семёна Инна была беременна. На день отъезда у неё был назначен приём у гинеколога. Семён не придавал этому большого значения: ведь приём в 10 утра, а отлёт в 17.50. После утренней молитвы Семён пошёл покупать еду в поездку, но примерно в 10.30 раздался звонок жены в слезах:

– Врачиха говорит, что у плода нет сердцебиения. Чтобы знать точно, жив ли он, надо делать ультрасаунд.

Семён попытался хоть немного успокоить жену и побежал в городскую поликлинику, где уговаривал работников принять их сегодня без очереди. Он объяснял ситуацию, показывал свой билет на самолёт, но всё тщетно.

Когда Семён прибежал домой, Инна его уже ждала.

– Быстро едем в больницу! – выпалил Семён.

– А как же твой полёт?

– Не имеет ни малейшего значения. Сейчас полёт – самое последнее дело.

---

<sup>1</sup> Хаг sameах! (иврит) – весёлого праздника!

Семён быстрыми движениями положил в рюкзак талит<sup>1</sup> и тфилин<sup>2</sup>, и бросил туда же несколько бананов на всякий случай, – хотя ему слабо верилось, что он всё же сможет улететь. Паспорт и билет были у него в кармане пиджака. А чемодан с вещами остался дома.

Приехав в больницу, они дождались своей очереди на ультрасаунд довольно быстро, но это было только полдела: своё заключение должен был дать врач. А очередь к врачу, как назло, двигалась очень медленно. Внезапно врач вышел, и на долгое время приём прекратился. Люди забеспокоились, стали выяснять, что происходит. Им объяснили: смена закончилась, должен прийти другой врач. Ожидание, казалось, длилось вечно.

Наконец, пришёл новый врач, и подошла очередь Инны. Семён уже в принципе забыл про свой полёт – успеть на рейс теперь казалось никак невозможным.

Врач посмотрел результаты ультрасаунда, сделал в своём кабинете повторный ультрасаунд, и его заключение было неумолимо: плод мёртв. Когда убитая горем пара вышла из кабинета, было без пятнадцати пять. Семён с Инной направились к выходу из больницы. Внезапно Инна остановилась:

– Мне нужно в туалет.

Когда она возвратилась, минут через пять, их окликнул идущий к выходу сосед Юра – больничный врач, живущий от них неподалёку.

– Вы домой? Тогда могу подвезти.

Семён с Инной последовали за ним и сели в машину.

– Сегодня я решил испытать новый маршрут. Обычно на выезде из Бней-Брака огромные пробки, но мне недавно объяснили, как их избежать. Делаю это впервые, поэтому если что-то выйдет не так, заранее извиняюсь, – сказал Юра.

За считанные минуты они выехали из Бней-Брака, и уже через 10-15 минут с левой стороны показались самолёты, стоявшие на аэродроме. Семён понял, что они проезжают аэропорт, но тут же отогнал от себя еретическую мысль, возникшую на доли секунды. «Не могу же я оставить жену в

---

<sup>1</sup> Талит, талит-гадоль – четырехугольное покрывало, к которому привязаны цицит ("нити видения"). В него евреи укутываются во время утренней молитвы.

<sup>2</sup> Тфилин – филактерии.

такой тяжёлый момент», – подумал он. Внезапно Инна, до этого молчавшая, обратилась к Юре:

– Мы рядом с аэропортом?

– Да, – ответил ничего не подозревавший Юра.

– А вы бы не могли посадить моего мужа в аэропорту? – спросила Инна.

– Да, конечно, через несколько минут.

– Инна, ты уверена, что поступить надо именно так? – спросил Семён.

– Да! – был её ответ.

Когда Семён проходил таможенную проверку, часы показывали 17.20. Благо, в тот период люди, которые зарегистрировались на рейс заблаговременно через интернет, могли проходить проверку отдельно от остальных. А поскольку эта услуга была относительно новой, большинство людей ею тогда еще не пользовались. И Семён прошёл эту процедуру за несколько минут.

Когда Семён покупал билет по телефону в агентстве по продаже авиабилетов, служащая его предупредила: «Зарегистрируйтесь заранее в интернете. Иначе вас могут даже не посадить на рейс. Балтийская авиакомпания на всё способна». Раньше Семён такого не делал, но на сей раз последовал её совету, и это его выручило: стойка регистрации на его рейс давно уже была закрыта. У открытой стойки на паспортный контроль тоже очереди не было.

Когда он подошёл к воротам на рейс, посадка была в разгаре. Семён решил, что у него есть ещё несколько минут, и купил две пачки кашерных пит по баснословной аэропортовской цене: ведь, быть может, это послужит его основной едой в Риге.

Утром в рижском аэропорту Семёна встретил представитель еврейской религиозной общины и отвёз его в гостиницу. Семён решил не терять времени зря и сказал сопровождающему:

– Я хочу начать работу немедленно; организуйте мне встречу с кантором. Скажите ему, чтобы на встречу взял все советские документы, которые у него есть.

Без большого труда Семёну удалось выяснить, что и на самом деле кантор не еврей – сын еврея и русской женщины. Семён привык к делам намного более сложным, но в Риге, по-видимому, прикидывающиеся евреями ещё не научились так искусно врать, как они это делают в Израиле.

Этот кантор, назовём его Владимир Мульман, в детстве обожал отца, а мать не любил. В 16 лет, получая паспорт,

он записался евреем – по папе, которого безумно любил и поэтому себя тоже считал евреем. В российской консерватории, где Мультман учился на вокальном отделении, его внимание привлекло объявление о наборе на курсы синагогальных канторов. Шли горбачевские времена. С детства любил Мультман еврейскую музыку, и, окрылённый, он направился по указанному адресу и заполнил там анкету. Через некоторое время, неожиданно для себя, он получил отказ: в анкете он честно написал, что его мать – русская. Ведь не знал же тогда Мультман, что, по еврейскому Закону, он не считается евреем. А синагогальный кантор по Закону не может быть неевреем.

Отказ стал для Мультмана тяжёлым ударом, но из этой истории он извлёк для себя "сермяжную правду": понял, что отныне должен скрывать то, что его мать – не еврейка.

Закончив консерваторию, Мультман поступил в аспирантуру, по окончании которой вернулся в Ригу. Хотя он был успешным вокалистом, в оперу его не тянуло: Мультман чувствовал, что это "не его". Больше тянуло к камерной музыке, а в особенности – еврейской. Он пошёл в синагогу и сказал раввину, что хочет учиться на кантора. Раввин подумал: «У нас канторы – старики, скоро уйдут на тот свет, а тут с Небес поступила замена». Но всё же он спросил Мультмана:

– А ваша мама – еврейка?

– Да, конечно, у меня оба родителя – евреи.

– А как девичья фамилия вашей мамы? – спросил раввин.

– Морозова, – честно ответил Мультман.

Раввин немного засомневался, но ему показалось, что он когда-то знал еврейскую семью с фамилией Морозовы. На этом проверка еврейского происхождения Мультмана завершилась. Начала сбываться его давняя мечта – стать исполнителем еврейской сакральной музыки...

Работа была закончена, кантор-нееврей разоблачён, но до отлёта оставалось ещё несколько дней. «Чем чёрт не шутит, может, съездить в Каунас?» – подумал Семён, вспомнив разговор с Бамбергером.

В Каунас поезд прибыл рано утром, и Семён сразу же направился в синагогу. После утренней молитвы Семён подошёл к высокому молодому мужчине, который, как ему показалось, был там центральной фигурой, и спросил:

– Извините, я помню, что тут у вас была гниза<sup>1</sup>. На каком этаже она находится?

– Да нет, это всё в прошлом. Покойный раввин Карпман всё ценное, что было в ней, оттуда вынес. Часть книг, очевидно, успел продать, а часть оставалась в его кабинете. Но когда мы после его смерти взломали дверь, то обнаружили, что книги истлели – кабинет был на верхнем этаже, и его залило дождями. Всё, больше нет ничего.

– А, понял, – сказал Семён.

Он осмотрелся. Ему показалось, что на женской галерее, которую снизу частично было видно, есть какая-то выставка. Он поднялся на второй этаж и понял, что не обманулся. Под стеклом лежали старые, довоенного выпуска, книги раввинов Литвы. Всё было оформлено, как музей, и Семён обратился к находившемуся там хабаднику:

– Я смотрю, тут у вас целый музей. Молодцы! Кто это всё устроил?

– Мы, хабадники. А книги мы нашли в синагогальной гнизе.

– А что, гниза еще существует? – спросил Семён.

– Да, конечно. Только ключи от неё у нас забрали, когда правление выгнало нас из нижних помещений синагоги, – с грустью сказал хабадник.

– А где эта гниза находится?

– На самом нижнем, полуподвальном этаже.

– А у кого ключи?

– У Кремерова, нового раввина. Я с ним не в ладах.

С прозелитом Кремеровым Семён был знаком. Но на утренней молитве в синагоге он его почему-то не заметил. Семён метеором ринулся вниз по лестнице. Внизу стоял Кремеров, который уже собирался уходить.

– Здравствуйте, я слышал, тут у вас есть гниза? – начал Семён без предисловий.

– Да-да, я давно уже хочу все эти книги из гнизы похоронить на кладбище. Думаю, что там, наверное, ничего ценного нет. Мне нужны эти помещения для уроков, а обветшалые книги занимают целых две комнаты, к тому же от них страшно несёт плесенью.

– Послушайте, книги пока не выбрасывайте. Я на два дня остановился в Каунасе, за это время я их отсортирую.

---

<sup>1</sup> Гниза (гениза) – помещение/хранилище, куда складывают вышедшие из употребления святыне еврейские книги и тексты.

То, что можно похоронить, я отложу отдельно, а то, что, может быть, имеет какую-то ценность – отдельно, – предложил Семён.

– А, спасибо, это идея, – ответил Кремеров.

– Вы бы не могли дать мне ключи от гнизы? – спросил Семён.

– Да, пожалуйста, – Кремеров протянул Семёну связку. – Если найдёте книги, которые вам понравятся, можете взять их себе.

– Спасибо. Где дверь гнизы?

– Вот здесь, – показал Кремеров.

Семён немедленно приступил к работе. Ужасный смрад, царивший в гнизе, его не остановил. В бешеном темпе, как угорелый, он вытаскивал книгу за книгой и поверхностно листал её, ища записи на полях. Он знал, что ищет: Бамбергер рассказал ему о том, что раньше раввины оставляли свои комментарии на полях фолиантов Талмуда и других святых книг, которые они изучали. При этом они могли несколько не думать о публикации: просто письменное изложение своих мыслей в процессе учёбы помогало лучше понять изучаемый материал. Семён понимал, что его время ограничено и поэтому не проверял методично книгу за книгой, а вынимал их выборочно, по наитию. Уже в первые полчаса Семён набрёл на здоровенный том Талмуда, исписанный размашистым раввинским почерком. Не мешкая, Семён быстро, но внимательно пролистал фолиант, страницу за страницей, и вырвал все листы, на полях которых были комментарии, а саму книгу отложил в сторону. Вскоре в руки Семёна попало ещё несколько тонких книг, исписанных уже другим, аккуратным мелким почерком. Вырывать листы он не стал, а книги отложил.

Семён работал, как заведённый, до позднего вечера, сделав лишь короткий перерыв на перекус. С собой у него были израильские питы и кашерные рижские шпроты. Измождённый и вконец обессиленный, Семён заночевал в синагоге на стульях.

Назавтра, сразу же после утренней молитвы, Семён продолжил работу. Через некоторое время в его руки попался здоровенный том Талмуда, в котором комментариев не было, но ими была исписана обложка. Семён оторвал обложку и положил её к себе в сумку. Всё это он делал очень быстро. Через несколько часов Семён набрёл на книгу без обложки, в которой, при поверхностном пролистывании, обнаружил всего лишь один комментарий. И эту книгу

он тоже отложил. Стопка отложенных книг выросла до внушительных размеров.

Время заканчивалось, через несколько часов поезд. "Перед смертью не надыхаешься" – вспомнил Семён русскую поговорку, понимая, что работу надо прекращать. Все отложенные книги и вырванные листы он аккуратно сложил в свой рюкзак и в два прочных продуктовых пакета.

После молитвы Семён отдал ключи Кремерову, поблагодарил его и объяснил, каким образом он сложил те книги, которые можно хоронить, а каким – те, которые, возможно, представляют собой какую-то ценность.

– Но, в принципе, работа по сортировке книг ещё не закончена, – сказал Семён.

– Приезжайте еще, продолжите!

– Если удастся. Всего доброго! – ответил Семён.

По дороге на вокзал Семён размышлял: «Ведь это же Провидение! Сколько людей передо мной уже успели основательно порыться в гнизе и "почистить" там все ценные издания. Но они не знали, что, кроме титульного листа, проверять надо и всю книгу на предмет написанных в ней комментариев! И всё это досталось мне! А вот ещё: почему вдруг правление забрало ключи от гнизы у хабадников и передало их Кремерову? Ведь хабадники не подпустили бы меня к гнизе и на милую! Да и любой другой еврей, наверное, тоже. Только Кремеров – простой русский парень, не вполне понимающий наши реалии – был способен совершить такое. Подсознательно ведь всё это для него вроде как чужое добро. Просто чудеса какие-то! Да, но ведь ещё неизвестно, что я нашёл. Хотя это не имеет принципиального значения: даже если эти книги не имеют большой материальной ценности, я спас еврейские рукописи от уничтожения».

На следующее утро Семён уже был в Риге. Он ещё раз просмотрел найденные книги и, на всякий случай, сфотографировал страницы, на которых фигурировали рукописные комментарии. «А вдруг на таможенном контроле книги отберут?» – подумал Семён. Хотя советские времена уже были позади, Семён решил подойти к делу с максимальной ответственностью – кто знает, что может произойти? Просматривая книги, он обнаружил, что часть из них, очевидно, взял в спешке по ошибке – он не находил в них ни одного комментария.

Хотя из Израиля в Ригу Семён прилетел налегке, теперь в его багаже явно намечался перевес. Поэтому книги, кото-



рые, как ему показалось, взяты по ошибке, он оставил храниться у своего друга в Риге. «Разберёмся с ними потом!» – решил он.

Из Риги в Израиль и Семён, и книги прилетели благополучно. Первым делом Семён сообщил о находке Бамбергеру. Тот немедленно поспешил к Семёну. Едва взглянув на вырванные листы, Бамбергер, как ненормальный, стал танцевать, держа их в руках:

– Это почерк раввина Шапиро! – его счастью не было предела. – Надо срочно опубликовать рукописи!

Семён вручил ему ксерокопии вырванных листов, а затем решил поделиться радостной новостью со своими коллегами по колелю. Один из них посоветовал обратиться к представителю аукциона по продаже ценностей иудаики, Гринбергу. Семён позвонил ему и сказал, что нашёл рукописи раввина Шапиро. Гринберг ответил:

– Жаль, что ты вырвал эти листы. Это сильно уменьшает рукописи в цене. Книга, из которой ты их вырвал, где-то существует?

– Да, я взял её с собой, – сказал Семён.

– Тогда нет проблем. Можно будет так искусно вклеить листы, что никто и не заметит. Постой... В принципе, не нужно даже вклеивать! Просто вложи листы обратно в книгу. Мы придумаем версию, вроде той, что листы попали к тебе в руки в советское время, и ты их тайно переслал в Израиль, а теперь произошло их "счастливое воссоединение" с книгой, из которой они были вырваны. Ты ещё что-то нашёл в гнизе?

– Да.

– Принеси мне всё, что нашёл. Через два месяца у нас будет новый аукцион. Мы проверим всё, что у тебя есть, и предложим начальную цену. Чем ценнее книга, тем больше шансов, что цена во время торгов значительно вырастет. Поспеш, потому что мы сейчас готовим к изданию реестр книг и рукописей, которые будут выставлены на следующем аукционе. Если не успеешь, то придётся ждать ещё примерно год, когда будет следующий аукцион.

Через несколько дней Семён принёс Гринбергу все привезённые с собой книги. После экспертизы тот подтвердил, что это действительно почерк рава Шапиро, а в остальных книгах – комментарии менее известных раввинов.

– Есть шанс, что цена на аукционе за рукопись рава Шапиро поднимется даже в два раза. А за остальные книги начальная цена будет маленькая, и вряд ли она вырастет.

Слава Всевышнему, если их вообще купят. Но всё равно, я советую тебе продать их тоже, потому что так ты приближаешь эти комментарии к публикации. У нас покупают не только частные лица, но и библиотеки, и хранилища. Комментарии Шапиро, которые ты нашёл, не были раньше опубликованы?

– Мой сосед Бамбергер, который занимается его наследием, сказал, что не были, – ответил Семён.

– Тогда хорошо. А то это сильно влияет на цену.

За две недели до аукциона Семёну внезапно позвонил Гринберг. Его голос звучал обеспокоенно.

– Послушай, ты никому не давал копии комментариев?

– Подожди, надо поднапрячь память... Да, я давал соседу.

– Ну вот! Одно издательство разрекламировало в интернете, что оно готовит к изданию свежие, только что обнаруженные комментарии раввина Шапиро. Это никуда не годится. Я написал в нашей предаукционной брошюре, что продаваемые нами комментарии ранее никогда не были опубликованы. Это будет скандал. Цена опубликованных рукописей всегда в несколько раз ниже, и она на торгах, как правило, сильно не возрастает. С нашей стороны это будет обманом.

Сердце Семёна упало. Он вымолвил:

– Я поговорю с Бамбергером.

Семён позвонил своему соседу.

– Здравствуй, ты кому-нибудь давал копии комментариев?

– Да, конечно. Я же тебе сразу сказал, что наш долг – их опубликовать. Я послал их в издательство.

– Смотри, есть проблема. Прежде чем это сделать, ты был обязан посоветоваться со мной.

Семён изложил суть дела.

– Я не знаю, можно ли теперь что-то изменить. Попробую поговорить с издательством, – ответил Бамбергер.

Прошло несколько томительных дней ожидания. Наконец, позвонил Бамбергер:

– В издательстве согласились не печатать комментарии. Они не хотят, чтобы ты потерпел убыток.

Наконец, состоялся аукцион, и начальная цена книги выросла не в два, а в три раза! Прошёл примерно месяц, пока выигравший на аукционе заплатил за книгу, и Семён получил свои деньги. Он смог покрыть две трети своего долга.

Ещё через две недели в квартире Семёна раздался неожиданный звонок.

– Здравствуйте, говорит Мордухов.

– А да, да, здравствуйте! Мне говорил о вас Бамбергер. Рад вас слышать! – ответил Семён. На проводе как будто не услышали этого дружелюбного приветствия.

– Я нахожусь в контакте с наследниками рава Шапиро. Они узнали, что его рукописи продаются на аукционе, и очень недовольны по этому поводу. По непроверенным данным, книга была украдена из библиотеки в одной из литовских синагог, и вы имеете к этому какое-то отношение. Наследники хотят обратиться в полицию. Они требуют, чтобы книга была возвращена в синагогу, из которой была выкрадена. Может, я могу помочь вам прийти с ними к какому-то компромиссу?

– Я выясню этот вопрос. Если хотите, можете мне перезвонить через неделю. Всего хорошего, – Семён положил трубку. С подобным шантажом он столкнулся в жизни впервые и, не откладывая, позвонил Бамбергеру.

– Мордухов пытался взять тебя на понт. В принципе, у рава Шапиро нет наследников. Одна дочь умерла бездетной, а следы второй затерялись во время Второй мировой войны. Вся эта история придумана. И даже если у него и есть наследники, они никак не могут претендовать на книгу, найденную в гнизе. По еврейскому Закону, всё, что найдено в гнизе, является ничейным имуществом. Это во-первых. А во-вторых, рав Шапиро писал не на принадлежащих ему самому томах Талмуда, а на одолженных у других людей. Так мне рассказывали старики – выходцы из Литвы, которые удостоились видеть его при жизни. Так что при любой раскладке у наследников не может быть притязаний на этот фолиант. Очевидно, Мордухов хочет, чтобы ты ему продал книгу за бесценок. Вот и всё. А книга уже, благо, продана, так что он не сможет продолжать тебя шантажировать, – успокоил Семёна Бамбергер.

Через несколько месяцев Мордухов опубликовал статью о раве Шапиро, в которой, помимо прочего, написал о новой находке. По его версии, рукопись была найдена в одной из синагог Литвы посланником Бамбергера.

Ещё через год родители попросили Семёна съездить в Ригу, чтобы уладить их дела и привезти оттуда вещи, к которым они привыкли, в том числе толстенное одеяло из специального материала. Для этой цели он взял с собой в Ригу большой баул. Собираясь на обратный полёт в Изра-

иль, в тот же баул, не проверяя, он засунул и книги, которые оставил в Риге год назад. Семён решил: «Хотя там, скорее всего, ничего нет, пусть Гринберг проверит!»

В рижском аэропорту Семён выждал очередь, чтобы сдать баул в багаж, но оказался перевес в два килограмма. Служащая потребовала что-то вынуть. Семён машинально вынул толстый фолиант без обложки и положил его на свою тележку. Семён помнил, что в этой книге точно ничего нет: лишь какой-то комментарий был написан на обложке – её он в своё время благополучно оторвал и сдал Гринбергу. Семён вновь положил баул на весы, и теперь у служащей не было возражений.

– Теперь нормально. Но вы должны отнести ваш баул на рентгеновскую проверку, потому что он нестандартных размеров. Это в другом конце аэропорта, – сказала служащая.

Семён водрузил свой баул на тележку и быстрым шагом последовал в указанном направлении. Но на полпути его вдруг осенило: теперь ведь он может возвратить книгу в баул! Что он и сделал. Семён сдал баул на рентген, и оттуда он успешно ушёл в багаж.

Как и год назад, Семён с поклажей благополучно добрался до дома, отвёз родителям вещи, отнёс Гринбергу книги и уже почти обо всём забыл, как вдруг раздался звонок Гринберга.

– Ты знаешь, что среди новых книг опять есть комментарии рава Шапиро? Ты мне об этом не сказал.

Семён чуть не потерял дар речи.

– Как?! Не может быть!

– Там их намного меньше, всего несколько. Предыдущая книга была буквально исписана ими. Но после того грандиозного успеха, который она имела на прошлом аукционе, думаю, что у покупателей уже появился вкус, и за эту тоже можно будет получить хорошую цену!

– Что это за книга?

– Фолиант без обложки.

– Я хочу посмотреть.

– Пожалуйста, заходи ко мне.

Семён не поверил своим глазам. Бесценным фолиантом оказался том Талмуда, который он вынул в аэропорту из баула и не знал, что с ним делать! В течение нескольких дней Семён напрягал память, чтобы понять, каким образом он мог совершить такую грубую ошибку. Внезапно он вспомнил: этот фолиант он нашёл во второй день работы в

гнизе. Перелистывая, он заметил там всего лишь один комментарий, написанный тем же размашистым почерком, что и на вырванных листах. Проверая книги в Риге, он не обнаружил в этом томе ничего, и решил, что, видимо, книга была взята по ошибке. Уже через год память подвела его ещё больше, и он подумал, что это совсем другая книга – та, обложку которой он в своё время оторвал.

Хотя изначальная цена, с которой фолиант был выставлен на аукцион, оказалась ощутимо ниже предыдущей, на торгах она выросла аж в четыре раза! Семён смог заплатить оставшуюся непогашенной часть банковского долга. Он сравнил общую сумму долга и доход, полученный от продажи книг – суммы сошлись до тысячи! Рука Всевышнего была видна даже в такой, как казалось, мелочи: свалившихся с Небес денег было не больше и не меньше, чем сумма долга.

– Семён, я понимаю твоё возбуждение, – сказала Инна. – Ты очень горд по поводу того, что оказался прав в споре с Булатом: огромная сумма денег спустилась к нам прямоком с Небес. Причём, когда ты излагаешь всю историю по порядку, просто диву даёшься бесконечному чередованию совпадений, которые в конечном итоге, одно за другим, привели к великому чуду. Точно так же цепь якобы совпадений привела в своё время к чуду Пурима. Выпади тут хотя одна деталь, никакого чуда бы не произошло! Но главной детали ты даже не знаешь.

– Что за деталь? – Семён был заинтригован.

– Помнишь, когда мы выходили из больницы, я пошла в туалет?

– Да, конечно.

– Но я не должна была туда идти. Ты ведь знаешь, что несколько лет назад я приняла на себя обязательство более качественно исполнять еврейские законы скромной одежды. В том числе, вместо чулок я стала постоянно носить колготки. В тот день, перед отъездом в больницу, чтобы не было проблем с ультрасаундом, я вновь надела чулки, но колготки взяла с собой в сумке. Когда мы подошли к выходу из больницы, меня терзали сомнения: ведь сейчас уже нет необходимости оставаться в чулках – ультрасаунд и врачебная проверка позади, надо бы надеть колготки. Но, с другой стороны, – ведь это же можно сделать дома, зачем сейчас задерживаться? Победил внутренний голос: "Инна! Если ты приняла на себя устрожение в исполнении законов

скромности, так будь в этом последовательной!" И я пошла в туалет, чтобы переодеться! Вышли бы мы на пять минут раньше, – Юру бы не встретили, а пошли бы на автобус. В принципе, ты ведь помнишь: такси мы не собирались брать, и даже если бы взяли – шансов успеть в аэропорт не было никаких. Пока бы мы вызывали такси, прошло бы как минимум минут десять. К тому же, такси едут обычно по привычному маршруту, а не окольным путём, которым поехал Юра. И потеряли бы ещё, как минимум, минут пятнадцать. А попади ты в аэропорт минут на десять позже, на самолёт бы ты опоздал.

– Неисповедимы пути Всевышнего! Инна, как ты думаешь: другие люди способны поверить, что в этом рассказе ничего не приукрашено? Люди верят в чудеса? – спросил Семён свою жену.

Публикация Архива русско-израильской литературы  
Бар-Иланского университета

Михаил Юдсон

«Остатки»

Составление Романа Кацмана

*Мы продолжаем публикацию фрагментов, сохранившихся в архиве Михаила Исааковича Юдсона (1956-2019) в конверте под названием «Остатки». Предыдущие публикации см. начиная с №14.*

Известно, что «бороться надо не с антисемитизмом (и так ведь тыщу раз всё доказано и запротokolировано), а с антисемитами». Антисемитизм присущ человечеству имманентно, как аппендицит. Чехов в письмах неустанно говорит о «жидочках», называет еврейских литераторов (пусть не шибкого пошиба) – шули.

\*

Бог Один смело спустился в царство мёртвых и отдал один глаз, чтоб узнать тайну рун – умение писать.

-

Налью себе – поддательный падеж!

-

«В нос ему ударил дивный аромат субботних блюд». (Яков Шехтер, «Хасидские рассказы»)

—

Нынешний российский «сыскной капитализм». Весь он вышел из гоголевской «Шинели» – те грандиозные фигуры, что пальтецо с Башмачкина срывают...

\*

Блаженный Никола... «У животных Пиросмани – глаза самого художника» – заметил Ладос Гудиашвили.

-

Там – кунцево, здесь – сунсово...

-

Сабрам с абрамами век коротать!..

Мне, слезшему с ёлки, никак не удаётся взгромоздиться на тутошний кактус...

-

Витя Голков придумал рифму: «Бытия – до хуя».

«В определённой мере можно даже привязаться к произведению за его непонятность... Воображение рисует прекрасное будущее, когда крохотные, но безумно тёмные тексты романов будут служить как бы введениями к своим объёмистым интерпретациям. Поскольку же некоторые из интерпретаций аналогичным образом изложены очень непонятным языком, будет уместно присоединять к ним объяснения следующего уровня и т.д. В ещё более отдалённом будущем видится издание просто сборников разных истолкований романов и читательское наслаждение этими сборниками, где самих романов уже нет».

(Станислав Лем, «Философия стиля»).

\*

«Биограф – не романист. Ему дано изъяснять и освещать, но отнюдь не выдумывать».

(Ходасевич, «Державин»).

-

Булгаков на смерть Андрея Белого (1934): «Всю жизнь, прости Господи, писал дикую ломаную чепуху...».

-

Как выражались мужики у Слепцова: «Ишь ведь, жид ты ешь!..»

-

Эх, жить бы тогда в Париже, слушать споры Ходасевича с Адамовичем о безыскусности в искусстве, кропать оду «Изображение Фелицыаныча»...

-

Ну, и свою Россию в дорожном уношу мешке...

\*

Если у Пушкина в «Капитанской дочке» на стене висит винтовка, то она таки в конце не выстрелит – потому что нарезного оружия в эпоху Пугачёва ещё не было.

\*

О, русская мужицкая, овчинная литература – алхимические превращения «свинцовых мерзостей» в «золото сердца народного»!

-

Побойтесь Бога, тут вам не синагога!

-

«Машинально», как выражался персонаж Слепцова. А про бога единого – «Вьюрю в Юдюного».

-

Писатель Слепцов с изящным зонтиком в руке ходил по «проторенной цепями» Владимирке в народ – в ближайшую



деревню, узнать, как живут мужики. «С прелестной учтивостью», как отмечает Чуковский, спрашивал у рабочего люда про прибавочную стоимость. Современник!

-

Написать про конец нашего культур-мультирного нашествия в Израиль «у одра орды».

\*

В городе-Вие, Киеве, родился Булгаков, создатель прекрасной ведьмы, летающей без помощи гроба.

-

Ещё Эйнштейн писал о «трагедии неразделённой любви к Родине».

-

Чайковский о Вагнере: «Богатство его музыки слишком обильно... Утомляет внимание, беспрестанно напрягая музыка перестает быть гармоническим сочетанием звуков, а делается утомляющим гулом... Близкое совершенному изменению ощущение духовной и физической усталости... Это музыкальная Демьянова уха, очень скоро порождающая ощущение пресыщенности».

Вот бы в тексте так!!! Мой Идеал!!!

\*

«Книга должна быть исполнена читателем, как соната. Знаки – ноты. В воле читателя – осуществить или исказить».

(М. Цветаева).

-

Был я только литератор модный, бедный, только слов кощунственных творец... (Блок)

-

А. Синявский утверждал, что главная, крылатая мечта православного люда – «насрать в церкви на потолок». Приснопамятный процесс Син-Дан в чём только ни обвинял Андре, но не в русофобстве...

\*

В моем понимании любовь – не однокорейка, это двустороннее шоссе – от души к душе.

-

Фрейд полагал, что дискриминация подшпоривает одарённых.

-

Наша алия, то есть восхождение – это древнерусский изволок, пологий длинный подъём.

-  
Немецкая поговорка утверждает, что Гитлер зря вызверился сразу на «чеснок и на ладан», то есть на евреев и на католиков. Надо бы постепенно...

-  
Как сказал Шершеневич Маяковскому: «Поздравляю вас с законным бриком».

\*

Хвища, злива – сильный холодный дождь с ветром.

-

Мигдаль (укр.) – миндаль.

-

Авиценна: «Ручьи звенят, но море безмолвно».

-

«Что же тут хорошего, что мы лежим враспяжку, что у нас от мысли до мысли пять тысяч вёрст».

(П. Вяземский, «Дневник», 22 сент. 1831 г.)

-

«Италик мой!» – вскричала бы Берберова.

\*

«Нах Остин!» — к Бронтезаврам и грозовым перевалам женской прозы (глазурь глазуний) – Та нах она сдалась! Клиторами меряются.

«И, слово, в музыку вернись...» (О. Мандельштам).

-

«Урывки виденного, слышанного, перечувствованного... Выблески из были и небылицы...» (Ремизов).

\*

Внутри Гомера гром и море, а Осип вписан в список кораблей...

-

В 1922 году выслали Н. Бердяева из России, и он пару лет (до Парижа) жил в Берлине, где учредил Русский научный институт. Коротко и всеохватно.

-

Пользуясь определением Р. Гуля, я пишу отзывы (рецензии) трех видов – положительные, хвалебные и восхищённые.

-

Чехов не хотел после смерти сливаться в общий (по Л. Толстому) разум, в «студёнистую массу». Но привезли гроб с ним в Россию из Ниццы в вагоне из-под устриц.

# ИЗРАИЛЬСКАЯ ЛИТЕРАТУРА НА ИВРИТЕ СЕГОДНЯ

Раве Саги

## Думаю, ты не поймёшь...

*(Из сборника рассказов «Корабли сближаются», Тель-Авив, 2015)*

Моя подруга звонит мне:

– Где ты?

– Еду к отцу, сегодня годовщина... – отвечаю я.

– Ладно, позвони потом, – просит она.

Как раз в тот момент, когда я паркуюсь возле дома отца, замечаю, что он стоит на пороге и прощается с тем человеком, и всё вдруг возвращается и охватывает меня...

В нашем детстве этот человек многие годы имел обыкновение приезжать к нам. Из своих странствий за границей он всегда привозил нам разные подарки. Шоколад «Сент-Мориц» для нас – детей, духи для мамы, бренди для отца. Герман – так его звали, был торговым агентом международной фармацевтической компании и приятелем нашей мамы.

У людей это называется «роман вне брака», но у нас это было не «вне», а как раз совершенно внутри. Три-четыре раза в год он приезжал, раздавал подарки и на несколько дней увозил маму. Отец оставался дома с нами, детьми...

Папа приглашает меня войти, и мы усаживаемся на кухне. На столе, рядом с тарелочкой с пирожными, стоит кружка кофе предшествующего гостя. Папа идёт в туалет, возвращается, рубашка наполовину заправлена в брюки, наполовину выбилась. Он садится напротив меня.

– Я был у мамы утром... Положил цветы.

– Что этот делал здесь?

– Кто, Герман? Мы продолжаем общаться.

– Да-а... – произношу я. – Не могу понять тебя, папа, что происходит?

– Думаю, ты не поймёшь... Твоя мать любила его многие годы, пока не встретила со мной. А он был такой закоренелый холостяк. Всё время в разъездах, и не хотел осесть. Детей не любил и не хотел. А я окружил её вниманием, мог дать ей дом и семью. Какое-то время мы как бы играли в

это. Однако с самого начала мне было ясно, была как бы негласная договоренность, что его она любит больше, чем меня, и что продолжает оставаться в контакте с ним.

Папа машинально сгребает ладонью крошки от пирожных с пластиковой скатерти и отправляет их в рот.

– Но как ты мог терпеть это?

– Я любил её, получал, что мог получить... Это нельзя описать только чёрно-белым. Когда ты любишь кого-то, ты любишь вне зависимости от того, насколько любят тебя.

– Да, но сейчас-то что он делает здесь? Что это такое: «мы продолжаем общаться»?

– Мы иногда встречаемся. Я ничего не имею против него. Думаю, ты это не поймешь, но встретиться с ним иногда – это для меня словно стать ближе к ней...

Я вспоминаю, что иногда у нас не было выбора – каникулы или что-то ещё, и она с ним брали нас с собой – на выставку в музей или поесть мороженого. Она тогда на нас совсем не обращала внимания, а вот он как раз старался.

– И что, тебе иногда не хотелось убить его? – спрашиваю я совершенно серьёзно.

Отец всплёскивает руками, у него даже расширяются глаза.

– Если так, то только за то, – отвечает он, – что он уезжал в свои командировки, и это огорчало её. Но можешь быть уверен, что вся эта ситуация была очень непростой и для неё.

Я киваю и вспоминаю, как она курила сигарету за сигаретой, стоя у окна, забывала про свой остывающий чай, в котором плавали маленькие разноцветные лепестки цветов.

– Думаю, ты не поймёшь, – бормочет отец уже скорее для себя.

...Когда я выхожу от него и усаживаюсь в автомобиль, у меня ощущение, что в горле застряла горсть гвоздей.

Я набираю телефон своей подруги, она говорит:

– Муж сегодня вернется поздно – приезжай...

*Перевёл с иврита Александр Крюков*

## Личное участие

Да, госпожа, это новый телефон взамен того, что у вас пропал.

Вы получаете не только новый аппарат, но и то, что было в вашем прежнем – фотографии и музыку, за эту услугу – «сохранение и восстановление» – вы и заплатили дополнительно. Фотографии мы восстанавливаем в реальных условиях: с людьми, которые были на фото, едем на то место, где была съемка, и снимаем заново.

Например, мы воспроизвели фотографию некоего господина, когда он был на Занзибаре, в баре возле бассейна гостиницы, со всеми людьми, которые там тогда находились. Он помнил тот день и то, что там были люди из Новой Зеландии и Лондона, но это всё. Мы нашли их по кредитным картам, которыми они рассчитывались за спиртное в баре гостиницы, доставили вместе с их тогдашними купальными принадлежностями на Занзибар, и сфотографировали... Это обязательство прописано мелкими буквами в тексте договора.

Какую фотографию вы просите нас восстановить? Ночью, на подсвеченной Эйфелевой башне? Да, многие парочки фотографируются там. Вы со своим другом стоите спиной к башне и улыбаетесь тому туристу из России, который согласился вас сфотографировать? Как именно ваш друг обнимал вас тогда? За плечи? За талию?

А, было холодно, и он держал руки в карманах. Понимаю... Разумеется, я верю вам, что он как раз собирался вынуть руки из карманов и обнять вас, но мы не восстанавливаем намерения; только – реальность.

Мы восстановим фотографии, госпожа, если только вы не сделали резервных копий. Что значит «копий»? В договоре указано, читаю: «В случае, если владелец полиса заявляет, что он не сохранил утраченный материал в «Облаке», на флеш-карте, жёстком диске или любом другом носителе, он имеет право на восстановление двадцати фотографий, десяти музыкальных композиций и пяти текстовых статей».

Обратите внимание на пункт 2«а», гласящий: «Восстановление фотографий осуществляется при соблюдении

следующего условия: память о фотографиях не удалена из памяти застрахованного или кого-либо ещё».

У вас нет проблем с памятью? А с памятью у кого-либо ещё?

Дело в том, что, если кто-нибудь видел эти фотографии, мы можем восстановить их из его памяти прямо в ваш новый телефон. Нет, госпожа, эти фото не будут проходить через вашу память. Сразу – в телефон. Но вот если нет никаких воспоминаний, то мы повезём вас и вашего друга в Париж и там восстановим фото.

Что делать, если кто-то из сфотографированных уже умер?

Что значит «умер»? Вы имеете в виду: совсем умер или фигурально?

Совсем... Ну, если это действительно невосвратно, то придётся заниматься реконструкцией: найдём двойника, оденем его, как одевался покойный, и загримируем. Нам это не очень нравится, поскольку немного сказывается на аутентичности фотографии, но у нас большой корпус двойников.

Вообще-то, каждый, кто приобретает у нас полис, по сути, становится двойником. Если вы внимательно прочитаете текст договора, который подписали с компанией «ООО Личное участие», – увидите, что вы сами обязались «лично участвовать». Нет, не деньгами, а участием в реконструкции; я зачитаю: «Своей подписью под текстом договора я подтверждаю, что обязуюсь эффективно содействовать в восстановлении материалов других застрахованных, как в качестве двойника на фотографиях, так и исполнителя песни и/или мелодии, подлежащих восстановлению в результате утраты».

Нет, госпожа, в этом нет ничего ужасного. Есть люди, которые начинали у нас в качестве двойников, а сегодня они профессионалы. Например, один мужчина изображал диск-жокея на вечеринке по случаю помолвки, которую мы реконструировали, так как настоящий ди-джей умер, отравившись суши на другом мероприятии. Так вот теперь этот человек заводит пластинки в открытом кафе-мороженом для автомобилистов.

Да нет, я не смеюсь, это новый тренд, который сегодня очень востребован: такие пикники как бы на природе, но люди едят эскимо, сидя не на траве, а в своих автомобилях, слушая музыку.

Что касается вашего умершего: мы предоставим двойника, если оригинал умер и это доказано. Говорю вам, госпожа, для реконструкции фотографии не важно – дублёр это или оригинал человека. Слышали поговорку: «Если фотографируете людей в цвете – увидите их одежду, а если фото чёрно-белое – увидите цвет их души». Красиво, правда?

Нет, мы не можем изменить положение руки на фотографии, я ведь уже говорила. Даже, если он собирался положить руку вам на плечи и обнять, но не успел. Даже, если он любил вас. А это вообще трудно реанимировать...

Да, госпожа, вы обязаны участвовать в восстановлении фотографий других людей. Не нужно этого бояться, это даже интересно. Только вчера я получила благодарственное письмо от женщины, которая участвовала в наших восстановлении в Японии – сейчас она работает на железной дороге в Киото. Заталкивает пассажиров в переполненные вагоны. Есть там такая должность. Они ведь очень аккуратны, эти японцы. Она заталкивает и тех, кто не хочет ехать, ведь люди сами не всегда знают, что для них хорошо...

Если вам не хочется быть двойником на фотографии, вы можете участвовать в восстановлении песен. Это прописано в договоре: «Для участия в восстановлении утраченных песен и музыки застрахованный обязуется научиться играть на популярном музыкальном инструменте, например, гитаре или флейте». Если вам не очень хочется учиться играть на этих инструментах, вы всегда можете просто барабанить на дарбуке.

Нет, нельзя заменить вашего друга на фотографии на кого-то другого – мы восстанавливаем реальность, а не создаём её, мы верны оригиналу. Это указано в договоре, послушайте: «В процессе восстановления фотографии не допускаются изменения персон по просьбе заказчика, кроме исключительных случаев, как то: полное, необратимое отсутствие участника фото, то есть – смерть».

Что значит «умер частично»? А, «умер для вас» и точно не согласится участвовать в съёмке? Таки мы его доставим, не тревожьтесь об этом, у нас есть возможности... Не следует забывать, что даже если для вас он не существует, он существует для кого-то другого.

Госпожа, я вижу, что вы сердитесь, но я ведь не сказала, что он существует для какой-то «другой», и вам не следует плакать. Я просто процитировала договор.

Вы помните, что он был там с вами, возле Эйфелевой башни, однако он этого не помнит, что немного странно. Я

должна напомнить вам, госпожа, об обязательстве быть абсолютно искренней, под ним стоит ваша подпись. Я читаю: «В случае, если держатель полиса скрыл важную информацию, был не искренен, что повлияло на возможность восстановления аутентичности ситуации, компания вправе без предварительного уведомления отменить действие полиса».

Да, я помню, что у вас некоторые проблемы с памятью. Вопрос: с какой памятью? С визуальной или эмоциональной? Вопрос вызван тем, что мы располагаем возможностями восстановления некоторых эмоций и чувств, включая тактильные. Нет-нет, не тревожьтесь. Если вы не желаете, мы не будем восстанавливать ощущения от прикосновений.

Ревность мы не восстанавливаем, тем более – патологическую ревность.

Есть также ваша общая фотография в кинотеатре; вы держите большущее бумажное ведёрко попкорна, которое закрывает его... Но ведь он был там, а, госпожа? Я уже цитировала вам пункт об обязательстве сообщать обо всех удовольствиях.

...Конечно, мы восстанавливаем песни. Однажды у кого-то пропала песня «Любовь убивает» Иегуды Поликера, так та дама, что для участия в реконструкции научилась играть на бузуки<sup>1</sup>, стала выступать с концертами. Нет, не с Поликером<sup>2</sup>, конечно, но она появляется в концертах Трифона-са<sup>3</sup>.

Но почему мы восстанавливаем только фотографии с вашим другом? А ваш брат, а родители? Почему вы так уверены, что у вас будет ещё много фотографий с братом? А, он молодой. И что? А если умрёт через два дня?

Взгляните на фотографию этой улыбающейся девушки в газете – она и её брат вместе прыгнули с парашютом. Разве она думала, что сейчас погибнет? Подготовленная, экипированная, как надо, в отличном настроении и... парашют не раскрылся.

А посмотрите последние страницы газеты – траурные объявления: «Не забудем», «Скорбим», «Помним», «С прискорбием», «Скоропостижно»... Кто из них, о ком это написано, думал, что сегодня он здесь, с семьёй, а завтра – объявление на странице траурных сообщений? Так откуда

---

<sup>1</sup> Популярный в Греции музыкальный инструмент.

<sup>2</sup> Родители Поликера – выходцы из Греции.

<sup>3</sup> Киприот, исполнитель греческой музыки, живущий в Израиле.



вам знать, что ваш брат не умрёт вдруг? Давайте, госпожа, я открою вам секрет: большинство людей не думают, что они умрут в обозримом будущем. Они думают, что смерть – это то, что случается с кем-то другим.

Сколько песен вы хотите восстановить, госпожа?

Песню группы «Улей»<sup>1</sup> «Она так красива» мы запишем заново, но слова менять не будем. Я только хочу напомнить, что Эфраим Шамир уже не может брать такие высокие ноты, как прежде. Это отражено в договоре, я напомним: «Серьёзные изменения диапазона голоса, хрипы или проблемы с дыханием, произошедшие у оригинального исполнителя, допускают его замену подходящим певцом. Страховая компания обязуется подобрать исполнителя высокого уровня, который непременно участвовал в следующих певческих конкурсах: «Рождение звезды», «Х-фактор» или «Голос», и вышел, как минимум, в полуфинал».

Я не пытаюсь убедить вас заменить песню, госпожа, только хочу напомнить, что в последние годы появилось немало всяких Месик<sup>2</sup> и ей подобных, которые поют о неразделённой любви. Да и Айя Корем<sup>3</sup> сейчас не занята, она может спеть.

А если вы захотите защитить себя, мы запустили новую программу – страхование жизни для двоих на срок в двадцать лет.

Вы хотите знать, что будет, если ваш супруг неожиданно скончается? Он не скончается – я же говорю: мы предоставляем гарантию жизни. То есть, что бы ни произошло – войны, болезни, автокатастрофы – вы и ваш супруг останетесь живы в течении двадцати предстоящих лет. Повторяю – это же застрахованная жизнь. К тому же, это совсем не дорого: за ежемесячный взнос в двести шекелей или за обязательство четыре раза в месяц участвовать в реконструкции фотографий вы и ваш супруг наслаждаетесь страховкой, которая защитит вас от любых катаклизмов.

Нет, госпожа, за качество жизни мы не отвечаем, это уж зависит от вас.

Если разведётесь – договор страховки автоматически расторгается. Однако только после проведения нами особого опыта. Какого опыта? Вы с супругом приезжаете к нам в офис и десять раз бросаете монетку: если она падает

---

<sup>1</sup> Культовая израильская рок-группа «Кавэрет» середины 70-х годов.

<sup>2</sup> Намёк на израильскую певицу Мири Месика.

<sup>3</sup> Современная израильская рок-певица.

цифрой вниз хотя бы три раза – вы и ваш супруг получаете гарантию безопасной жизни на двадцать лет.

Если же монетка не падает три раза стороной на цифру, мы тут же стреляем вашему мужу в голову. Да, из пистолета, госпожа, на месте. Это прописано в договоре, вы можете перечитать.

Я вижу, госпожа, вы немного растеряны из-за всех этих условий для супружеских пар, поэтому я хочу предложить вам нечто другое. Это расширенный вариант семейного страхования жизни, который называется «Минус один». Мы предлагаем это не всем, но мне кажется, что вам это как раз может подойти. Эта страховка гарантирует вам и ещё девяти членам вашей семьи жизнь в течении десяти предстоящих лет. По их истечению вы все прибываете сюда для участия в лотерее.

Каждый её участник пишет своё имя на листочке бумаги и опускает его в шляпу. Затем мы перемешиваем записки в течение семидесяти четырёх секунд и приглашаем специального карлика. Он извлекает одну записку, и того, чьё имя там написано, мы убиваем. Да, на месте, стреляем в упор в голову, а все оставшиеся девять человек получают гарантированные десять лет жизни.

Если кто-то из участников решит солгать и напишет на бумажке не своё имя, мы убиваем и его. Разумеется, страхование распространяется на возможные вмешательства высших сил, ущерб от засухи и последствия землетрясения.

По прошествии десяти лет мы снова встречаемся здесь с этими девятью людьми, процедура с записками и карликом повторяется, и мы убиваем ещё одного. По истечении ста лет проект завершается, обязательства и контакты между обеими сторонами прекращаются.

Нет, мы не учитываем увеличение средней продолжительности жизни, поскольку это может создать нам дефицит активов.

Так что вы выбираете, госпожа?

*Перевёл с иврита Александр Крюков*

# АРФА И ЛИРА

Произведения современных азербайджанских  
авторов

Садай Будаглы

## Ясные дни

Вчера, застегивая ремень на выходе из туалета, он подумал: может, покончить с собой?

Пару дней назад неожиданно похолодало. Проснувшись поутру, они увидели, что вчерашней духоты и следа нет, – идет дождь с порывами холодного ветра, а редкие прохожие одеты по-осеннему. Жена, гремя посудой, напомнила ему, что сегодня двадцать второе сентября, то есть первый день осени, а он, глядя на город и людей, в одночасье сменивших обличье, подивился изменчивости природы. Правда, это удивление быстро сменилось мелкими заботами, нагоняющими тоску: нужно было купить обувь, отдать в чистку плащ, да и жене с детьми хорошо бы справиться обновку. Но и это беспокойство длилось недолго – опыт, накопленный за годы, не подвел. Расстраиваться и впрямь не стоило: и осень, и зиму он как-нибудь переживет, и едва весеннее солнце отогреет его, забудет все перенесенные тяготы и огорчения, как, слава Богу, забывал до сих пор.

После дождя, что смыл и духоту, и желание сходить на пляж, которое он, откладывая со дня на день, так и не осуществил, жара окончательно сошла на нет. Стояли ясные солнечные дни – пора, которую поэты называют золотой осенью. Казалось, что в воздухе посвежело, и теперь он мог, по крайней мере, дышать полной грудью. Отчего-то такие ясные осенние дни всегда навевали ему воспоминания о далекой весне из его детства. Ему чудился запах дыма, навевающий зыбкое чувство, которое он не умел назвать, напоминающее ему Новруз<sup>1</sup> того далекого года. Воспоминания, пожалуй, не то слово, – магия прошлого накрывала его всего на мгновенье: детские годы, все пережитые чувства, радость и печаль тех лет сжались и умеща-

---

<sup>1</sup> Новруз – у тюркских народов праздник наступления весны, отмечающийся в день весеннего равноденствия.

лись теперь в один миг. И за это краткое мгновение, когда его накрывало прошлое, он не успевал понять, что с ним происходит, почему он так взволнован и отчего хочется плакать – от горя или от счастья.

В этом двухэтажном здании с общим туалетом во дворе, где тесные, жмущиеся друг к другу пристройки верхнего этажа сотрясались от шагов, словно подвесные мосты, квартиры, отделенные друг от друга лишь тонкими фанерными стенами, напоминали ячейки голубятни. Малейший шум мог взбудоражить всех. Звуки, слова проникали из дома в дом, переходили из уст в уста, перетирались-пережевывались, выходили во двор и в итоге передергивались и перевирались до неузнаваемости. Поэтому все были вынуждены ладить с домочадцами, сбавлять тон, приглушать гнев, и со стороны казалось, что все в этом доме счастливы. Он тоже так думал, во всяком случае, хотел думать, что это так, потому что всякий раз, когда вдумывался, обнаруживал что-то такое, от чего потом не мог отмахнуться, и надолго лишался покоя.

Одна старуха Хейри не оставила ему никакой возможности отмахнуться от нее. Старуха Хейри жила за стеной. Не различая дня и ночи, она ворчала и говорила сама с собой во всякое время суток. А когда умолкала, доносилось ее шумное дыхание – казалось, за стенкой шумят мехи или ветер дует в гроте. Щуплая старушка, в чем только душа держалась, не помнила ни возраста своего, ни прошлого, ни настоящего, ни имен своих живых или ушедших в мир иной детей, ни зла людского, ни добра. Поставив перед собой еду, она ругала на чем свет стоит свою дочь, причитая, что та, мол, не заботится о ней, морит голодом, просила себе смерти, однако, когда ее купали, плакала и стенала, хлопая себя по груди, оплакивая себя так, словно ее омывают перед погребением.

Эта старуха не имеет ко мне никакого отношения, это просто чужая старуха – он много раз говорил это себе, но ничего не мог поделать – звуки, доносящиеся из-за стены, переворачивали все вверх дном в его душе, и он отправлял к ней кого-то из домочадцев, или, если дома никого не было, не ленился сам выйти на шум, если нужно вызывал врача, находил нужные лекарства, встретив ее во дворе, поддерживал под руку, наполнял для нее афтафу, терпеливо выслушивал ее долгие сетования... и делал это все мысленно. Так он помог многим, поддержал в тяжелую ми-

нута, и потому его до глубины души задевала их грубость, отчужденность или недоброе отношение.

В последнее время он снова стал часто смотреться в зеркало. Собственное отражение наводило на мысль, что жизнь уже перевалила за середину: волосы поредели, там и тут пробивалась седина, черты лица огрубели, стали портиться зубы. Некоторые болезни пока не тревожили его, наверно, они еще в пути, в каких-то уголках его тела тайно делают свое дело, и однажды он вдруг проснется с букетом хворей: артрит, диабет, астма, миокардит... Видя в зеркале свои меняющиеся черты, он досадовал и стыдился, что переживает из-за таких вещей, но ничего поделать с собой и со своими чувствами не мог. Правда, чувства эти не приводили его в смятение, как это бывало прежде, они утратили остроту, притупились, да и он, как мог, натягивал поводья, стараясь не допускать их в гущу борьбы и треволнений, где они могли растерять подковы, вел их неспешным шагом, направляя на знакомые тропы. Горячность, нетерпеливость, бессонные ночи – все это было когда-то давно, когда он торопил себя, скорее, скорее повзрослеть, стать самостоятельным, обрести друзей, познать женщину, жениться, родить детей, узнать, каково это – изменить жене, приревновать ее, почувствовать, как ревнуют его... Так он жил, одно за другим познавая все то, что так спешил пережить, и вдруг обнаружил, что можно уже не торопиться – пережитые чувства стали повторять друг друга, и многие вещи он может просто представить, преспокойно лежа в своей постели.

Может, именно потому, что мог представить себе все, что угодно, он сейчас не искал встреч с Селви, как прежде. Когда вдруг возникало какое-то срочное дело, он радовался, что нашлась отговорка, чтобы не идти на встречу. Но потом он радовался двум-трем часам, проведенным в комнате, ключи от которой он, кляня себя и смущаясь, взял у кого-то, и благодарил Бога за то, что дал ему Селви.

Они с Селви познакомились в автобусе. По утрам, когда он отвозил ребенка в садик, автобусы вечно были набиты битком. В один из таких дней смуглая, обаятельная девушка посадила ребенка себе на колени. Раз, другой, третий, и вскоре оба привыкли к этим случайным встречам. Ей нравилось, что ребенок идет к ней и сидит на ее коленях; она разговаривала с ним, гладила его волосы и даже носила в сумочке сладости для него. Когда они впервые встретились, стояла зима – пальто, шапка, красный шарф. Зима

кончилась, наступила весна, и его взору открылись мягкие волосы Селви, ее гладкая кожа, нежная шея. Селви следила за собой, всегда была накрашена, словно шла на свидание с ним, словно в нарядно убранной комнате каждый день меняла что-то местами, чтобы это нечто было замечено.

Порой им случалось разминуться, и тогда глаза Селви смотрели с упреком; иногда он ехал в автобусе один – Селви смотрела с беспокойством. Бывало, что, беззаботно болтая с ребенком, она могла вдруг задумчиво уставиться в окно, а по лицу ее пробежала тень затаённой печали. Он понимал причину ее грусти, знал, о чем думает Селви – ах, если бы она родила этого ребенка и они так же, как сейчас, вместе везли его в садик, забирали оттуда, а она могла бы, сломив все разделяющие их преграды, говорить с ним, касаться его руки, чтобы спросить о чем-то, и, не стесняясь никого, улыбаться ему. Он не заставил ее долго ждать...

Хорошо, что Селви не мучила его, не бередила душу, не выворачивала ее наизнанку. И он не читал Селви нотаций о морали, не пытался вернуть ее на правильный путь, читая лекции о том, что женатый человек – не пара незамужней молоденькой девушке. Все равно когда-нибудь они расстанутся, рано или поздно случится то, что разлучит их постепенно или в одночасье. Да и сама жизнь, по большому счету, – явление временное. Ревматизм, миокардит, астма... или авария. Порой его жена, жалуясь на жизнь, говорила: «Вот бы и нам повезло разок, нашли бы что-то или выиграли бы в лотерею машину». Правда, им не везло в этом плане – никаких подарков судьба им не преподносила, но, с другой стороны, каждый день множество людей гибнут под колесами машин, тонут в реках, падают с лестниц и ломают шею, и в этом отношении им, слава Богу, тоже «не везет». И на том спасибо.

Иногда, когда был обижен на нее или просто скучал по ней, он, как птица, летел к Селви и садился на ее окно. Он хотел увидеть другую, далекую Селви, увидеть, как она смотрит на кого-то, улыбается, кокетничает, обижается, чтобы, видя все это, он не мог заставить себя поверить, что эта бродящая среди чужих людей девушка с незнакомой улыбкой принадлежит ему, и взгрустнуть, потерзать, поизводить себя.

Комнатка Селви была совсем крохотной. У входа на стене висело большое зеркало. Селви прихорашивалась перед этим зеркалом, причесывалась, мельком смотрелась

в него перед тем, как спуститься во двор или сбежать в магазин. Если женщина наряжается – значит, она хочет нравиться, привлекать внимание, быть любимой. Но большинство мужчин наивны; им кажется, что, если они покажут, дадут почувствовать, что она нравится им, женщину это заденет, она будет плохо думать о них. Но ни одна женщина не обидится, почувствовав, что любима, даже если будет выглядеть обиженной.

Селви была единственным ребенком своих родителей. Ее старшая сестра погибла в трехлетнем возрасте. Они отправились вместе с родственниками отдохнуть на природе и среди шума и сумятицы забыли о ребенке. Когда очнулись, обнаружили, что ребенка нет. Они обошли все вокруг, обыскали лес – все тщетно. Мать заголосила, забилась, закричала, что видела дурной сон, будто они кочуют где-то и из одной телеги выпадает ягненок, а она кричит остальным: «Чтоб вам ослепнуть! Не видите – ягненок выпал?!»

Вернувшись утром в лес и возобновив поиски, они нашли ребенка недалеко от того места, где вчера отдыхали. Пока взрослые обедали, ребенок отошел и прикорнул под кустами, потому и не услышал голосов искавших его родных. Селви рассказывала, что ребенок изрыл всю землю вокруг себя...

С того самого дня он не мог забыть о ней – она стояла у него перед глазами. Он все время думал о ней, как же так, почему они не нашли ее? Неужели сложно догадаться, что трехлетний ребенок не мог уйти далеко? И как они могли вернуться домой, не найдя ее? Он терзался этими мыслями день за днем, час за часом, и однажды, не выдержав, вернулся в тот год и день, и в полночь, направившись в лес, нашел охрипшего от плача ребенка, обнял его, прижал к груди, утешая, целуя и гладя по волосам, вынес из леса и отнес к матери, обезумевшей от горя. Селви и была тем ребенком, пусть сама и не знала этого. Именно поэтому в их семье все успокоилось и вспоминали ту историю так спокойно. Он не рассказал Селви про концовку, которой утешился; это не имело значения. Важно было одно: той ночью в лесу, когда ребенок звал мать, обливаясь слезами, в ужасе роя дрожащими руками землю, была живая душа, которая пришла на ее зов и не дала случиться еще одному горю в мире, где и без того немало боли и скорби.

В мире все бежали горя, пытаясь чем-то утешиться. Жить, и в самом деле, – дело непростое. Что только не выдумали люди, что только не изобрели – и школы, и заводы,

и армию, и тюрьму, и коммунизм, и капитализм, и тьму всяких правил, законов, указов, запретов – будто бы для того, чтобы у существа, зовущегося человеком, был хлеб насущный, был кров, где он мог укрыться от дождя, и палас, чтобы подстелить под свое дитя. Бог с ними, с правилами, скрепленными печатями, – в мире была еще и тьма неписанных правил: так не поступай, туда не смотри, обуздай страсти свои, возлюби родителей своих, блюди честь, совесть, доброе имя. Поди разберись во всем этом хитро-сплетении правил и запретов, да так, чтоб не споткнуться, не оступиться, не пасть.

Мать в последнее время часто вспоминала одну гадалку, удивляясь, что сбылось все сказанное ею, и хуля сомневающих в Боге. Его еще и на свете не было, гадалка напроочила матери рождение еще одного сына и много всего другого. Все сказанное ею – и то, что отец будет арестован, и то, что «после дальнего странствия» женится на другой, и то, что до самой смерти мать будет мучиться болями в пояснице – все сбылось. Гадалка предвидела и счастливую судьбу ее старшего сына, она несколько раз упомянула об этом.

Он верил в предначертание судьбы, но у него язык не поворачивался назвать счастливым брата, бродящего безмолвной, отрешенной тенью, боязливо помалкивающего при жене, словно в чем-то провинился перед ней, посреди обеда молча удалявшегося на кухню, чтобы украдкой опрокинуть стопку и вернуться. Может быть, по Богу, счастье было в том, чтобы человек жил в достатке, не терял зубов, не хворал желудком, имел детей и прожил долгую жизнь, – такую долгую, чтобы, как старуха Хейри, не помнить прожитого и забыть про страдания – хотя какие страдания у человека, забывшего свое прошлое, – а смерть стала бы для него избавлением от телесных страданий. А уж любить, нести добро или зло, как понимать все это, чему радоваться – это Господь, наверно, оставил людям на их усмотрение. Давайте тогда мы будем думать по-иному, Селвиханум, скажем, человек рождается на свет, чтобы страдать. Давайте думать так и смиримся со своей судьбой. Кто знает, может быть, мы становимся счастливыми, покоровшись уделу?..

Были у Селви и секреты – по крайней мере, ей так казалось: она думала, он не знает, как черные дивы терзают ее ночами в маленькой комнатушке. Дивы положили глаз на Селви, хотели поселить в ее душе страх, утопить в сомне-



ниях, чтобы она отвернулась от него. Пока им это не удавалось, любовь Селви сковала им руки-ноги, но он знал, что когда эта любовь растает, дивы заберут у него Селви и унесут за семь гор. Поэтому, едва почувствовав холодность Селви, он быстро брал себя в руки, становился внимательным, ласковым, нежным рыцарем, согласным снести любые тяготы ради возлюбленной. Может быть, его не так расстроила бы потеря Селви, как сам факт поражения. Проигрыш и так вещь болезненная, а уж в таком возрасте и во все; словом, он боялся не снести боли поражения. К тому же он хотел попытаться силы, посмотреть, сумеет ли он одолеть дивов, годится ли он еще на что-то.

Вряд ли жена не заметила его мимолетного воодушевления, уж в постели-то точно уловила, но, видимо, списала это на хорошую погоду или приготовленный ею вкусный обед.

Когда он был не в духе, всегда старался хорошо выглядеть. Неспешно приводил себя в порядок, брился, душился, улыбался. Он умел улыбаться. Порой даже не разговаривал, просто улыбался – дома, на работе, в дороге. И все были довольны им. Всё потому, что он знал слабые места каждого и старался не задевать эти болевые точки. А еще он знал, что его могли бы любить больше. Будь он при деньгах, что там друзья и приятели, даже домочадцы вьюном вились бы вокруг него: вставали, когда он входит, помогали разуваться, придерживали пиджак, ловили каждое слово. Иногда он видел проблески этой любви на лицах своих детей и не расстраивался, что их лица не выражают любви все время, потому что это было так естественно. Он даже тайком гордился собой за то, что понимает все и не удручается этим.

Его жена любила кошек, и потому иногда он становился котом.

*Перевела с азербайджанского Пюсте Ахундова*

# ПОЭЗИЯ

Александра Неронова

## Румата без штанов

\*\*\*

Небес усталая броня,  
Надсаженный редут...  
Сегодня судят не меня —  
И я пойду на суд.  
Цветет боярышник в саду  
Судебного двора...  
Сегодня я туда пойду.  
И завтра. И вчера.  
Зачем — втолковывают мне —  
Бежишь, как на балет?  
...У друга в клетчатом окне  
Иной подмоги нет.  
Вокруг сгущается брехня,  
Меня уже пасут.  
Но... завтра судят не меня —  
И я пойду на суд.  
Идут срока, летят срока —  
И год, и пять, и семь...  
И бьют,  
И бьют наверняка,  
Наотмашь, Насовсем.  
Друзья рассеялись мои  
По свету — кто куда.  
И хорошо.  
Иначе им  
Не миновать суда.  
Да, сотня песенок — пока  
Не бунт и не борьба,  
Но где-то в скованных руках  
Звучит уже труба,  
И в тусклом гуле голосов,  
И по пути домой  
Я слышу этот хриплый зов,

Негромкий и прямой.  
Он тем, кто по уши в крови,  
Кто бойне крикнул "Да!"  
Готовит жесткие скамьи  
Предвечного Суда.

\*\*\*

Люби и знай, голубчик мой,  
Эпоху за дверьми,  
Ее повадки, запахи и лица —  
Здесь все антиутопии, какие ни возьми,  
Шутя в реальность могут воплотиться.  
Вглядись, дружок, в эпохин вид,  
Всмотрись в эпохин взор —  
Трусливый, ражий, от задора пьяный:  
Сегодня был "Каллокаин", а завтра — "Скотный двор",  
А "мыкают", похоже, постоянно.  
Учись, скрывайся и таи,  
Забудь, как раньше жил,  
Носи колпак и сипло дуй во флейту,  
Иди на суд, Иди на бой,  
Веселый, как дебил —  
И празднично гори по Фаренгейту.  
Средь палачей и стукачей ищи подпольный свет,  
Ищи добро среди говна и гнили.  
Попробуй, сука, поломать истории хребет —  
Пока тебя в колодки не забили.  
Ты — эмиссар иных миров, Румата без штанов,  
Атлант без гречи и Мак Сим без башни,  
Пускай и совесть не чиста,  
И подвиг твой не нов —  
Ты избран, чтоб похерить мир вчерашний.  
Твори, дружок, иной расклад вот с этими людьми,  
Штрихом Родена  
И смычком Казальса.  
Но в час, когда придет пора построить новый мир —  
Смотри,  
Чтоб дивным он не оказался.

### **Libertango**

Я чемоданчик держу тревожный  
Уже полгода — такие дни.

Мне шепчут издали: "Осторожней!"  
И громко в ухо: "Иди, рискни!"  
И я рискую — свободой, штрафом,  
(Как мысль резвится, как яростный мат!) —  
А чемоданчик стоит за шкафом  
Как у прадедушки век назад.  
Плывет в туман золотая рыбка,  
Высокий чин издает закон...  
Играйте танго, кларнет и скрипка,  
Дрожи от страсти, аккордеон!  
Как мало солнца, Как мало неба,  
Как много лозунгов и речей...  
Играет танго поддельный Рэба  
На нервах преданных стукачей.

Плывёт тревожное пиццикато,  
Шаги на лестнице не слышны...  
Мы — как ни рыпайся — виноваты,  
Что не сбежали  
До той войны.  
Страна-концлагерь хрипит в оргазме,  
Как блохи, танки ползут по ней,  
И только танго, зараза, дразнит  
Мотивом прежних забытых дней.

Призывы сдаться — конфетно-лживы,  
Призывы биться — опять вранье...  
Звучи, Пьяццолла, пока мы живы,  
Пока не в карцере, Ё-моё!  
Развей мой пепел по водам Ганга,  
Что расстилается за дверьми.  
Давай, наяривай Либертанго!  
Свободы требую, Чёрт возьми!

А завтра снова пойду по краю,  
Над серой грудой гранитных плит,  
И что-то — может быть — доиграю.  
...А чемоданчик пускай стоит.

\*\*\*

Когда меня посадят  
За что-нибудь в тюрьму,  
Я ни гроша, ни строчки  
С собою не возьму,

Ни в дальние остроги,  
Ни в серые снега  
Не поташу ни друга,  
Ни злейшего врага.  
    Не попрошу отсрочки,  
    Не передам письма.  
    Подумаешь — разлука,  
    Владимирка, тюрьма.  
Ну, кулаком под ребра,  
Ну, сапогом в живот...  
На мне, как на собаке,  
Всё быстро заживет.  
    Шарманка-шарлатанка,  
    Неси мою тоску  
    По северному морю,  
    По желтому песку,  
Пусть жемчуг прорастает,  
Пылают янтари...  
Лишь обо мне, подруга,  
Ни с кем не говори.  
    Орут скворцы на ветке,  
    Пиликает трамвай...  
    А если кто-то спросит,  
    Молчи, не выдавай.  
Фонтан шумит и брызжет,  
Снимается кино...  
И не было, и нету,  
И след простыл давно.  
    Когда меня посадят,  
    Я в небо посмотрю,  
    Увижу золотую  
    Огромную зарю,  
А больше — ни намёка,  
Ни звука, ни души...  
...Забудь, покуда можешь.  
И писем не пиши.

\*\*\*

Арбат шумел,  
И времени столпы  
Стояли прочно.  
Длился май веселый.  
Мы шли с друзьями поперек толпы  
И пели задушевно "Гей, соколы!"

И не было ни войн,  
Ни тюрем,  
Ни  
Малейшей тучки на бескрайней сини.  
Мы шли в противофазе толкотни  
И от души на мове голосили.  
Сирень цвела в окружности двора,  
Портвейн дешевый лился, словно Волга --  
Быть может где-то, в глубине нутра  
Мы понимали:  
Это ненадолго.  
И чем звучней,  
Чем шире пели мы,  
Подняв коктейль за братство и свободу —  
Тем ближе становились жвалы тьмы  
И поворот  
К тридцать седьмому году.  
Нас распирала удаль и весна,  
Удача, Гонор, Пламени избыток,  
Тогда всерьез казалось, что война —  
Бредовый и абсурдный пережиток...  
Был наш союз неистов и крылат,  
Жизнь за спиной кастета не держала,  
И, выходя из арки на Арбат,  
Нас обнимал, как внуков,  
Окуджава...  
Сегодня мы —  
Опавшая листва,  
Развеянная в воздухе до срока,  
Чертополох,  
Попавший в жернова,  
Песок на дне кровавого потока,  
Нас в землю затоптала колея,  
Нет маяка,  
Нет исцеленья свыше...  
Но — живы мы!  
Так спойте мне, друзья,  
Как пели в те года.  
И я услышу:  
"Меду, вина наливайте  
Як загину поховайте  
На далекій Україні  
Коло милої дівчини.  
Дзвін, дзвін, дзвін, дзвіночку,

Степовий жайвороночку  
Гей! Гей! Гей, соколи!  
Оминайте гори, ліси, доли.  
Дзвін, дзвін, дзвін, дзвіночку,  
Мій степовий дзвін, дзвін, дзвін..."

\*\*\*

Серый кот на мостике горбатом,  
Звезды. Фонари. Нескучный сад...  
В ночь плывет письмо без адресата —  
Слава Богу,  
Выбыл адресат.  
Город спит в сиреновой нирване,  
Провода схлестнулись за спиной.  
Как тебе, дружище, в Ереване?  
В Тель-Авиве как тебе, родной?  
Vox humana улетаёт в выси,  
Тонет в беспросветной синеве...  
Пусть Мадрид, Сорбонна  
И Тбилиси  
Станут новой родиной тебе.  
Сохнут слёзы,  
Выцветают беды,  
Целый мир становится твоим:  
И Буэнос-Айрес,  
И Толедо,  
Бонн, Варшава,  
Амстердам и Рим...  
А дорога лечит,  
Манит,  
Гложет,  
Рвёт слова,  
Запутывает фон...  
Но никак из памяти не может  
Вырвать,  
Выжечь,  
Выкорчевать вон  
То, что прежде называлось домом:  
Дождь на МКАДе,  
Толчею в метро...  
Каждый переулок —  
В горле комом,  
Каждый перекрёсток —  
Под ребро.

...Тёмный абрис Курского вокзала,  
Память зла,  
Бездонна и чиста.  
Живы оба.  
Для войны - немало.  
Время всё расставит на места.

\*\*\*

Плачет Сальери,  
Тоской непонятной выжат.  
Лист разлинованный возле руки дрожит.  
Моцарт уехал в Прагу.  
Там можно выжить.  
А повезёт - научится просто жить.  
Как он посмел — уродец, пигмей, холера,  
Взял и уехал,  
Уёбище,  
Пидорас...  
Вену скосило ливнем.  
Надрывно-серым.  
Дуб-император опять отменил заказ.  
Плачет Сальери.  
Отчаянье душу гложет,  
Взял и уехал,  
Ну взял и уехал, гад...  
С кем обсудить политику, святой Боже —  
И написать анонимку,  
Как год назад?  
Пишет оттуда: "Поставили Дон-Жуана,  
Счастлив, как сука — какие там голоса!  
...Пёс я бездомный, Тони...  
Вернуться? Рано.  
Пусть уж закончится черная полоса".  
Пишет оттуда: "Здесь кофе намного хуже.  
Чешский учу.  
Помогает соседский сын.  
Как там, у нас? Ты носище не вешай, друже,  
Не допускай до сердца хандру и сплин.  
Если припрёт — приезжай, я тебя устрою.  
Будем работать.  
Хоть нищие — но вольны"...  
Вена крепит обычаи,  
Ходит строем.  
Надо бы маршей — к началу Большой Войны.



Всё как обычно — да этот придурок где-то...  
Зябко в квартире,  
Сифонит из-под дверей...  
Ну ничего.  
Мы тебя упакуем в гетто.  
Я напишу,  
Что по матери ты — еврей...  
Кляксой — вернись!!!! —  
Растекается по бумаге.  
Будь человеком,  
Утешь, успокой, согрей!  
...Мы прошагаем по вашей засратой Праге,  
Мы понастроим тюрем  
И лагерей,  
Что мне твои легенды про рабби Лёва,  
Что мне твой голем,  
В печёнку его итить?  
...Ты понимаешь, Моцарт,  
Что мне — хуёво?  
Ты понимаешь, Моцарт,  
Как страшно — жить?!!  
"В Праге отзывчив зритель,  
Лазурны дали,  
На островерхих крышах танцует свет.  
Только вот там — не родина.  
И едва ли  
Там я останусь...  
А впрочем...  
Вернуться?  
Нет.  
Здесь негодяй и бездарность сидит на троне,  
Душит свободу.  
Честность.  
И красоту.  
Мне за тебя обидно и страшно, Тони!"  
Страшно тебе, убоище?  
Я учту.  
...Взять бы в заглавнике честь, доброту, отвагу,  
Да и порядочность — тоже не кот нассал...  
Яд протухает.  
Моцарт уехал в Прагу.  
"Жить продолжаю.  
Реквием - дописал".

## Картинка

### Праздник

Приветливо, неторопливо,  
Поглаживая ветром губы  
Апрель - то щурится ревниво,  
То жаром обнимает грубо.  
То соловьём по новостройкам,  
То гладью моря по ступеням,  
То сладкой розы запах стойкий  
Сожмёт в объятиях на время.

На миг - и шелестят упруго  
Зелёным изумрудом листья,  
И это облако над лугом  
Апрелем в парусах повисло.  
И на цветке пчела, и в белом  
И розовом - миндаля на склоне,  
И нарисованная бегло  
Звезда Давида на балконе.

На скатерти вино и крошки.  
Пируют воробьи умело  
И шубка у соседской кошки  
Сегодня выкрашена в белый.  
И в белом - облака и дети,  
И в голубом - цветы и небо...  
Апрель... которое столетье,  
А каждый раз - как будто не был.

### Время

И покатались, покатались  
Горохом дни - не остановишь,  
И месяц, набирая силу,  
Уже спешит убавить скорость.  
И годы, выбирая наглость,  
Не тормозят уже на красный,  
И новый день себе на радость

Не замечает день вчерашний.  
И время лыжником на трассе  
Спешит рекорд поставить новый.  
Не утруждай себя напрасно -  
Ты времени помочь не можешь.  
И только в ногу, только в радость  
И только - по душе и телу,  
И только чтоб, себе на зависть,  
Бежать за временем хотелось.

## Израиль

Говорить - это двигать тяжёлые камни,  
А молчать – значит, не было, значит, ушло.  
У шести миллионов погибших есть общая память  
О шести миллионах – какое большое число.

Не за что - потому, что легко и возможно,  
И глаза не такого разреза, не той глубины,  
Не за то, что кого-то запачкали ложью,  
А за то, что совсем не имели вины.

Потому что любили, как все, и мечтали,  
И рожали детей, и сжигали мосты.  
О шести миллионах погибших есть личная память  
У таких же, как я, у таких же, как ты.

У таких же... Но как же мы все непохожи,  
Как нам вместе, когда беспричинна она -  
Эта ненависть к взглядам, делам, цвету кожи.  
Эта ненависть душит, почти как война.

Не молчать - говорить, не молчать - всё исправить,  
Править справа налево, учиться любить...  
Просто всё... Только как научиться тем правилам,  
Без которых на этой земле нам не жить?

\*\*\*

Солнце село на ладошку - всё озарено  
Пальмы лист, твоё окошко, всё, что суждено.  
Заиграло, заискрилось - осветилось вмиг.  
Маленький и беззащитный мир - опять велик.  
Он опять здоров и строен - весельчак, атлет.  
Он опять тобой наполнен, как в пятнадцать лет.

## Независимость

Независимость от властного окрика,  
Взгляда сверху вниз, снисходительной улыбки,  
Слова, брошенного в лицо,  
                                независимость от завтрашнего...  
Зависимость от - чужой, лишней, не равной;  
Стеклянный потолок - разбить, растворить,  
                                улететь на Луну,  
Закричать там: я свободен, я независим!!!!...  
Но, говорят, и там есть жизнь...

## Катька

А картинка хороша васильковая,  
Горы смотрят в облака, словно новые,  
Волны рыбьей чешуёй беззастенчиво,  
А у Катьки, у рябой, слёзы венчиком.

Усё не пишет, не звонит чёрт-любовничек,  
Видно, Катьку он продал за червончик-то,  
Загулял, заморосил, словно вытряхнул,  
Видно, всё уже забыл - взял да выдохнул.

А была любовь сильна - ночи светлые,  
Словно с чистого листа жизнь приветлива.  
Обещанья до зари петушиные...  
Катька верила ему - сильно, сильно так.

Кто сказал: идёт любовь нежным солнышком,  
У неё без стен была, да без донышка.  
Прилетела соловьём - песни пряные,  
Катька душу отдала, словно пьяная.

А теперь иди свищи - нету адреса,  
Что ж ты душу утащил, дьявол с кариесом?  
Отольются, отомстят слёзы Катькины,  
Будешь ползать на костях своих матерных.

Что ж, простит тебя - пустой номер разовый,  
Лишь мгновенье, зазвонит - жизнь под парусом.  
В васильковый день опять наряжается,  
Так и будет Катька петь, петь да каяться.

Эх, залётные слова - ночки сладкие,  
Сколько счастья, сколько зла в этих клятвах-то,  
Сколько веры, сколько лжи - кто подпишется?  
Только Катьку не суди - ей всё спишется.

Потому, что отдает всё до корочки,  
Потому, что нету зла в её горечи,  
Потому, что в васильках её улица,  
Потому, что все её - точно сбудется.

## Стихи, присланные из России

*Это первая публикация молодого поэта Анны Мельниковой. Она занимается в моём виртуальном литобъединении, и я с радостью наблюдаю за её стремительным ростом. Мне не удалось уговорить её взять псевдоним – это с её стороны не тщеславие, а особая ответственность за свои слова. Живёт она в России. Остальные её данные разглашать не будем.*

*Дмитрий Быков*

\*\*\*

Стихнет в улицах лай собачий,  
В туче лысину спрячет луна,  
И деревья, как бабы, заплачут.  
Пышногрудая, распалена,  
Ночь-буфетчица в грязном халате  
Выльет кваса густой переброд.  
А в кювете, как в детской кровати,  
Под забором пьянчуга заснет.

Поплыву я над жаром асфальта,  
Этот квас допивая в бреду,  
Прыгну, сделаю в воздухе сальто  
И как мыльный пузырь пропаду.

### Дождь

Всё утро скрёбся он в окно.  
Она рассматривала пятки.  
И в толстой розовой тетрадке  
Нет записей уже давно.

Весь день он ей надоедал.  
Она читала Бегбедера...  
Потом задумчиво сидела,  
Скучала и смотрела в даль.

Со злости он  
отшлёпал клён,

Дом обежал со всех сторон,  
Она закрыла занавески  
И снова погрузилась в сон.

Он грязь месил по мостовым,  
Потом расплакался у грядки,  
Она рассматривала пятки,  
Потом расчесывала прядки  
Пред отражением своим...

Обиделся и прочь ушёл.  
Тогда она открыла ставни,  
Курносый носом шмыгнув:  
– Славно!  
И, чуть помедлив:  
– Хорошо.

### **Город собак**

В этом городе только собаки у власти,  
Их подвальные страсти, их мерзлые пасти,  
Вязнет солнце в болоте, всплывает луна,  
В пегой плесени, в чахлах лианах стена.

Ты смертельно заразен, последний оплот,  
По проспектам усталое стадо бредет,  
Переполнены тюрьмы предсмертным гниеньем.  
У гиен перевыполнен план по геенне.

Грязеточит асфальт.  
Тает след.  
Тает снег.  
Каждый сам себе скот, каждый скот – человек.  
Как бездомные псы, изучая следы,  
Мы сбиваемся в стаи на поиск еды.

Поистерлась сутана твоя, сатана.  
Тут не ад, не чистилище.  
Типа страна.

## Смерть шахида

Социальный подранок, ты прах.  
Ты выходишь за грани.  
Слова «страх»  
Не отыщешь в Коране.  
Ты и прах, ты и плаха  
Во имя Аллаха.  
Ты ходячая месть.  
Остальным ещё жить,  
Выживать, и поэтому пить,  
Ненавидеть, для этого есть.  
Говорят «свобода»...  
Да кто бы что понимал!  
Ты станешь героем народа,  
Где роды – уже финал.  
Нет спасенья ни здесь, ни где-то,  
Все мы загнаны в это гетто  
По имени Третья Планета  
От солнца – последнего рая.  
Он увидит его, умирая.

## Смута

Высоко, в дорогих квартирах  
Живут богатые люди  
Им подносят на глянцевого блюде  
Потроха вчерашних кумиров.  
А внизу в сырых подворотнях  
Кто-то злой и голодный  
Ждёт команды «Ату!»,  
Чтобы с криком «Долой!» во рту  
Быстро взбежать по ступеням  
И сразу стрелять по коленям.  
Сбросить с балконов дворцов  
И сыновей, и отцов.

Кто-то хочет свободы и братства.  
Остальные просто боятся  
Не успеть к раздаче гербов.

Но как только скрепы падут,  
Все они взойдут  
По лестнице, кровью залитой,



Чтобы сделаться новой элитой.  
Для начала их жадная рать  
Учинит расстрел -  
Для тех, кто смотрел,  
Как первые шли умирать.

### **Дауншифтинг**

Наверно, так судьбою решено,  
Что поздно уносить отсюда ноги.  
И по привычке въёт веретено  
Седую пряжу полной безнадёги.

Чреда унылых закопчённых стен,  
Над мутною стоячею водою  
Повесились мосты.  
Кто взял нас в плен?  
Меня и тех, с пробитой головою.

И поезда, всё время поезда...  
Товарняки, вагоны, электрички.  
Старушки, челноки и голота.  
Спешит народ куда-то по привычке.

Но некуда.... Сомкнулись три кольца.  
Слепой маршрут, и на ходу не выйти.  
И нету ни начала, ни конца  
У прочной и тугой, как леска, нити.

Как пить дать – станет четвергом среда,  
А лужи льдом покроются зимою.  
Страшней всего – исчезнуть без следа  
Под этой очерстневшею землёю.

### **Где моя Родина?**

Нам уже всё равно,  
Куда с сумою идти.  
Что нас ждёт на этом пути?  
В остывших глазах  
Скрыт первобытный страх.

Это сомкнутый строй.  
И конвой.  
Нас ведут на убой.

Это граница.  
Ещё можно остановиться.  
И если взглянуть назад  
Ещё виден и дом, и сад,  
И дым остывающих труб,  
И застывающий пруд,  
И тысячи робких лампад,  
Что плача назад нас зовут.

### Отъезд

Этот город был пустым и белым,  
Он уже остыл и подмерзал,  
Прямо на глазах метель зверела,  
Был забит бездомными вокзал.

Люди были, люди плыли мимо,  
Я не замечала никого.  
Были все они, как я, гонимы,  
Всех нас этим годом замело.

Как подранок вздрогнул полустанок,  
Маятник по рельсам застучал.  
Мимо гиблых деревень и свалок  
От меня ты первым уезжал.

За окном мазки чертили ели,  
Пеплом чёрным сыпало с небес,  
Будто это мы с тобой сгорели,  
И никто доселе не воскрес.

В этом предзакатном пепелище  
Обмелели разом все моря,  
Каждый странник стал седым и нищим.  
Да и сам ты, честно говоря.

Горькой гарью тело пропиталось,  
Реки вен не поворишь вспять.  
Год назад я не смогла, осталась.  
Год спустя приди меня встречать.

\*\*\*

Как будто ты уехал навсегда  
И вроде расстояние – не помеха,  
Но шепчет в кочках талая вода,  
Что ты совсем не от меня уехал.

Как будто от любви хромает слог  
И смайлики грустят ежесекундно,  
Постой... не для меня ты одинок,  
И не по мне скучаешь ты как будто.

Назад дорога – снег и гололёд.  
И словно от стыда краснея, солнце  
Мне первой утром на ухо шепнёт –  
Он не к тебе вернётся.

### Где?

Уже не так влекут рассветы  
И тянут прошлого грехи,  
Угадываешь все сюжеты,  
Перестаёшь писать стихи,  
И успокаиваешь душу  
Горячим кофе по утрам.  
Ты где-то свой, ты где-то нужен  
И точно будешь счастлив там.

### Атлантида

Как пластмасса плавится город,  
У камней рассосались поры,  
Обугленных зданий стоны  
В моторных выхлопах тонут...  
По загруженным магистралям  
Машины – зомби из стали  
Нехотя давят метры.  
На горелых окраинах жертвы –  
Люди – чёрные спички.  
Кишат электрички,  
Чтобы за город, в глушь, в Рязань,

На Селигер, Тамань.  
Море Чёрное, Красное, Волга,  
Да хоть Клязьма или Ока...  
Но ненадолго...  
Только пока.  
Убежит на юга лето голое,  
Осень ударит в голову,  
И начнёт мегаполис бредить:  
– Возвращайтесь... блудные... дети...

\*\*\*

Росой холодного рассвета,  
Осадком в недопитой стопке,  
Похмельной тюрей водки и селедки  
Осело лето  
Средней полосы,  
А где-то  
Море забралось в трусы  
Какой-нибудь мулатки-иностранки,  
Бикини дергают за лямки  
Кудрявые морские псы,  
Все девки топлесс,  
Трубочка в кокос,  
На небе зреет красный абрикос...  
Лежишь, как мягкотелый авокадо,  
Не спишь, не думаешь, и ничего не надо.

\*\*\*

Дикая кошка породы звериных  
Дугой выгибает мохнатую спину,  
Нюхает, лижет, ломает, кусает,  
Рвёт на куски, лишь потом уступает.  
Девочка, словно когтистый зверёк,  
В маленьких глазках злой огонёк,  
Скованна, нервна, готова к прыжку,  
Пряди седые на юном пушку.

Молча бредёт с перебитым плечом,  
Жизнь виновата, она ни при чём.  
В заначке под шкафом – клубок из обид.  
Если подступишься – будешь убит.

## Запах корицы

### Пьедестал

*"Как разны мы с тобой несовершенны!  
Как падки ангелы!  
Как демоны блаженны!"*

Вчера прилетал мой Демон. Сказал, что устал.  
А я ему уже приготовила пьедестал.  
Думала, прилетит, обрадуется невзначай...  
Выпьем с ним чаю. (Демоны любят зелёный чай).  
А я ему – лимончика на пьедестал...  
Нет, развалился в кресле. Говорит, устал.  
Выпили чаю. Ну что, спросил, как живёшь?  
– А как живу? Вчера вот попала под дождь.  
Промокла вся, и зонтик в лужу упал.  
Так под дождём и тащила домой пьедестал...  
Ты хоть постой на нём. А я на тебя посмотрю...  
Знаешь, сегодня гуляла по ноябрю.  
Голые ветки – как тоненькие зверьки,  
Тянутся к небу, а руки у них короткие...  
Впрочем, тебе о Небе, наверное, ни к чему?  
Демоны любят Тьму. Ну что же, давай про тьму.  
Он рассмеялся: – Тебе-то откуда знать,  
Что любят демоны? В сказки веришь, видать?  
Я же из падших, как у вас говорят.  
Много грешил, веков двенадцать подряд.  
Но молодой был, весёлый. И всё мне сходило с рук.  
Небо меня любило. Одно было Небо вокруг...  
Ну, а потом... Когда-нибудь расскажу...  
Где там твой пьедестал? Давай, так и быть, посижу.  
Стоять не буду, годы уже не те...  
Посмотрю, порадуюсь твоей красоте.  
Ты бы могла стать ангелом, в другие-то времена.  
А в эти... живёшь, ждёшь демона, всё время одна да одна...  
Вот ты заснёшь, и я полечу себе. А ты без меня не скучай.  
И помни: ангелы, как и демоны, любят зелёный чай...

## Если Завтра не будет

Обними меня так, словно Завтра – не будет.  
Дыши мне в щёку, гладь меня по спине.  
Это сейчас мы – живые, влюблённые люди.  
И только сейчас мы – с блаженными наравне.  
Всего через миг всё изменится безвозвратно.  
За мной закроется дверь, и стихнет стук каблуков.  
Я выйду на улицу. Твоё время сквозь мокрые пятна  
дождя потечёт без меня. Быть может, во веки веков.  
Случится то, чего мы не могли придумать,  
лёжа в объятьях. Предутренний мир за окном  
разглядывал нас, как кусочки рахат-лукума.  
– Где там орешки? – И что с вами будет потом?  
Что с нами будет? Мор? Война? Угасание?  
Не думай об этом, просто впитывай каждый миг,  
слово, вздох, поворот головы, касание...  
не привыкая к счастью. Несчастлив тот, кто привык.  
Что там светлое будущее нам поднесёт на блюде?  
Яства, отраву – узнаем. Оно не минует нас.  
И потому обними меня так, словно Завтра – не будет.  
А я, уходя в безвременье, запомню и день, и час.

\*\*\*

Хочется правды -  
а получается ложь.  
Хочешь дотронуться –  
тебя по руке: Не трожь!  
Ищешь мужа –  
вокруг одни женихи,  
Хочется песен –  
а пишутся только стихи.  
Нет, безусловно,  
порой это даже в плюс.  
Страсти не вышло -  
зато миновал искуc.  
Больше ли выиграть –  
меньше ли проиграть?  
Мы бы, конечно, выбрали.  
Было бы что выбирать.  
Хочется снов – бессонница.  
Хочется денег – грош.  
Счастье за мною гонится.  
Врёшь! Меня не возьмёшь!

Но хочешь или не хочешь -  
                        несбывшееся болит.  
Желаний, может, и меньше,  
                        но каждое – монолит.  
Хочется мира, да вот ведь -  
                        у стен собирается рать.  
Хочется жить ещё долго –  
                        а уже пора умирать.

### Про пустоту

Я заполняю пустоту.  
Что ни отдам – всего ей мало.  
Она хватает на лету  
всё то, что я назанимала  
у беззаботных кутежей  
и у забот своих настырных,  
у записных тузов козырных  
и домоседок-ворожей.  
Я заполняю пустоту.  
Чего опять ей не хватает?  
То на ночь ей роман прочту,  
то расскажу ей пару баек,  
то нарисую ей квадрат,  
закрашу чёрным, как Малевич.  
Хотя на что такая мелочь  
той, что чернее во сто крат!  
Я разгоняю пустоту.  
Чтоб ей, проклятой, пусто было!  
Ты, мать, напала не на ту!  
Исподтишка напала, с тыла!  
Сказать по правде, кто ты есть?  
Дыра от бублика, не боле!  
Сама ты сгинешь поневоле,  
всего-то надо – бублик съесть.  
Вот так кричала я во тьму,  
а тьма светлей не становилась,  
лишь чередой, по одному,  
сдавались страхи мне на милость.  
Я всех и каждого сочту.  
И отпущу на все четыре.  
Мне есть, что делать в этом мире.  
...Я заполняю пустоту.

## Что случилось

Он пишет ей: Что случилось?

Она отвечает: "Война.

Под утро война мне снилась.

Я видела из окна,

над нами летели ракеты,

попали в соседний дом.

Я сразу подумала, где ты?

Не там ли, не в доме ли том?

Во сне под окнами танки

ровняли с землёй детский сад,

и, вывернутый наизнанку,

но всё же не пойман, не взят,

прыгал над танками мячик,

как будто играл в войну...

И тут я решила: значит,

не сбыться такому сну.

Уж слишком на правду похож он

и шпарит один рефрен

про бомбой убитых прохожих,

про дом, что жильцами брошен,

над ним пересвист сирен...

А я всё думала: где ты?

Просила Бога во сне,

чтоб ты не приснился мне в этой,

похожей на правду войне.

Да, жизнь у смерти – в немилости,

но той и другой – грош цена..."

Он пишет:

– Да что случилось-то?!

Она отвечает:

– Война.

## Лингвистическое танго

*"Шепчите женщине слова.*

*Слова для женщины – основа".*

*Михаил Фельдман*

Ты стал небрежен в словах.

А это хуже, чем небрежен.

Сошли на нет былой размах

И озорство изящных фраз.

А между тем в моей душе



Пыл разгорается всё реже.  
Он от нотаций и клише,  
Увы и ах, почти погас!  
О, как безудержна была  
Твоя словесная повадка!  
Как, закусивши удила,  
Ты жёг за мной свои мосты!  
Как, не похож ни на кого,  
Ты уличал умно́ и сладко  
Все части тела моего  
В грехе безумной красоты.  
Как ты бывал велеречив!  
Как жёг словцом и анекдотом!  
Законы жанра изучив,  
Ты нарушал их всякий раз,  
Когда на клавишах моих  
Играл словами, как по нотам,  
Всё для того, чтоб не утих  
Мой лингвистический экстаз!...  
...Теперь же чувству моему  
Буквально некуда податься,  
Когда ни сердцу, ни уму  
Ни слова страсть не говорит!  
Всё – без аллюзий, впопыхах,  
Без сумасбродств и кульминаций!  
Ты стал небережен в словах.  
А это хуже, чем... небрит!

### **Вдруг**

Вдруг захотелось остаться одной.  
Слушать, как ветер за тонкой стеной  
Бьёт в колокольчик.  
Взглядом распутывать нити дождя,  
Пусть разлетаются, чуть погодя,  
На многоточья...

Дождь – не помеха. Под старым зонтом  
Можно бродить, вспоминая о том,  
Что не случится.  
Топать по лужам, вернее, порхать,  
Булку купить и блаженно вдыхать  
Запах корицы...

Можно смотреть на просвет в облаках,  
Чтобы дожждаться, когда впопыхах  
Выглянет солнце.  
Можно под ворохом пасмурных дней  
Спрятать надежду и помнить о ней,  
Если взгрустнётся...

Можно идти, не считая шагов,  
Дальше – от дома, друзей и врагов,  
Прошное – в ключья!  
Вдруг раствориться в завесе дождя  
И разлететься, чуть-чуть погодя,  
На многоточья...

\*\*\*

А когда всё это кончится,  
Будет просто тёплый день.  
И, забытый в одиночестве,  
Мир с короной набекрень.  
Мир притихший, но недремлющий,  
Не герой и не боец.  
Как он хлеба ждал и зрелища!  
И дождался наконец.  
Ах, свобода невозможная,  
Словно крылья вместо рук!  
Пустоту спрошу: «А можно я..?»  
Пустота заплачет вдруг.  
Нелюбимая, постылая,  
Как лекарство от беды,  
Серафима шестикрылая  
В замке Синей Бороды.  
Ей бы согнуться в тихом омуте,  
Там, где черти и тоска,  
А она кружит по комнате,  
Крутит пальцем у виска.  
Никого не буду спрашивать,  
Просто выйду за порог.  
Надо мной по праву старшего  
Пролетит усталый Бог...

## Сны до утра

\*\*\*

Ещё недавно всем телом сжималась в узел  
Под одеялом, будто оно защитит от ракеты.  
Сегодня спокойно жду, пока телефон загрузит  
Новость о том, что она прилетела где-то,

Но не у нас. А у нас всё почти что мирно.  
Шум генераторов, но, слава Богу, не дронов.  
Из русскомира орут: "Мы ударили превентивно",  
Но это всё не ново, давно не ново.

Словно квадрат Малевича, тёмный город  
Вновь осветился цветными заплатками окон.  
Список вещей из экстренного набора  
Безукоризненно отработан.

Мы покричали, поплакали и прижились  
Словно улитка, только в чужой ракушке.  
Лишь бы под панцирем раны не загноились.  
Лишь бы дождаться, когда отстреляют пушки.

### Дуб и птаха

Я не знаю, что стало последним доводом.  
Я давно поделил своё сердце с городом.  
Пуповиной незримой, воздушным проводом  
Потянулся за мной мой родимый дом.

За спиной у меня раздавались выстрелы,  
И я понял очень простую истину:  
Всё, что раньше казалось таким немыслимым  
Может сбыться одним очень страшным днём.

Как шальные кости, что черти бросили,  
Мир летел, и страшно кренилась ось его.  
И катились слезы - от горя, злости ли,  
А привычный быт полыхал огнём.  
Мне приснился сон, я глаза все выплакал:  
Мне приснилось, что дуб свои корни выкопал

И бежал за мной, только вдруг сухим упал  
И в тот самый миг обернулся пнём.

Я развеял сон и смыл с глаз налёт его.  
Птах железный ждал и дорога взлётная.  
Я подумал – птица-то перелётная.  
Значит, все вернёмся и всё вернём.

### **Ассоль**

Ассоль, просыпайся, протри же глаза.  
Почему, как считаешь, алы паруса?  
Почему голубые, как сон, небеса  
Черный дым прорезает?

Просыпайся, Ассоль, и беги поскорей,  
Ты же видишь прекрасно, что это не Грей,  
Хоть плывёт алый парус среди кораблей.  
Только цвет тот пугает.

Не споткнись же, Ассоль, помни - это не сон.  
Это ярости крик, а не нежности стон.  
Колокольный тревожно звучит перезвон  
И тебя подгоняет.

И не злись на соседей, они не со зла,  
Даже если и спросят: «Ты Это ждала?»  
И скажи, что ты сделала всё, что могла,  
Но любовь не спасает.

### **Жара**

Сквозь призму зноя дни искажены  
И огненную пасть раскрыло солнце,  
Заглатывая признаки весны  
И память иссушая всю до донца.

И бог огня смеётся в небесах,  
А на земле, послушны воле Локи,  
Всё жарче дни, горят поля, леса,  
А люди раздражённые и жестоки.

И лето ускоряет колесо,  
Я медленней дышу, поддавшись зною.  
А мир сжимает пламени кольцо  
И искрой потухает надо мною.

## Три дара

Мне ночью одной привиделось, будто снег  
Покрывл мою комнату белым пушистым слоем,  
И был этот сон безоблачен и спокоен,  
Меня одарив сверкающей белизной.

Мне как-то приснилось, что дом залила вода.  
Морская, зелёная, как изумруд на солнце.  
Она просто тихо скользнула в моё оконце -  
Спокойно и мирно, как будто пришла домой.

Мне как-то пригрезилась полная темнота.  
Накрыла, как бархат, и все поглотила звуки.  
Она, как котёнок, просилась ко мне на руки -  
Ей нравились мои пальцы и голос мой.

Я как-то проснулась и будто попала в сон -  
Мне виделись всюду снега, темнота и море.  
Они где-то там, гуляют теперь на воле,  
Оставив мне в дар  
лишь ничтожный кусочек свой.

## Тьма

В закрытые окна сквозь щели вползает тьма.  
Она как смола ко мне проникает в душу.  
Сжимает пространство, влезает в глаза и уши,  
К утру обещая точно свести с ума.

Она - как безмолвие древних сырых пещер,  
Безыменность мира, где солнце не создавали.  
Она - словно хохот Шивы и ярость Кали,  
Она - как сорвавший разума цепи зверь.

И я изрыгаю тьмы ледяной поток,  
Который давно изнутри мне царапал горло,  
И я выпрямляюсь - величественно и гордо,  
Пробив головой мешающий потолок.

И я отправляюсь. Геката, Дионис, Кали...  
Я слышала вас. Сегодня меня вы звали...

## **И наступит зима**

Ярко-алый гранат –  
                                словно капли непролитой крови.  
Прикоснись и познай  
                                его терпкий, но сладостный вкус.  
Ах, не хмурь, дорогая, прекрасные черные брови -  
Кто кого здесь похитил,  
                                я даже судить не возьмусь.

Твоя жизнь проста и мила, я, конечно, не спорю.  
Полевые цветочки прелестны и радуют глаз.  
Но позволь мне спросить,  
                                что ты знаешь о счастье и горе?  
Друг без друга их смысл порой ускользает от нас.

Станет саван твоей подвенечной фатой и платьем.  
Моя власть безгранична – безжалостны к людям года.  
Ты придёшь добровольно в мои роковые объятия,  
Словно шлейф пронесёшь по Земле холода и снега.

Бусы зёрен рубинами станут в трепещущих пальцах.  
Ты устала бояться.  
                                Ты скоро решишься сама.  
Не страдай – воле рока разумнее просто отдаться.  
И Деметра заплачет.  
И в мире наступит зима.

## **Красота**

Пока совсем не канут в пустоту  
Эмоции, желания и чувства,  
Волнует непокорное искусство  
Святых в раю и демонов в аду.  
  
Ад в небо превращая, небо в ад,  
И вознося над ними человека,  
Чья жизнь порой куда короче века,  
Но кто её страстям сильнее рад,  
Чем воскрешенью жертвенных ягнят  
И обещаньям Ветхого Завета.

И нет добра и зла - есть Красота,  
Сама себе причина и основа.  
Мир не спасёт - но воцарится снова,  
Из тщеты человечества восстав.

\*\*\*

Нам подарит зима чистый лист первозданного снега.  
Мы напишем историю наших безжизненных дней.  
Скудный свет угасал.

Мир по-прежнему даже не ведал  
О своей красоте и пустынности длинных аллей.

Я укурю тяжелым пальто твои плечи и руки.  
Чашка чая согреет утробу – увы, не сердца.  
Этот мир так бесстрастен –

в нём нет даже места для скуки.  
Я прозрела, но руки так страшно отнять от лица.

Чай остыл и застыл коркой льда, серебристой и тонкой.  
Что должно быть лишь завтра,

сбылось и забылось вчера.  
Я открою глаза, что хранят ледяные осколки,  
И позволю снегам наполнять мои сны до утра.

## Одиночество

\*\*\*

Одиночество - отсутствие любви,  
ощущение озноба летом,  
вера в экстрасенсов и приметы,  
что на помощь смогут нам прийти.

На пути - отсутствие следов,  
тех, что рядом оставляет кто-то,  
и души напрасная работа,  
и гербарий из ничьих цветов.

Утомлённость скучным бытиём,  
пустота подушки по соседству,  
и ответ небьющегося сердца  
на вопрос: «Зачем тогда живём?»

\*\*\*

Когда дышать все тяжелее,  
когда банкует боль в висках,  
рассказ сидевшего еврея  
я вспоминаю. Отыскав  
давно затёршееся фото,  
смотрю как в зеркало -  
теперь  
его и Господа работа  
видна. К тому же мне апрель  
вот-вот напомнит о рождении  
и тошнотворном бытие...  
Прочту ему стихотворенья,  
что он читал когда-то мне!  
Опять спрошу его совета,  
а он закурит «Беломор»,  
и даст на всё свои ответы,  
как добрый дядька-Черномор.  
Как он не сгнил тогда в ГУЛАГе,  
как вскоре стал моим отцом,  
что ложь - не песни об отваге,  
а притворяться мудрецом.



Он просто жил,  
и там, и после,  
жил, чтоб однажды мне сказать:  
- Сынок, давай скорее в гости,  
я так хочу тебя обнять.  
А я всё ехал, не доехал,  
скорей бежал, не добежал,  
и плащ давно уже в прорехах,  
и затупился мой кинжал.  
И я смотрю назад, дурея,  
что не дослушал, не обнял  
его - сидевшего еврея,  
себя - не понял, разменял...

\*\*\*

Всё тяжелее раздышаться,  
всё громче слышен волчий вой,  
всё чаще споришь сам с собой,  
надеясь в разуме остаться.

Карикатурность бытия  
уже давно зашла за грани,  
и только краешек сознания,  
как раньше, узнает себя...

А в перерывах немоты,  
когда от звона ломит уши,  
чёрт выворачивает души,  
увидев, что они пусты.

Стоят нейронные часы,  
и дело близится к развязке -  
мы все, устав, сжигаем в тряске  
неразведённые мосты.

\*\*\*

Кто знает - что нам можно, что нельзя?  
В погоне за собой бежим по кругу,  
сбивая и уродуя друг друга.  
Потом опять бежим,  
но от себя.

Бог создал удивительных людей,  
уже в начале плюнувших в него же...

Так и пошло - мы обдираем кожу,  
чтоб доказать, кто хуже, кто глупей.

Что можно, что нельзя - границы стёрты,  
как мел со школьной крашеной доски.  
Мы, разрубая прошлое в куски,  
плюем на всех и посылаем к чёрту!

Кто ж правит бал в обличье сатаны?  
Не успевая низко бить поклоны,  
идут в небытие опять колонны...  
Кто правит бал? Конечно, только мы!

\*\*\*

По белому полю — красные кони,  
костёр на снегу.  
Кто сгинул в нелепой, безумной погоне,  
сгорел на бегу?

Луна вдруг опухла, закрыла полнеба  
лицом толстяка...  
Что проигрыш значит, что значит победа?  
Вопрос на века!

Вон звёзды рассыпаны — искры сигары,  
вокруг темнота.  
Так кто же развёл нас в пространстве по нарам?  
Зачем пустота?

Всё шире улыбка рогатого зверя,  
и псы у дверей...  
Бегу, разрывая пространство и время.  
Скорее! Скорей!

\*\*\*

Сколько же всего напутано  
в наших странных головах.  
Мысли, словно на батутах,  
прыгают. Потом в словах  
начинается бессмыслица  
и, совсем теряя нить,  
ночь тихонечко придвинется,  
чтобы снами явь смутить.

Пусть размытое сознание  
убаюкивает плоть -  
лучше глупость и незнание,  
чем в Сибири лёд колоть!  
Лучше тихое бессловие,  
бессловесная тоска  
и тоскливое условие,  
словно дуло у виска!

В фиолетовом безмолвии  
умирающий сверчок  
и, привыкшие к злословию,  
засыпаем. На бочок!  
Утром колея разбитая  
позовёт в убогий путь  
и кибитка позабытая  
довезёт куда-нибудь...

## На фоне жизненных ничтожностей...

\*\*\*

Вечная затворница,  
Встречная наместница –  
В два тысячелетия  
Жизнь твоя уместится...

Скромная напарница,  
Громкая попутчица...  
С этим делом справиться  
У неё получится...

\*\*\*

Спиною к нищете —  
Вельможно, привередно –  
Ты спишь на животе  
(Хоть едят, это вредно...)

И — слава, тяжела,  
Под окнами крадётся...  
А — жизнь уже прошла  
(Хоть, может быть, вернётся...)

\*\*\*

На фоне жизненных ничтожностей,  
Презрев обыденные частности, –  
Ты выставил в окно возможностей  
Свою подушку безопасности.

По-над грядущую дороною  
Неканонически нависшая, –  
Она собой закрывает многое,  
Открыв (для посещений) высшее...

\*\*\*

В зеркало заднего вида –  
Плашкой к победным годам –  
Смотрят беда и обида.  
Для, отражаются там...

Впрочем, не стоя на месте,  
Жизнь продолжает игру.  
Будут хорошие вести.  
Что (поначалу) к добру...

\*\*\*

В четырёх стенах  
(Думая о броне) –  
Ты сидишь, монах  
(Или — кто-то вроде...)

Город пустотел  
(Изначально это...)  
Хоть не опустел  
(В качестве макета...)

\*\*\*

1  
Узник QR-кода,  
Пасынок родни –  
О путях исхода  
Думаешь все дни  
И — бредёшь, сутулясь  
(Это не в упрёк) —  
Вдоль подлунных улиц  
(Или — поперёк...)

2  
Сумрачный мирянин  
Пенсионных лет  
(В основном) сохранен –  
Ты идёшь на свет.  
Лишь на этот, белый  
(Сквозь его года...)  
Что ты с ним ни делай –  
Он такой всегда...

3  
Лишние отчёты.  
Ближние дела...  
Господи, о чём ты?  
Жизнь (почти) прошла...  
Годы в Лету канут:  
Выйдут из огня  
(Не взломав аккаунт  
Светового дня...)

4

Ночь. Вблизи порога –  
Одиночный шаг...  
Ширится дорога.  
Впереди – большак...  
Вдоль обочин двину.  
Разомкнув кольцо –  
Ветер дышит в спину.  
А ещё – в лицо...

### Максимы

\*\*\*

Шанс  
(Почти что  
Нулевой):  
Гол  
С пенальти.  
Головой...

\*\*\*

Границы здешнего владения  
(Не муравейник, так термитник...)  
На левом фланге нападения  
(Опять) играл правозащитник...

\*\*\*

Как на новые ворота  
Смотрит не один баран –  
Два мальчишки-обормота  
Да почтенный ветеран...

\*\*\*

Собирал гербарии  
Мэтр при бороде  
Только в колумбарии  
(А – не абы где!..)

\*\*\*

Эра безупречности  
Миру не истица –  
На задворках вечности  
Буднично ютится...

\*\*\*

Чтобы затем  
Возродиться элите, –  
Зёрна от плевел  
Сперва отделите...  
\*\*\*

Миру полный бред  
С лихвой талдычь –  
И предстанет правдой  
Эта дичь...  
\*\*\*

Здесь вставая под знамёна  
И шагая изумлённо, –  
Не равна вселенской лепте  
Жизнь в своём боекомплекте...  
\*\*\*

Диктатура лет  
(Качество времён)  
Оставляет след  
(Бесконечен он...)  
\*\*\*

Исходно был один лишь план.  
Точнее – лишь сплошной туман...  
Ни плана «b», ни плана «с».  
А – что получится. В конце...  
\*\*\*

Пыль столбом,  
Дым коромыслом...  
В дне любом.  
Глубинным смыслом...  
\*\*\*

Форточки оконные.  
Мостики перил...  
Внутренние контуры  
Всех твоих мерил...  
\*\*\*

– Не может быть двух мнений!–  
Провозгласил не гений.  
А гений смуту множит:  
– Ни одного не может.

## Этот мир между светом и тенью

\*\*\*

Этих слов мимолётных значенье,  
Этот холод кромешный и зной,  
Этот мир между светом и тенью,  
Этот миг меж зимой и весной,  
Эта сладкая горечь сиротства,  
Рокот, что прокатился в тиши, –  
Птица только на них отзовется  
И эолова арфа души.

\*\*\*

Много минуло дней, много минуло лет,  
Но остался в душе смутным сном, отголоском,  
Мотыльком невесомым, летящим на свет,  
Тот наивный мотив, простодушный, неброский.  
Было несколько важных, ответственных дел,  
Не до музыки было и не до стихов мне.  
Я когда-то его записать не успел,  
А теперь его вряд ли когда-нибудь вспомню.

\*\*\*

Декабрь опять завёл свою бодягу:  
Как год и два назад, под Новый год  
Земля уже не впитывает влагу,  
А дождь не унимается. Идёт.  
На что нам уповать? На Божью милость?  
Начать нетрудно. Сложно завершить.  
Как говорится, небо прохудилось.  
Распорото. И некому зашить.

\*\*\*

Как неразумны мы и, может статься,  
Лишь огороды можем городить:  
Мы вовсе не умеем расставаться  
И вовремя спокойно уходить.  
Такая ситуация смешная:  
У нас, наивных пленников страстей,  
Один уход побег напоминает,  
Другой – уход назойливых гостей.



\*\*\*

Чтоб ощутить себя живым,  
Одно спасительное средство –  
Пройтись по тем же мостовым  
И улицам, знакомым с детства.  
Хоть истина и не нова,  
Что здесь почти что всё другое,  
Но та же неба синева  
И те же листья под ногою.

\*\*\*

За больничными окнами – ключья небесной трухи,  
Притирались боками снежинки, небесные пазлы.  
Более полувека назад написал я стихи –  
Первую в жизни картину, картину маслом.  
Впрочем, это была не картина. Скорее, лубок.  
Просто проба пера, неумелая, нервная,  
Словно кошка, свернувшаяся в клубок,  
Аккумулирующая жизненную энергию.

\*\*\*

И вспомнишь мельком, невзначай  
Тот вечер, что случился в мае:  
Как остывал в стаканах чай,  
И мимо окон шли трамваи,  
И как сидели дотемна  
В уютной маленькой кафешке,  
И столик около окна,  
И зонтик, что забыли в спешке.

\*\*\*

Пока текла и падала вода,  
Пока учился ставить запятые,  
Я для себя составил навсегда  
Для жизни этой правила простые:  
Прощать друзей и слепо доверять,  
Куда тропинка приведёт лесная,  
И сплетнями свой слух не засорять,  
И не писать о том, чего не знаю.

## Из подземелья

\*\*\*

Мир в перелом, как об колено,  
выгнут углом и непременно  
треснет от тяжести двух сторон.  
Не уползти из-под обломков,  
как ни крути, теперь потомкам  
рыться в руинах, пугать ворон.

Мы продрались за перекаты,  
всё – зашибись! Хоть небогато,  
перебивались, кто как мог.  
Жизнь без большой войны растлила.  
Что за душой – не в этом сила,  
с кем-то удача, с кем-то Бог.

Жалко детей, а больше внуков –  
век без затей чесночен, луков,  
горек, что с пряностями, что без...  
Им предстоит такая гонка!  
Жуток на вид, порвёт, где тонко  
страшный, висящий над всеми вес.

### **Чепуха, лезущая в голову осенним утром**

Вот, скажем, этот лист,  
прижавшийся к зелёной траве  
на лужайке у дома, жёлтый,  
слегка пожухший по краю,  
один, не затерянный в остальной  
сметённой в общую кучу листве,  
зачем так вцепился в траву? Что под ним?  
Как узнать это, не подбирая?  
Не поднимая его, во-первых, потому,  
что болит спина,  
и если, кряхтя, раскорячившись,  
я нагнусь, чтобы это сделать,  
не только трава под листом  
станет всем видна,  
но и жалкая неуклюжесть  
моего пожухлого тела.

А во-вторых, даже если,  
предположим, окажется вдруг,  
что под ним что-то есть  
помимо травы, я же всё нарушу,  
и неловким движением – смотри выше –  
неуклюжих рук  
обнажу, выставлю на обозрение  
чью-то дрожащую душу.

И даже когда ветер через минуту  
его сметёт, унесёт туда,  
в большую общую кучу  
к пожухшим, уже сметённым,  
и станет видно, что там ничего,  
только трава, – и тогда  
вопрос, что под ним сейчас, пока он ещё здесь,  
останется неразрешённым.

И может быть, главная тайна жизни в этом-то и состоит.

\*\*\*

Повалиться ничком на кровать,  
зажимая руками затылок,  
и орать, в полный голос орать,  
не заметив ехидных ухмылок.

Ни о чём. Знаю сам, ни о чём –  
нет беды для подобного ора,  
да и то, что свербит под плечом,  
всё пройдёт. И, наверное, скоро.  
Но ведь, чёрт побери, не смогу!  
Не дано с поводка мне сорваться –  
только гнать через строчки пургу  
и в постыдных слезах признаваться.

### **Песенка о невезении**

Как не выпить коньячку за удачу друга!  
Я и чаще бы не прочь – пусть друзьям везёт,  
да с удачами у нас что-то нынче туго,  
плачь не плачь, а всё равно карта не идёт.

Стоит старым пням пустить свежие побеги,  
стоит листьям зашуметь на мажорный лад –  
тут же тянутся в наш лес по дрова телеги,  
о точильные бруски топоры визжат.

Не прибавила ума голова седая,  
а судьба за годом год лепит всё назло...  
Нет сомнений, что добро в жизни побеждает,  
это просто нам с тобой так не повезло.

Хоть кого сведёт с ума чёртова погода –  
снег с дождём над головой, а кругом тепло...  
Говорят, в семье любой всё ж не без уroda,  
всё в порядке, это нам так не повезло.

Романтический пейзаж, речка, склон мохнатый,  
тут же башня на скале, жёсткий поворот...  
Дождь немного поутих, речка прёт куда-то...  
Жизнь прекрасна... Коньячку – и друзьям везёт!

### **На берегу**

Берег моря, лунный свет,  
лунная дорожка.  
Будто никого тут нет,  
только я немножко.  
В море виден огонёк,  
там корабль, наверно,  
им, матросам, невдомёк,  
как бывает скверно.  
И с чего бы, хрен поймёшь, -  
объясните, братцы! –  
ну, луна над морем, – что ж  
с этого стреляться?  
Что так давит поперёк,  
что свербит в печёнке?  
Ну, луна, ну, огонёк...  
Берег. Ночь. Потёмки.

## Убийца

*«Это сделал, в блузе светло-серой,  
Невысокий старый человек».  
Н. Гумилёв*

Мой однокурсник стал убийцей,  
Преуспевающим притом, -  
Сумел немалого добиться  
На этом поприще крутом.

За основательной оградой,  
За очень строгой проходной,  
Где гонит прочь кого не надо  
Недружелюбный постовой,

Сидит мой бывший однокашник,  
Творя своё на благо всем,  
Такой усталый и нестрашный  
Перед дисплеем ЭВМ.

Но вот окончен день рабочий.  
Звонок. Семнадцать сорок пять.  
Домой, домой, к жене и дочке  
Герой наш едет отдыхать.

В портфеле хлеб, пакет кефира,  
Американский детектив....  
Метро. Подъезд. Этаж. Квартира.  
Убийца дома. Весел. Жив.

А где-то за Полярным кругом  
Зашевелится мерзлота,  
Неторопливо, без натуги  
Отъедет в сторону плита...

Остервенело и нелепо  
Сквозь снеговую круговерть  
Из подземелья смотрит в небо  
Тобой рассчитанная смерть.

## Я Бога не гневлю

\*\*\*

Я Бога не гневлю, приемля молча,  
что высох мой упрямый оптимизм,  
и старости естественная порча  
съедает на корню мой организм.

\*\*\*

Когда народ живёт послушно  
по воле властного веления,  
то неминуемо удушье  
и порча душ у населения.

\*\*\*

Хватит сочинённых в рифму строк,  
близится последняя страница;  
чувство, что сказал я всё, что мог,  
требует уже остановиться.

\*\*\*

С российской властью отношения  
у мирных жителей просты:  
удушьё лучше удушения;  
и все повесили хвосты.

\*\*\*

Я бурно жил и нечестиво,  
мы все тогда чуть обезумели,  
и груды благостного чтива  
нас никого не образумили.

\*\*\*

Ощущаю без фальши и мистики,  
завершая удавшийся стих,  
что враги мои – просто завистники,  
и вполне понимаю я их.

\*\*\*

Вспоминаю любимые лица –  
нам уже не собратиться теперь,  
ибо время – холодный убийца,  
отмеряющий сроки потерь.

\*\*\*

Мудрей об этом пишут гении,  
а у меня лишь понимание:  
жить надо так, чтоб в одряхлении  
хватило сил на выпивание.

\*\*\*

Туда я не поеду уже вновь,  
и не назло тупому суесловью,  
а просто испаряется любовь,  
замаранная подлостью и кровью.

\*\*\*

На смену нам уже другие  
приходят в качестве внучат,  
но упования благие  
ещё несбыточней звучат.

\*\*\*

Я графоман и плодовит,  
а несмотря на возраст жуткий  
вполне имею сносный вид  
и до сих пор ещё в рассудке.

\*\*\*

За нами всё-таки Творец  
следит издавека,  
и окончательный пиздец  
нам не грозит пока.

\*\*\*

Однажды неизвестный древний гений  
придумал – на века, того не зная,  
и нету в мире лучше сочинений,  
чем миф, что после смерти – жизнь иная.

\*\*\*

Покрылось небо серой пеленой –  
предвестие дождливого мотива,  
а я сижу, как умственно больной,  
над вязкой паутиной детектива.

\*\*\*

Читал философов я редко,  
своим пытался жить умом,  
и даже мысли древних предков  
я находил в себе самом.

\*\*\*

Не я лишь один и не первый  
на небо гляжу в укоризне,  
что курвы, оторвы и стервы  
удачливей прочих по жизни.

\*\*\*

Опять согласны старики  
в их закоснелом долгожительстве,  
что снова правят дураки  
в недавно избранном правительстве.

\*\*\*

Когда внутри живёт горение,  
а то порой и полыхание,  
то даже тяжкое старение  
течёт, как лёгкое дыхание.

\*\*\*

Безжалостно время. Оно как лавина,  
его остановишь едва ли,  
и так оно подлое неумолимо,  
что мы на него наплевали.

\*\*\*

Мы гуляем, поём и пляшем,  
души радуется суета,  
и ступает по жизням нашим  
нам неведомая пята.



\*\*\*

Поэту – перо, а художнику – кисти,  
их чувства темны и сложны,  
а мысли мои – как опавшие листья –  
уже никому не нужны.

\*\*\*

Когда б не крупная интрига,  
да хоть и мелкая, но есть,  
то ни одна на свете книга  
себя не звала бы прочесть.

\*\*\*

Давайте сядем и покурим;  
я со стыдом хочу признаться:  
что из чекиста выйдет фюрер,  
могли мы раньше догадаться.

\*\*\*

Кто верует, ему всё в жизни ясно,  
и нет недостающего и лишнего,  
и что везде творится – не напрасно,  
поскольку с повеления Всевышнего.

\*\*\*

Мы головы таскаем на плечах,  
и связаны поступки наши с ними,  
но часто второпях и сгоряча  
мы попросту не пользуемся ими.

\*\*\*

Строги законы естества –  
и лето полнится плодами,  
и вянет осенью листва,  
и тают помыслы с годами.

\*\*\*

И в апреле весной, и зимой в декабре  
дар дурацкий мой жил и не гас,  
а стихи сочинял я на заднем дворе,  
где скамейка – мой верный Пегас.

\*\*\*

Стихи мои теперь горчат,  
на них легли заката тени,

в них возрастные грусть и чад,  
но нету прежних хуетеней.

\*\*\*

Из памяти почти мгновенно  
всё испаряется с утра,  
лишь остаётся неизменно  
прогноз погоды на вчера.

\*\*\*

Небрежно я готовился к урокам,  
которые пекла судьба моя,  
но счастье улыбнулось ненароком,  
и выпала прекрасная семья.

\*\*\*

Я рад весьма, что в качестве итога –  
врачи, конечно, профи и не врут –  
мне противопоказано немного,  
а главное – любой опасен труд.

\*\*\*

В толпе крутых богатырей,  
Врага разивших наповал,  
вдруг вижу я: стоит еврей!  
Он им доспехи продавал.

\*\*\*

По счастью, незнакома мне бессонница.  
Заснув, я просто сызнова живу,  
во сне со мной играет и трезвонится  
такая же херня, как наяву.

\*\*\*

В Израиле настали холода,  
несутся пешеходы вскачь и впрыть,  
и я, враг бега и труда,  
поднялся, чтобы форточку закрыть.

\*\*\*

Сижу, больной, в домашней клетке,  
едва гожусь на мух я ловлю,  
врач уповает на таблетки,  
и я ему не прекословлю.

\*\*\*

Когда последней сигаретой  
я благодарно затянусь,  
с души моей затяжкой этой  
сметётся вся земная гнусь.

\*\*\*

Какое дивное блаженство –  
отдаться лени победительной  
и про своё несовершенство  
с улыбкой думать снисходительной.

\*\*\*

Различные речи послушав,  
я понял: они не пусты –  
есть люди, у них даже в душах  
живут и плодятся глисты.

# **НОН-ФИКШН**

**Соломон Гольдельман**

## **Третье министерство еврейских дел УНР**

*из книги*

**«Еврейская национальная автономия в Украине.  
1917-1920»**

Соломон (Шулем) Гольдельман родился в уездном бессарабском местечке Сороки (теперь Сорокского района Молдовы) в 1885 году. В 1905 году юноша стал членом сионистской социал-демократической рабочей партии «Поалей Цион», с 1907 года жил в Киеве. В 1913 году Гольдельман окончил Киевское Высшее коммерческое училище (пользовавшееся популярностью у евреев, поскольку долгое время там не было процентной нормы), и тогда же опубликовал свою первую работу: «Хрестоматия по экономической политике», в двух томах. Впоследствии Гольдельман много печатался под псевдонимами «С. Золотаренко» и «С. Золотов» (оба - дословные переводы фамилии Гольдельман), причем не только на русском, но и на украинском языке – весьма неординарный выбор для тогдашнего еврейского публициста.

Гольдельман восторженно принял Февральскую революцию, принесшую евреям долгожданное равноправие. Вместе с тем, в отличие от большинства еврейских политиков, едва ли не с первых дней революции Гольдельман придерживался проукраинской ориентации. В феврале 1917 года он был назначен заведующим украинским отделом министерства труда Временного правительства (по шести губерниям Украины). Уже в апреле 1917 по его инициативе юго-западный отдел партии «Поалей Цион» признал украинскую Центральную Раду. А в июне 1917 года Гольдельман был кооптирован от партии «Поалей Цион» в Центральную Раду и ее исполнительный орган, Малую Раду.

С мая по ноябрь 1918 года, в период гетманщины, Гольдельман жил в Одессе, где возглавлял редакцию официального органа «Поалей Цион» - газеты «Ундзерлэбн» («Наша жизнь») на идише. Когда же в ноябре началось восстание против гетмана, он не просто поддержал выступление, но и поспешил в Винницу, где в тот момент находилась Директория, и вошел в ее правительство в

качестве товарища министра труда, а также исполняющим обязанности министра по еврейским делам (позже Гольдельман передал эту должность своему однопартийцу). В последующих составах правительства был товарищем министра труда, затем товарищем министра торговли и промышленности в правительстве В. Чеховского, вместе с которым в начале 1919 года ушёл в отставку.

В апреле 1919 года, после отставки правительства Остапенко, Гольдельман снова стал экспертом по труду и торговле в кабинете Б. Мартоса, потом заместителем министра труда у И. П. Мазепы. Наконец, в 1920 году он снова и уже окончательно вышел в отставку из-за несогласия с территориальными уступками президента УНР А. Левицкого и головного атамана Симона Петлюры на переговорах с Польшей.

В эмиграции Гольдельман жил в Польше, Австрии и Чехословакии. Во всех этих странах он деятельно участвовал в сионистской работе, и в то же время продолжал сотрудничать с украинскими научными, общественными и печатными органами. Гольдельман много издавался на немецком, идише, украинском и русском языках (русскоязычные статьи ему удавалось печатать даже в советских изданиях). В 1922 году на украинском языке опубликовал труд «Антисемитизм, большевизм и еврейская политика», в 1930 году - «Очерки социально-экономической структуры еврейского народа».

Научная репутация Гольдельмана росла. С конца 1930-х годов он начал также публиковаться и в специализированной периодике на английском языке. Историко-экономические обзоры Гольдельмана переводились на венгерский, чешский и другие языки.

Буквально накануне войны, в августе 1939-го, Соломону Гольдельману удалось покинуть Европу и перебраться в подмандатную Палестину. Первое время он жил в Хайфе, а затем, до конца жизни, в Иерусалиме, где ученый получил работу в Еврейском университете.

В 1940 году он создал заочный Институт сионистского образования, которым руководил до начала 1960-х годов. Участвовал Гольдельман и в общественной жизни Израиля, став в 1950 году одним из учредителей Лиги борьбы против религиозного принуждения в Израиле.

В первой половине XX века в истории украинско-еврейских отношений было немало черных, трагических, залитых кровью страниц. Тем не менее, даже после Второй мировой войны Гольдельман не отказался от идеалов своей молодости: сочувствовал украинской национальной идее с ее мечтой о независимом государстве, призывал к еврейско-украинскому сотрудничеству, под-

держивал личные и научные контакты с национальной украинской эмиграцией, и даже, время от времени, публиковался на украинском. В 1961 году на украинском языке в Мюнхене вышла его монография «Ассимиляция и денационализация евреев в Советском Союзе», а в 1963-м - историческое исследование «Еврейская автономия на Украине. 1917-1920».

Как справедливо пишет Гольдельман, это был уникальный политический эксперимент. Впервые в мировой истории государство не только предоставило своим еврейским гражданам практически полную самостоятельность в своих внутренних делах, но и, что не менее важно, согласилось оплачивать эту самостоятельность из государственного бюджета! Причем, как показала практика, это были не просто декларации: несмотря на войну, разруху, хаос и непрерывные политические кризисы, молодое украинское государство регулярно выделяло ассигнования на еврейские проекты, а во всех кабинетах Украинской Народной Республики непременно участвовал еврейский министр. Более того, как убедительно показал Гольдельман, именно силы, наиболее запятнавшие себя в связи с погромами, наиболее последовательно стремились к украинско-еврейскому сотрудничеству и сохранению еврейской автономии. Каждое их поражение означало конец еврейским мечтам о самостоятельном обустройстве своей национальной жизни: ни красные, ни белые, ни гетман - ни о какой еврейской автономии слышать не хотели. И наоборот, успехи украинской «революционной демократии» (Центральной Рады, петлюровской Директории...) давали еврейской автономии новый шанс.

Разумеется, Соломон Гольдельман прекрасно знал о погромах, антисемитизме и еврейских жертвах. Однако ему казалось важным, чтобы это было, по крайней мере, не единственным еврейским воспоминанием об украинской национальной революции, как он неизменно называл тогдашние события в Украине.

Предлагаем читателям отрывок из книги Соломона Гольдельмана, посвященный последнему периоду существования Украинской Народной Республики.

Остатки отступающей украинской армии, а вместе с ней министерства с правительственными чиновниками медленно двигались, начиная с марта 1919, из Винницы в Каменец, а оттуда в Ровно, откуда, под натиском наступающих большевиков, перешли в Галицию в Тернополь, который в тот момент контролировала Западно-Украинская Народная

Республика<sup>1</sup>, защищавшаяся от польской агрессии. Оттуда они повернули на восток, через Збруч, снова в Каменец-Подольский, откуда удалось выбить большевиков<sup>2</sup>. Начиная с июня, сложилась относительно стабильная обстановка для спокойной административной работы. Этот период продолжался около полугода.

Однако до того момента, как пришло время спокойной работы и были установлены относительно мирные контакты с населением, на территории «треугольника» царила напряженная атмосфера. Еврейское население встречало украинскую армию и власть с чувством глубокого разочарования, недоверия и откровенной враждебности. Украинская армия пришла в этот район вскоре после жестокой проскуровской резни, подобной которой Украина еще не знала. Страшные вести об этой резне разошлись по всей территории, остававшейся под украинским контролем.

Атаманские отряды, деморализованные и озлобленные поражениями от большевиков, вымещали свой гнев на беззащитном еврейском населении. Спорадические попытки еврейской молодежи организовать самооборону и защитить еврейское население объявлялись «большевистскими восстаниями», и их жестоко подавляли, а пленных расстреливали как «государственных изменников» (поскольку они считались гражданами УНР). Время от времени также происходили стычки между регулярными украинскими частями и еврейской самообороной, которые местные большевики сознательно провоцировали, чтобы использовать вооруженную еврейскую молодежь в борьбе с украинской армией. К примеру, в известном инциденте, когда каменецкая еврейская самооборона дала бой украинской части, наступавшей на Каменец, дело было так. Ночью местное большевистское начальство подняло на ноги членов самообороны под предлогом, что приближается «банда погромщи-

---

<sup>1</sup> Западно-Украинская Народная Республика (ЗУНР) – государство, провозглашенное в 1919 году на территории бывшей австрийской Галиции. Просуществовало до лета 1919, когда вся ее территория оказалась занятой польскими войсками.

<sup>2</sup> Украинское контрнаступление началось в июне 1919. «2–6 июня фронт был прорван сразу на нескольких направлениях, были захвачены Каменец-Подольский и Проскуров, что позволило вывезти часть армейского имущества и правительственные учреждения из Галичины. Всего тысяча солдат во главе с полковником Удовиченко, перейдя Збруч, разбили врага и захватили Каменец-Подольский, а далее, развивая наступление, вышли в глубокий тыл красных» (Виктор Савченко, Двенадцать войн за Украину, Харьков, Фолио, 2006. [http://militera.lib.ru/h/savchenko\\_va/06.html](http://militera.lib.ru/h/savchenko_va/06.html)).

ков», после чего, поставив в тылу самооборонцев свою воинскую часть, принудила их сражаться с украинцами. Когда Каменец-Подольский был окончательно занят украинскими войсками, несколько членов самообороны были преданы военному суду за «государственную измену». Стоит отметить, что среди бойцов самообороны оказалось немало членов партии министра Ревуцкого, а каменецкая ячейка «Поалей Цион» была известна своей активной поддержкой проукраинской политики своей партии. Впоследствии особое отношение местных поалей-сионистов к украинскому делу немало способствовало упорядочиванию отношений между украинской властью и местным еврейским населением.

Эта провокационная большевистская выходка по отношению к каменецкой самообороне закончилась освобождением обвиняемых, поскольку в Каменец-Подольском уже находилось правительство УНР, и в области, оказавшейся в тылу украинской армии, был установлен законный порядок. Однако пока этого не произошло, не было ни одного еврейского местечка или города, не пережившего погрома, грабежа или «контрибуций». «Полумиллионное еврейское население в короткое время оказалось разгромленным», - говорил местный еврейский деятель, член Объединенной еврейской социалистической партии, представлявший в тех местах Международный Красный Крест, помогавший беженцам и жертвам войны, а также заграничные благотворительные еврейские организации.

Пан Гуминер, чьи свидетельства мы здесь приводим<sup>1</sup>, стал свидетелем всех событий, происходивших в «треугольнике» в период украинской власти, то есть до ноября 1920. Накануне «каменецкого периода» украинской государственности еврейское население дошло до того, что стало смотреть на большевиков как на единственных защитников от грабежей, насилия и беззакония атамандины.

Возвращение украинской армии из Тернополя в Каменец и далее в Проскуров, Винницу и Бердичев стало наступлением, в ходе которого все смогли увидеть крепкую руку «государственного центра». Однако на этот раз на еврей-

---

<sup>1</sup> А. Гуминер, «Украинская глава» (идиш), Вильно, 1921.

В соответствующий период еврейский социалист Гуминер занимал должность главы департамента отдела общин. См.: Kamenetz-Podolsk. A memorial to a Jewish community annihilated by the Nazis in 1941, [https://archive.org/stream/nybc314199/nybc314199\\_djvu.txt](https://archive.org/stream/nybc314199/nybc314199_djvu.txt)



ском населении отыгралась деморализованная, разбитая, отступающая Красная армия. Решительное изменение в положении гражданского населения этого густонаселенного еврейми треугольника наступило с приходом Галицкой армии<sup>1</sup>, вынужденной отступить под натиском превосходящих сил польской армии, а также из-за фатальной для украинского дела позиции Антанты. Достаточно быстро еврейские население тех мест начало восхищаться дисциплинированностью этой европейской армии, видя в ней гарантию правопорядка и спокойной жизни – насколько такая спокойная жизнь была возможна на территории, охваченной пламенем войны.

Другим позитивным фактором этого времени стала Государственная инспекция, следившая за тем, чтобы воинские части не допускали насилия и беззакония по отношению к гражданскому населению. Приданные частям УНР государственные инспекторы весьма способствовали укреплению дисциплины в армии и упорядочиванию отношений между военными и еврейским населением<sup>2</sup>.

Как деятельность Государственной инспекции, так и общее изменение внутривластного климата стало давать положительные результаты лишь с формированием в Каменец-Подольском нового социалистического правительства во главе с социал-демократом Исааком Мазепой<sup>3</sup>. Это произошло в середине августа 1919. С этого времени отношение еврейского населения и местных еврейских общественных деятелей к украинскому государству начало меняться к лучшему – равно как и отношение к еврейскому министру, который, как уже было сказано, не оставлял своего поста в то тяжелое для евреев время бурной эпохи.

На изменение настроений еврейского населения также немало повлияли страдания, которые местное население претерпело под властью большевиков, контролировавших

---

<sup>1</sup> Галицкая армия – регулярная армия Западно-Украинской Народной Республики (ЗУНР). С июля до сентября 1919 года совместно с действующей Армией УНР принимала участие в боях с Красной и Белой армиями на Правобережной Украине.

<sup>2</sup> Борьба с погромами была одной из официальных обязанностей, возложенных на Государственную инспекцию ее Уставом. (<https://constitutions.ru/?p=10817>).

<sup>3</sup> Исаак Прохорович Мазепа (1884-1952) – государственный деятель Украинской народной республики (УНР), министр внутренних дел в правительстве Мартоса, премьер-министр УНР (27 августа 1919 года — 26 мая 1920 года), премьер-министр Украины в изгнании.

эту территорию в течение нескольких недель, пока не вернулась из Тернополя украинская армия, а вслед за ней и украинское правительство.

### **Каменецкий период еврейского министерства**

В своих воспоминаниях, опубликованных в Вильно, куда он перебрался после падения украинской власти и окончательного захвата Украины большевиками, упомянутый выше А. Гуминер вспоминает о совершенно другой атмосфере, воцарившейся в Каменце и округе после возвращения украинской власти. Стоит подчеркнуть, что всего за несколько недель до этого он, как и многие другие еврейские деятели, бежал из Каменца из страха перед наступающими украинскими частями. Теперь же он писал: «Я возвращаюсь в Каменец, где, возможно, начинается новая страница истории. В Каменце полное спокойствие. Все партии возобновили свою деятельность. Евреи работают, зарабатывают. Погром уже почти забыт<sup>1</sup>. Мне кажется, что я вернулся с того света».

Далее он пишет: «В Каменце совсем другие настроения. За время моего отсутствия произошло полное сближение между украинскими и еврейскими социалистическими партиями. С еврейским министерством активно сотрудничают Народная партия, «Поалей Цион» и Объединенный Бунд<sup>2</sup>. Среди чиновников немало сионистов».

«...Несомненно, это было благоприятное и спокойное время для еврейского населения. Ожила торговля. Евреи свободно ездят по дорогам и по железной дороге<sup>3</sup>. Ремесленники обеспечены работой. Более 200 еврейских парней и девушек

---

<sup>1</sup> Украинская кавалерийская часть, вошедшая в Каменец, устроила погром, первыми жертвами которого стали пожилые евреи, вышедшие выразить свою радость в связи с уходом большевиков.

<sup>2</sup> Совместная организация местных ячеек Бунда и Объединенных социалистов.

<sup>3</sup> В годы гражданской войны любое путешествие было для еврея смертельно опасным. См., напр., Иван Солоневич, «Россия, революция и еврейство»: «Еврейство, добившись равноправия в Февральскую революцию, некоторой власти в Октябрьскую, - вот в эту эпоху никак не могло добиться самого простого пассажирского равноправия. Банды останавливали поезда, коммунистов пытались расстреливать, но это было трудно, ибо у коммунистов разные бывали документы. А уж «еврейского паспорта» ни в каком кармане не спрячешь, выходи и покажь. Когда я в 1923 году служил каким-то неправдоподобным инструктором в Одесском Опродкомгубе (Одесский продовольственный губернский комитет), в оный Опродкомгуб какой-то бандой был прислан целый чемодан, наполненный вот такими «еврейскими паспортами», конечно, отрезанными от их владельцев. Это были первые плоды победы еврейства на попроще мировой революции». (<http://gosudarstvo.vokres.ru/heald/slnevch2.htm>).

работают в еврейском и других министерствах, а также в комитете помощи пострадавшим от погромов. Оживилась общественная деятельность. Погромная волна практически совсем спала. Каменец стал центром целого округа. Начали прибывать еврейские делегации из разных концов Украины с этой стороны Днепра. Восстановлено сообщение между Каменцом и большинством соседних городов: с Бердичевом, Уманью, Староконстантиновом, Шепетовкой, Теофиополем, Полонным (Волынь), Проскуровом, Жмеринкой, Винницей, Могилевом, Литином, Гайсином, Брацлавом, Меджибожем, Летичевом и т. д.».

«...Еврейское министерство активно принимало участие в создании Государственной инспекции, имевшей своих представителей во всех воинских частях, и следила, чтобы армия придерживалась законов и не позволяла себе насилия и бесчинств».

«...Погромная атмосфера слегка рассеялась. Когда при участии Галицкой армии украинцы заняли несколько еврейских городов, таких, как Проскуров, Винница, Бердичев и т. д., там обошлось без погромов. Отступление украинских частей под натиском деникинцев также происходило спокойно, практически без насилия».

«...На повестке дня стоял вопрос о противозаконных действиях местных властей против еврейского населения. Из некоторых еврейских местечек, таких, как Лянцкорунь, Новая Ушица, и др., просили, чтобы министерство ходатайствовало перед правительством о возмещении (в форме дотации) ущерба пострадавшему от погромов еврейскому населению. В министерство также поступали многочисленные жалобы, прежде всего от еврейских социалистов, которых терроризировали местные отделы контрразведки. Как правило, вмешательство еврейского министерства оказывалось успешным».

«...Автору этих строк, совершавшему с несколькими министрами инспекционную поездку, как-то пришлось дать телеграмму самому Головному атаману<sup>1</sup> по делу его товарищей из партии «Поалей Цион», известных своей проукраинской позицией, которым в могилевской контрразведке угрожали расстрелом. Буквально через несколько часов по приказу Петлюры они были отпущены».

«...Еврейское министерство энергично заступалось за тех евреев, которые прежде участвовали в коммунистическом движении. Министерство требовало, чтобы к этим евреям относились так же, как к украинским большевикам, которых украинская власть, в принципе, не преследовала».

---

<sup>1</sup> Петлюре.

«...Защите еврейского населения еврейское министерство уделяло столько времени, что у него оставалось мало возможностей для конструктивной работы в сфере народного просвещения или национального самоуправления. В этом провинциальном закутке так же остро не хватало культурных сил. Материалы киевского министерства не были эвакуированы, поэтому всё нужно было начинать сначала».

Тем не менее, сделано было немало. «Открылись местные еврейские школы, отремонтированы разрушенные школьные здания (в Городке, Ярмолинце, Полонном). Была создана сеть общеобразовательных и профессиональных школ. Благодаря дотации министерства каменецкая «Культур-лига»<sup>1</sup> смогла организовать фребелевские и вечерние курсы. Дотации также получили детские сады и сиротские приюты. Департамент местного самоуправления организовал выборы в нескольких общинах: Лянцкорунь, Смотрич, Городок, Новоконстантинов... Также были обновлены общинные советы, бездействовавшие в переходный период».

«...Финансовое положение местных общин было очень тяжелым. В большинстве мест так и не удалось воплотить в жизнь закон Директории от 17 апреля 1919, установивший порядок налоговых сборов для еврейских общин – поскольку имущие классы возражали против этой системы».

«...В целом еврейское министерство пользовалось популярностью у еврейского населения, которое постоянно обращалось к нему в тяжелые жизненные моменты»<sup>2</sup>.

*Перевёл с украинского Евгений Левин*

**Полный текст книги (в электронном виде) можно приобрести у переводчика, связавшись с ним по электронной почте или через Фейсбук:**

[Levinevgeny@yahoo.com](mailto:Levinevgeny@yahoo.com)

<https://www.facebook.com/evgeny.levin.1420>

**Цена 50 шекелей. Заплатить можно:**

Бит: 054-768-57-52

PayPal: [levinevgeny@yahoo.com](mailto:levinevgeny@yahoo.com)

---

<sup>1</sup> Культур-Лига, (Култур-Лиге; Лига еврейской культуры) — объединение еврейских художников, писателей, режиссёров и издателей, созданное в городе Киеве в начале 1918 года для развития культуры на языке идиш.

<sup>2</sup> Гуминер, ук.соч., стр.84, 91-94, 96-98.

Мы привели столько цитат из книги Гуминера, поскольку последний относился к украинскому движению весьма настороженно, а кроме того, был свидетелем происходящего вплоть до 1921 года. Поэтому его свидетельство очень ценно.

## На холмах Грузии

*(Из книги воспоминаний "Записки пресс-секретаря Сохнута")*

В ноябре 2005 года я попал с Натаном Щаранским в Тбилиси на конференцию, посвящённую первой годовщине революции роз. Неформально её называли конференцией четырех президентов, по числу участвовавших в ней глав государств: президента Грузии Михаила Саакашвили, Украины – Виктора Ющенко, Эстонии – Арнольда Рюйтеля и Румынии – Траяна Бэеску.

Щаранскому в ходе этой конференции все отдавали президентские почести, если даже не большие. Он сидел в президиуме конференции вместе с президентами, а на торжественном вечере – за одним столом с ними. На митинге, завершавшем конференцию, который проходил у здания парламента Грузии, Натана также усадили вместе с президентами.

Когда мы приехали, нас сразу же провели к Саакашвили. Грузинский президент радостно улыбнулся, обнял Натана и воскликнул:

– Вы даже не можете представить, как я благодарен, что вы нашли время и почтили нас своим присутствием!

Открывая конференцию, Саакашвили публично выразил особую благодарность "борцу за нашу свободу Натану Щаранскому, оказавшему всем нам огромную честь своим приездом". Такое отношение то ли передалось остальным участникам конференции, то ли было присуще им и без влияния Саакашвили. Натану забегали все дорожки, а слушали с таким восторженным вниманием, что я не мог не вспомнить ужин в доме у Льва Леваева и американских миллиардеров, внимавших ему с открытыми ртами. Столь восторженное отношение немало удивило и самого Щаранского.

Министр просвещения Грузии остановил нас в коридоре, вытащил из портфеля книгу Натана «Не убоюсь зла» и попросил автограф.

– Только, пожалуйста, напишите мои имя и фамилию, – попросил он.

Щаранский послушно написал, но вид у него был при этом такой, что министр добавил:

– Вы же наш учитель, вы были всегда для нас примером и образцом!

Торжественный обед, которым завершилась конференция, также произвёл на меня сильное впечатление. Но не обилием блюд и вин, которыми был заставлен каждый стол. Мы приехали на обед сытыми – израильский посол в Грузии Шабтай Цур устроил для нас в своей резиденции великолепный кошерный ужин. Мы смогли попробовать грузинские яства, на которые только облизывались в течение двух дней пребывания в Тбилиси. Я отдал должное каждому, не забыв присовокупить пару бокалов хорошего израильского вина. Поэтому на великолепие президентского обеда я взирал равнодушно.

Натана усадили за стол с президентами и спикером парламента Нино Бурджанадзе. А меня отправили на другой конец зала, где возле самой двери оборудовали стол для американских помощников Саакашвили. Своё место за этим столом я нашёл сразу – по тарелкам с гербом Израиля. Цур потом рассказал мне, что послал человека из посольства, который поставил кошерную посуду на наших местах. Не знаю, как у Натана, а мои тарелки остались совершенно чистыми, после разносолов Цура я думать не мог о еде.

– Ты ничего не ешь потому, что соблюдаешь кашрут? – поинтересовалась у меня молодая американка, одна из помощниц Саакашвили.

– I keep kosher hard, – гордо ответил я.

– Преклоняюсь перед твоей выдержкой, – воскликнула американка, округлив глаза, – вот что значит настоящая вера! Я никогда бы не смогла удержаться и не попробовать всей этой вкуснятины....

Несмотря на то, что наш стол был вдалеке от стола президентов, у самой двери, его расположение оказалось большой удачей – именно у двери выступали приглашенные на вечер артисты. И среди них – Нани Брегвадзе, которую я рассмотрел с расстояния в полметра. И не просто рассмотрел, а во время пения.

Один из танцевальных номеров поразил меня. Президентский стол находился напротив двери, на расстоянии примерно метров тридцати. К нему от двери вёл довольно широкий проход между столами, в котором и отплясывали джигиты с красавицами. Танцевали красиво, но ничего необычного в их танце не было. Неожиданно он завершился сценой из «Валтасаровой ночи» – несколько танцоров,

разбежавшись, один за другим падали на колени и скользили по полу метров десять, останавливаясь точно перед президентским столом. Точно так же в фильме танцоры, прокатившись на коленях по полу, останавливались у стола, за которым сидел товарищ Сталин.

Этот эпизод торжественного вечера вызвал у меня недоумение. Саакашвили не мог не видеть фильма и не мог не догадаться об ассоциации, которую неминуемо должен был вызвать у окружающих такой танец. Но президент не только промолчал, а сидел с довольным видом. И я решил, что такие танцы просто в грузинской традиции, ими приветствуют руководителя страны, вот и всё. Уже потом, когда Саакашвили превратился в диктатора, я, оглядываясь назад, понял, что тот танец был провозвестником будущих действий Саакашвили. Но тогда никто из нас не мог, конечно, об этом догадаться.

Летом 2012 года я присутствовал при разговоре Щаранского с депутатом Кнессета Нино Абесадзе. Она только что вернулась из отпуска, проведенного в Грузии, и была полна впечатлений. Рассказывая о Саакашвили, она назвала его «маленьким диктатором». Я напомнил Натану танец на коленях на том президентском приёме. Щаранский кивнул головой.

– Все сподвижники Саакашвили как-то очень быстро исчезли. Я спросил тогда у женщины, что сидела рядом со мной... Не помню имени, спикер парламента...

– Бурджанадзе, – подсказала Нино.

– Да, да – Бурджанадзе. Я спросил у неё: «Вы тоже делали революцию вместе с Михаилом?» Она аж подвинулась: «Что значит – тоже? Это я её и делала». А через две недели Саакашвили внезапно и без всяких объяснений сместил её с поста. Видимо, ему надоело, что она не только мне одному такое говорила....

После этого визита мне довелось еще раз побывать в Тбилиси, во время большого мероприятия "ярмарка алии", организованного Сохнутом. Такие ярмарки Сохнут регулярно проводил по всей территории бывшего СССР и, должен признать, они были очень удачными. На них привозили десятки гостей из Израиля – представителей министерств, муниципалитетов, больничных касс, банков, предприятий; и люди могли на месте и из первых уст получить ответы на свои вопросы. Ярмарки пользовались большим успехом, на них приходили тысячи людей. В России, чтобы не злить власти, они назывались – Фестиваль "Шалом, Израиль". В

Тбилиси скрываться не нужно было, ярмарка прошла, что называется, "на ура". Но общее моё впечатление от грузинской столицы осталось весьма посредственным. Меня обманывали буквально на каждом шагу – и в обменнике валюты, и в турбюро, и в других местах. Поэтому, когда мне сегодня с восторгом рассказывают про грузинское гостеприимство, добросердечие, честность и открытость, я только скептически хмыкаю. Может, кому-то они и достались, но не мне.



## Воспоминание об украденном знамени и младенце Одиссее

«Ах, Угличский лагерь пионерский! \ \ По вшивости суровой косы стригли, \ \ И оловянную волну катила Волга \ \ Над головой младенца Одиссея. \ \ Играли в игры – воровали знамя...» - писал автор этих заметок когда-то, Бог весть – давно...

Вшивость во времена моего детства была явлением заурядным, особенно в провинции: бедность, баня раз в неделю, отсутствие специальных средств (если не считать керосина). Стриженные под машинку девочки удивления не вызывали: было проще остричь наголо (в тех, разумеется, семьях, где об эстетике не думали), чем искать в длинных волосах. С мальчиками было ещё проще: школьная норма требовала стрижки «под ноль», допускалась только чёлочка. Помню, что даже в Ленинграде нас проверяли аж до пятидесят шестого года, если не позже.

Среди пионерских игр процветала такая – искать «украденное» знамя дружины. Как правило, ей предавались в пионерских лагерях. Вожатый вкупе с ребятами из старших отрядов – активом – прятали где-нибудь поблизости знамя, а потом оставляли следы и указатели поисков – обязательно через лес, овраги и речные мостики, пока рьяные следопыты из более мелкой пионерии не находили его, вдвойне дорогое, и не водружали в пионерской комнате возле белого гипсового Сталина. Присутствовала при этом всей стране, включая детей, знакомая идея вражьих происков и вредительства, почти не потускневшая с времён военспецов и «Шахтинского дела». Полистав кое-какие книги, думаю я сейчас, что корни этой идеи находятся значительно глубже. Идея вредительства, густо процветшая в новом «московском» царстве Иосифа Сталина, дошла до нас из старого, московского же, царства Рюриковичей и Романовых с его запечным консерватизмом, ксенофобией и тотальной подозрительностью на все четыре стороны. С тем замечательным набором, который один американский историк назвал «старой русской паранойей».

Возвращаюсь к пионерлагерю. Два последних (перед переездом в Ленинград) угличских лета мы с сестрой провели именно там, и вот благодаря какому обстоятельству. Как-то раз на начальственной сходке, где обсуждался вопрос создания пионерского лагеря, секретарь райкома (практически, хозяин города – Углич был районным центром) предложил назначить начальником лагеря мою не работавшую маму: «женщина молодая, энергичная, справится».

Следует, наверное, упомянуть, что мой отец из районного начальства был самым молодым, а мама ещё моложе – на одиннадцать лет. Энергии у неё и сейчас, как у танка (тьфу, тьфу, тьфу), а тогда было раз в десять больше. Слабые возражения отца слушать не стали, и через два-три дня мама была уже в Ярославле, на краткосрочных курсах по педагогике. Вот как тогда решались кадровые вопросы.

Первый наш лагерь был в месте, которое называлось «Дивная гора»: на красивом холме стоял, как сказали бы сейчас, учебный комплекс: несколько изб деревенской школы, одной, судя по всему, на несколько деревень. Там же жили учителя, был, вестимо, колодец и учительские огороды. Запомнился мне этот лагерь тремя обстоятельствами. Во-первых, черёмухой. Ею – зрелой, сладкой и чуть вяжущей рот – были обсыпаны деревья на пять вёрст вокруг. До сих пор у меня ностальгия по этому черёмушному раю. Второе обстоятельство было печальней: именно там я впервые совершил кражу (ох, не в последний раз!), был за неё бит и покрыт позором. Вместе с ещё одним любителем гороха и бобов мы залезли (а это было не просто: вожде- ленный продукт рос под самыми учительскими окнами) в огород и затарились там упомянутыми деликатесами. Не исключено, что во мне погиб талантливый воришка, потому что постфактум, так сказать, кражи я пошёл в лес, смутно, но верно предполагая ненужность в этой ситуации многолюдства и вообще суеты, тогда как мой подельник поскакал хвастать своим подвигом и тут же попался на горячем моей глазастой маме. Думаю, не так суров был допрос, сколько мой кореш неправильно оценил обстановку. По-видимому, указав на меня как на соучастника, он думал вообще выйти сухим из воды – да не тут-то было! Когда-то я прочитал, как отец – профессиональный вор – учил жизни своего сына: «Сын мой, - говорил он, - не воруй! Если воруешь – не попадайся! Если попался – не признавайся! Но уж если признаёшься – признавайся в краже простой, а не квалифицированной!» Откуда было знать бедному провинциальному

шкету этакую премудрость! В общем, признавшись в группухе, орёл этот сдал меня со всеми потрохами, но участь свою этим не облегчил отнюдь, хотя мне и досталось больше. Короче, когда я с надутым животом и пустыми, - подчёркиваю это обстоятельство, - руками, вышел из леса на поляну, где вокруг моей мамы колбасилась ребятня, я тут же был встречен суровым «Вова, подойди сюда!». Подошед, был отмечен тяжёлой (рука у мамы была – ой-ой!) оплеухой и поставлен на три часа к позорному столбу (пустые руки были упомянуты с целью показать, что презумпция невиновности не работала в России никогда), не снискав, однако – замечу для характеристики русских нравов – позора, а только сочувствие свидетелей гражданской казни и их обещание покарать расколовшегося соучастника.

Третье обстоятельство было клубничного свойства. Где-то в среднем, я думаю, отряде, лет от роду девяти – десяти, пионерствовал некто Рудька, которого очень интересовал естественный, по нынешнему нашему разумению, вопрос: что у девочек находится под трусиками. С любопытством своим Рудька совладать не мог и поэтому постоянно сдёргивал с девочек упомянутую деталь туалета, не разбирая возраста. Девочки визжали, трусики моментально подтягивались, отчего Рудьке и не удавалось разрешить вопрос кардинально, что, в свою очередь, толкало его на продолжение эксперимента. Обиженные девочки жаловались вожатым и воспитательницам, те, убедившись в бессмысленности собственных нотаций, моей маме. Мама вызывала Рудьку и проводила работу, после которой он, похлопав якобы покаянно своими похотливыми глазищами, шёл продолжать своё подлое, условно говоря, дело. И однажды, потеряв терпение, мама вместо бесполезных разговоров совлекла с него в своём кабинете трусы и железной рукой поставила на видном месте в девчоночьей спальне. Эффект был – позавидовал бы Виктюк! Девочки пищали и разбегались по углам, не покидая, впрочем, палату, мальчишки дразнились и задирали на Рудьке и без того короткую майку, демонстрируя Рудькин потенциал а также полное отсутствие половой солидарности. Через какое-то время срамник был отпущен, и с рёвом удалился переживать свой позор. Интересно, однако, другое. На следующий же день вожатая отряда прибежала к моей маме в слезах и сообщила, что неистовый Рудька снял с себя трусы и бегаёт голышом по девчоночьей спальне. Так на практике был посрамлён мамин метод полового воспитания, о существовании

которого – не метода, а самого воспитания в сомнительной этой области – моя мама, почти уверенно предполагаю я, даже и не подозревала.

Второй мой лагерь был интереснее. Кроме того, что я стал на год старше, были и другие обстоятельства. Во-первых, нас везли туда по Волге на барже, так как сухопутной дороги туда с нашей, угличской, стороны не было. Обстоятельство это, сугубо романтическое, однако, выходило боком и многими дополнительными заботами моей маме, которой было нужно регулярно доставлять в лагерь продукты. Делалось это так. Грузовик довозил продукты до места напротив лагеря, продукты переправлялись в несколько ходок на большой лодке через Волгу, - а эта река пошире Иордана, - и уже оттуда на телегах поднимались на горку, точнее, на высокий берег реки, где и возвышался, сияя на солнце, наш лагерь. А сиял на солнце он, между прочим, не чем-нибудь, а крестами и куполами – по той причине, что размещался в большой и красивой церкви. Действительно большой, побольше, например, ленинградского Владимирского собора, что видно на сохранившихся у меня фотографиях. Церковь эта не была заброшенной, её закрыли как раз той весной, по случаю ли лагеря или просто дошла очередь, - не знаю.

Поскольку церковь стала маминым «хозяйством», на её плечи лёг ремонт – дело, как водится на Руси, затяжное и хлопотное. Так что я не раз добирался с ней вышеперечисленными способами до этой церкви. Времена были глуховатые, 1953-й год – и все церковные богатства, которые сейчас разворовали бы в полчаса, лежали нетронутыми, так как никого не интересовали. Помню огромный нарядный иконостас, а в алтаре грудями церковные ризы и книги. Алтарь не тронули и во время ремонта, просто в двух метрах поставили стенку от пола до потолка и на том успокоились. Старика священника, жившего при церкви, просто выгнали, уж не знаю, с пенсией или без; глухо говорилось, что жить старику негде и нечем. В конце концов, приютили его в деревне рядом, а моя мама не поленилась его найти, и с тех пор священник - маленький, очень старенький попик - питался вместе с детьми. А кормили у нас в лагере отлично! Поначалу была проблема с питьевой водой. Воду брали не из Волги (видимо, санитарные нормы были жёсткие), а из колодца в соседней деревне. Воды для приблизительно двухсот человек нужно было много, и колодец вычёрпывали почти досуха. На второй или третий день он ждал наше-

го завхоза – на телеге с бочкой – уже закрытым на замок. Но моя мама в своей жизни боялась, по-моему, только одного человека – моего отца, поэтому возвратившегося с пустой бочкой завхоза она завернула обратно, укрепив ряды собой и топором. Замок был сбит, и вода в лагерь доставлена. Следующий рейс в том же составе был у колодца встречен уже толпой колхозников во главе с председателем. На сей раз замок был сбит мамой собственноручно, по причине робости уже однажды отсидевшего завхоза, в процессе какового действия колхозники были названы фашистами, не дающими детям воду.

Буквально на следующий же день (бездорожье, как оказалось, не всему помеха) к нашему берегу причалил катерок, и находившейся на берегу маме было велено сей же час прибыть на бюро райкома. И в относительно вольной одежде: директорском белом халате на комбинацию, слегка не сходявшемся на груди, мама и прибыла в райком. На бюро, весело встретившем мамину форму, были все знакомые, включая главу местного НКВД Паутова, чьи две дочери как раз находились в нашем лагере, поэтому дело было похерено, однако маме было строго указано, что во-первых (а на самом деле во-вторых), советские колхозники - не фашисты, а во-вторых (а на самом деле во-первых), - думай, Лида, что говоришь, потому что за такие слова...

К слову сказать, проблему воды решили быстро: через пару дней присланные рабочие вырыли колодец в самом лагере, и конфликт с «товарищами фашистами» был исчерпан.

Был и ещё интересный момент. Как и положено деревенской церкви, наша была окружена большим красивым запущенным кладбищем. Церковь-то закрыть было легко, а вот кладбище сложнее. Большевикам бы задуматься по этому поводу – в смысле того, что не все процессы им подконтрольны, но как раз на это – подумать – у них вечно не хватало времени, потому и власть их была недолгой, хотя несчастные три-четыре поколения нахлебались лиха досыта. В общем, на кладбище продолжали хоронить. В те времена час дневного сна назывался «мёртвым», это потом его стали называть «тихим», - и у нас он был воистину мёртвым: время от времени видели мы перед дневным сном свежие ямы, а после - свежие кресты. В этом обстоятельстве - окружающем церковь кладбище - был и ещё один нюанс. Церковь, даже большая, не рассчитана на естественные надобности двух сотен людей, поэтому туа-

леты провинциального образца - будка над выгребной ямой («опальный домик» по выражению ленинградского фотографа Володи Окулова) - были поставлены прямо на кладбище. Так что читатель с развитым воображением легко может представить себе посещение этого домика ночью. Луна, кресты, шуршание ветерка в цветах и венках, по краям - покойнички с коса... тьфу ты!

А надо сказать, что моя по-настоящему бесстрашная мама панически боится кладбищ. Злободневная же, точнее, злобноощная действительность была такова, что мама никогда не ночевала в своём кабинете. Её кровать стояла в углу церковного коридора у дверей девичьей спальни. И каждая девочка, идущая в туалет, будила маму и за руку с ней шла в упомянутую будку (а, может, они и не доходили, не знаю). Причём, как я сейчас понимаю, маме девочка была нужна более, чем наоборот.

Кормили у нас в лагере действительно хорошо (вот что такое ассоциативное мышление!). Я это помню отлично, потому что почти ничего не ел, и вокруг меня постоянно бурлила очередь на моё «первое» (до сих пор не люблю супы), иногда «второе», если это была каша (я ел только картофельное пюре), и третье, если это был кисель. Ибо то, что отдаёшь, да ещё с выяснениями, кому что, запоминаешь лучше, чем то, что съедаешь. Питался же я хлебом, кусками сахара, которыми подкармливали потенциального дистрофика сердобольные поварихи и продуктом, ненавистном большинству моих знакомых – молочными пенками, которых было много, ибо молоко кипятилось в двух огромных баках. Собственно, так же мало я ел и дома, летом вообще ограничиваясь зелёным луком и огурцами прямо с грядки, да ломтями подсоленного хлеба. И это при том, читатель, что в нашей кладовке висели свиные (тс-с-с!) окорока. Что вовсе не свидетельствовало о гурманстве и богатстве – но только о том, что моя семья вела такое же хозяйство, что и весь город, включая городскую верхушку. Чтобы покончить с темой некошерности нашего угличского быта, скажу ещё, что единственная сказка, которую знала наша мама и регулярно рассказывала нам с сестрой в процессе поисков в голове (с нашей точки зрения этот процесс требовал компенсации), называлась «Три поросёнка» - самая, по-моему, трюфная сказка в мировой литературе.

Понятно, что при таком питании тело моё состояло главным образом из положенного каждому человеку комплекта костей, обтянутых соответствующим количеством кожи. Мя-

са в этом составе почти не наблюдалось, о жире и говорить нечего. Иначе говоря, того, что держит тело на воде, мой организм почти не содержал, и по этой причине в Волге я тонул не раз – всегда более или менее успешно (загадочная, по-моему, фраза). Как раз об этом уже знакомая читателю строка «И оловянную волну катила Волга...». И здесь мы переходим к главному: с самого первого моего знакомства с Одиссеем (по книжке, видимо, Куна) мой интерес к нему был - скажем точно - исключительным. Поэтам вообще свойственно если не отождествлять себя, то, по крайней мере, утверждать родство с какими-то феноменами культуры (как, скажем, было у Пушкина с Овидием). В моём случае это присутствовало не самым очевидным образом – но была у меня какая-то очень личная заинтересованность в судьбе этого персонажа, одного из самых интересных в европейской, более чем обширной, мифологии. Интерес этот естественно претворялся в стихи. Самое раннее началось так: «Хвативши пушечного грома \ И славы всяческой сполна...», а заканчивалось тем, что Одиссей без всяких переодеваний появляется дома: «Что Пенелопа? – Не одета. \ И больше рад, чем раздражён, \ Спокойно приказал: «Газету! \ КАК ТАМ ДЕЛА, ЗА РУБЕЖОМ?..». Выделенную строчку Одиссей не произносит, она, так сказать, «про себя».

Идея мелкого сего стихотворения была проста, как грабли. Имелось в виду, что после подвигов под Троей и потрясающих приключений по дороге домой: тут и Полифем, и Навзикая, и Каллипсо, и то, и это – провинциальная и (так видится) загаженная козами маломасштабная Итака должна была, по молодому моему разумению, вызывать только скуку и тайное, в лучшем случае, раздражение: «И это сюда я стремился все эти...». В общем, что-то в этом роде.

Через несколько лет я написал «Возвращение» - маленькую поэму или большое стихотворение - от которого не отказываюсь. Там конец таков. Одиссей ступает на берег Итаки и тут же возвращается, - по крайней мере, собирается вернуться, - в море. Идея немногим сложнее первой, и в двух словах выражается формулой: «Цель – ничто. Процесс – всё». Процесс – возвращение Одиссея – как я уже говорил, есть нечто исключительное по богатству событий и эмоций. И вот – после этой напряжённейшей, полной постоянного героизма жизни – свои спокойные владения (быстрая расправа с женихами не в счёт): царство – остров, столица – несомненная деревня (по сравнению с Тро-

ей), на двадцать лет постаревшая жена, и сын – безотцовщина, маменькин сынок или хулиган – на выбор. То есть, контраст, с моей точки зрения, был такой, что Одиссею оставалось одно из двух: или вернуться в море или наложить на себя руки.

Сейчас, став старше – не просто став старше, а именно здесь и сейчас, я вижу, что в те времена не видел и – соответственно – не учитывал один серьёзнейший фактор: я не видел ДОМ. Вообще, у евреев отношения с домом особые. Реальности галута – рассеяния: изгнания, погромы, территориальные ограничения и т.п. – выработали у еврея взгляд на собственное жилище, скорее как на остановку (в пустыне?), чем как на родительский наследственный очаг.

Далеко не в школьном возрасте я впервые прочитал стихи Мандельштама. Строка «Одиссей возвратился пространством и временем полный» восхитила меня сразу, но только здесь я понял её до конца. Именно ВОЗВРАЩЕНИЕ предполагает ДОМ. Не просто перемещение из пункта А в пункт Б (пусть даже через В, Г, Д, Е и т.д.), а насыщенное пространством и временем ВОЗВРАЩЕНИЕ В ДОМ, который в этом случае становится не чем-то досадно выпадающим из цепи героических деяний и обстоятельств – но долгожданным кровом, положенным каждому человеку.

Самое моё яркое, а сказать точнее, самое глубокое воспоминание о Волге такое: мы – мама, сестра и я – на берегу, недалеко от нашего дома. Мама читает книгу, мы с сестрой барахтаемся в воде. Мне года три-четыре, я «плаваю»: ноги бьют по воде, руки идут по дну – естественно, вдоль берега. Я кричу сестре: «Я плыву! Я плыву!» На что моя умная сестра говорит: «Ага, так-то легко – вдоль берега. Ты попробуй вглубь!» На это ещё более умный я поворачиваю вглубь и после пары шагов попадаю в яму и начинаю тонуть. Поскольку в воде я от страха глаза то ли открыл, то ли забыл закрыть, я помню, как меня кружат и закруживают холодные серые оловянные волны. В это время моя мама поднимает глаза от книги и видит, что её сын исчез с поверхности воды, то есть, в более широком смысле, с поверхности Земли. И руководимая самым верным на свете чувством, она бросается наугад в воду – точно в ту точку Вселенной, где в это время путешествую я. Так моё первое путешествие, обещавшее быть недолгим, но далёким, заканчивается, едва начавшись.



А что сейчас? А сейчас более или менее наполненный пространством и временем многоречивый автор – я – сидит на берегу соседней с Одиссеевыми маршрутами реки Иордан и глядит в сторону Волги, до которой – в системе мифологических координат – близко, ещё ближе – рукой подать. Так я сижу и смотрю из близости на её высокий берег, поросший густым лесом, по которому как раз в это время бежит с шумом и криками толпа детей пионерского возраста. Бежит, галдя и вглядываясь в указатели – стрелки, начерченные на тропе прутиком или выложенные из еловых шишек. «Украденное знамя ищут...» - догадываюсь я, вглядываясь в худящего мальчишку лет восьми, с маленькой чёлкой, в сатиновых трусах и трикотажной майке, в матерчатых тапочках на босу ногу. «Смотрите! Вот она! Вот она!» - слышу я его звонкий голос.

Я поднимаюсь с насиженного тёплого места и неторопливо бреду к дому. «Давай, давай, - бормочу я, - побегай... Ищи своё знамя». Я иду узкой, всё расширяющейся тропой, не оглядываясь на мальчишку и не беспокоясь о нём. Потому, что знаю, что он найдёт и куда вернётся.

## Праздник возвращения

Чтобы вечно ария звучала:  
«Ты вернёшься на зелёные луга...»

1.

*Ещё далеко асфodelей  
Прозрачно-серая весна.  
Пока ещё на самом деле  
Шуришит песок, кипит волна.  
Но здесь душа моя вступает,  
Как Персефона, в лёгкий круг,  
И в царстве мёртвых не бывает  
Прелестных загорелых рук.*

Таврида была для Мандельштама раем молодости, вечной весной Элизиума, где он «в хоровод теней, топтавших нежный луг, с певучим именем вмешался», пристанищем блаженных, философов и поэтов, куда он всю жизнь грезил вернуться.

*Туда душа моя стремится,  
За мыс туманный Меганом...*

Это стихотворение – о грезе возвращения после смерти. А значит и о смерти, как возвращении. Но ты возвращаешься «тенью», воспоминанием.

*И, птица смерти и рыдания,  
Влачится траурной каймой  
Огромный флаг воспоминанья  
За кипарисною кормой.  
И раскрывается с шурианьем  
Печальный веер прошлых лет, –  
Туда, где с тёмным содроганьем  
В песок зарылся амулет.  
Туда душа моя стремится,  
За мыс туманный Меганом,  
И чёрный парус возвратится  
Оттуда после похорон.*

Мыс туманный Меганом – граница между жизнью и смертью. И оттуда, напоенная ветром рока – временем, душа возвращается черным парусом – флагом воспомина-

ня. «И принимая ветер рока,/Раскрыла парус свой душа»<sup>1</sup>. Душа возвращается, обернувшись памятью. Скитальцы, наша родина – память! «...торжествует память – пусть ценою смерти: умереть, значит вспомнить, вспомнить, значит умереть...»<sup>2</sup>

*Когда б не смерть, то никогда бы  
Мне не узнать, что я живу...<sup>3</sup>*

Мандельштам с юности лелеял смерть, не то чтобы любил, а именно лелеял.

*Разве я знаю, от чего я плачу?  
Я только петь и умирать умею.  
Не мучь меня: я ничего не значу  
И чёрный хаос в чёрных снах лелею<sup>4</sup>.*

Но кого он спрашивает, с кем ведет разговор («Не мучь меня: я ничего не значу»)? С небом! К нему он обращается во второй строфе:

*О, небо, небо, ты мне будешь сниться...*

Так говорят, когда прощаются, и навсегда.

*В морозном воздухе растаял легкий дым,  
И я, печальною свободою томим,  
Хотел бы вознестись в холодном тихом гимне,  
Исчезнуть навсегда...<sup>5</sup>*

.....

*И странно, мне любо сознание,  
Что я не умею дышать;  
Туманное очарование  
И таинство есть – умирать.<sup>6</sup>*

Если Пастернак назвал свою книгу, написанную в 1917 году «Сестра моя жизнь», и это – в разгар мирового катаклизма! – была книга о любви, то Мандельштам вполне мог бы назвать свою первую книгу «Сестра моя – смерть». Смерть влечет его сильнее, чем любовь (в этом изначальное и главное различие двух поэтов):

*Пусть говорят: любовь крылата, –  
Смерть окрылённое стократ.*

---

<sup>1</sup> Вариант стихотворения «Как тень внезапных облаков...», 1910

<sup>2</sup> Статья «Скрябин и христианство», 1915

<sup>3</sup> «Здесь отвратительные жабы...», 1909

<sup>4</sup> «Качает ветер тоненькие прутья...», 1911

<sup>5</sup> «В морозном воздухе растаял лёгкий дым...», 1909

<sup>6</sup> «Довольно лукавить: я знаю...», 1911 (?)

*Ещё душа борьбой объята,  
А наши губы к ней летят.<sup>1</sup>*

Он будто пытается коснуться её, как ласточка касается крылом темного стекла – границы бездонных вод («И страшно, чтобы гладь стекла / Стихией чуждой не схватила / Молниевидного крыла»<sup>2</sup>). Его любимый сюжет – спуск в подземное царство, «вослед за Персефоной», а любимый миф – о смерти и возрождении, бабочка у него – «жизняночка и умиранка», и крылья ее при взлете из кокона – «флагом развернутый саван»<sup>3</sup>. И «лёгкий круг» Персефоны – её магический круг, позволяющей быть и в этом мире живых, и в том мире мертвых, на грани, на переходе, а стихи – молниевидные крылья ласточки Фета, вестницы весны и смерти, снующей вдоль границы, «стихии чуждой, запредельной./Стремясь хоть каплю зачерпнуть»<sup>4</sup>.

В морозном воздухе растаял лёгкий дым... У Тютчева: «Вот наша жизнь, – промолвила ты мне,/ Не светлый дым, блестящий при луне,/ А эта тень, бегущая от дыма...» Дым, прозрачность, нежность – это о смерти: "Стигийская нежность", "Всю смерть ты выпила и сделалась нежней"; как и тяжесть: «в ожиданьи конца... тяжелеют сердца»<sup>5</sup>, «Упаду тяжестью всей жатвы...»<sup>6</sup>, «А сердце – отчего так медленно оно/И так упорно тяжелеет?/То – всю тяжестью оно идет ко дну,/ Соскучившись о милом иле...»<sup>7</sup> Потому у Мандельштама тяжесть и нежность – сёстры.

*В медленном водовороте тяжёлые нежные розы,  
Розы тяжесть и нежность в двойные венки заплела!*

Заплела – кто? Долго не мог понять, пока не озарило: кто же ещё, кроме смерти, их общей матери! Роза-жизнь тяжела, потому что беременна смертью, носит её в себе, как плод.

И душа-слово-ласточка «спускаться к теням в полупрозрачный лес вослед за Персефоной» – сие есть доля поэта, как понимает её Мандельштам, и его счастье («Есть в тя-

---

<sup>1</sup> «Твоё чудесное произношенье...», 1917

<sup>2</sup> Афанасий Фет, «Природы праздный соглядатай...», 1884

<sup>3</sup> Восьмистишия, 1934

<sup>4</sup> А. Фет, «Ласточки» (Природы праздный соглядатай...), 1884

<sup>5</sup> «Убиты медью вечерней...», 1910

<sup>6</sup> «Если б меня наши враги взяли...», 1937

<sup>7</sup> «В огромном омуте прозрачно и темно...», 1910

жести радость»<sup>1</sup>, «И так хорошо мне и тяжело»<sup>2</sup>). Поэтому омут – «родимый», а его ил – «милый». И смерть для Мандельштама – праздник возвращения.

*Я слово позабыл, что я хотел сказать*

*Слепая ласточка в чертог теней вернётся...*

Н.Я. Мандельштам поведала, что поэт как-то сказал ей, что в смерти есть торжество. Она поняла это мимолетное замечание как торжественность самого акта смерти и необходимость при этом «остаться человеком в минуту последнего страдания»<sup>3</sup>. Но для Мандельштама дело не в торжественности самого акта смерти, и не в торжестве смерти в смысле ее неизбежной победы, а в праздничности этого торжества. «Мы со смертью пиروвали – было страшно, как во сне». Беглецы и скитальцы, мы празднуем возвращение в родной дом.

## 2.

*И под временным небом чистилища*

*Забываем мы часто о том,*

*Что счастливое небохранилище –*

*Раздвижной и прижизненный дом.*

Небо – дом. В стихах 1937 года, перед тем, как оборвали жизнь, поэт все чаще думает о возвращении, и все неотступней, как небопоклонник, о небесном доме. С тюркской религией почитания Неба и культа предков Мандельштам мог познакомиться, тесно общаясь с Львом Гумилевым, увлекавшимся историей народов Великой степи. Как пишет Л. Гумилев в 7-й главе книги «Древние тюрки» (в предисловии сказано, что он начал эту книгу в 1935 году): «Культ неба — Тенгри — зафиксирован также орхонскими надписями... Что же это за божество? Из описания ясно лишь, что атрибутом его является свет».

И мартовские 1937 года стихи Мандельштама о небесном доме и свете.

*О, как же я хочу,*

*Не чуемый никем,*

*Лететь вослед лучу,*

*Где нет меня совсем.*

---

<sup>1</sup> «Когда подымаю...», 1911

<sup>2</sup> «Люблю появление ткани...», 1934

<sup>3</sup> Н.Я. Мандельштам, Вторая книга, YMCA-Press, Париж, 1978, стр. 124

*И ты в кругу лучись –  
Другого счастья нет –*

*И у звезды учись  
Тому, что значит свет.<sup>1</sup>*

.....  
*Чистых линий пучки благодатные  
Направляемы тихим лучом,  
Соберутся, сойдутся когда-нибудь,  
Словно гости с открытым челом, –*

*Только здесь, на земле, а не на небе,  
Как в наполненный музыкой дом, –  
Только их не спугнуть, не изранить бы –  
Хорошо, если мы доживём...<sup>2</sup>*

**И о неподкупном, окопном небе:**

*Заблудился я в небе – что делать?*

.....  
*И когда я усну, отслуживши,  
Всех живущих прижизненный друг,  
Он раздастся и глубже и выше –  
Отклик неба – в остывшую грудь.<sup>3</sup>*

Мотив неба-дома, где души – звёзды, и возвращения домой звучит крещендо в реквиеме Мандельштама «Солдат» (его ещё называют «Стихи о неизвестном солдате»). И поэт – рядовой среди этих «миллионов, убитых задёшево».

*Я - дичок испугавшийся света,  
Становлюсь рядовым той страны...*

О каком «свете» речь? Это свет тех бесчисленных звёзд, которые зажигаются от бесчисленных смертей: «и от битвы давнишней светло» (души погибших вспыхивают на небе).

*Весть летит светопыльной обновою,  
И от битвы вчерашней светло.  
Весть летит светопыльной обновою:  
- Я не Лейпциг, я не Ватерлоо,  
Я не Битва Народов, я новое,  
От меня будет свету светло.*

Смерть, как весть с небес, а небеса – безмерная тара воздушной могилы, «небо крупных оптовых смертей»: готовьтесь принять новеньких, они неисчислимы, как пыль,

---

<sup>1</sup> О, как же я хочу..., 1937

<sup>2</sup> Может быть, это точка безумия..., 1937

<sup>3</sup> Диптих «Заблудился в небе...», 1937

светопыль. И поэтому «впереди не провал, а промер». Белым-бело будет от новых звёзд-очей, мчащихся обратно, в свой дом.

*Ясность ясеневая, зоркость яворовая  
Чуть-чуть красная мчится в свой дом...*

.....

*Чтобы белые звёзды обратно  
Чуть-чуть красные мчались в свой дом...*

«Чуть-чуть красные» – потому что только что убиты, ещё не остыла кровь...

А внизу, в окопах и землянках – океан человеческого вещества, предназначенного на убой, океан без окна, без выхода к небу при жизни:

*И в землянках всеядный и деятельный  
Океан без окна – вещество.*

В нынешних украинских окопах говорят – мясо...

Выход к небу открывается в смерти, и весь этот «океан или клин боевой» принимает ночь, «мачеха звездного тора» и зажигает очи-звёзды. Как поэтически философствовал Шопенгауэр, «когда воля себя сжигает, она целиком превращается в око: она не существует, она только видит». Описывая свой подъём на горную вершину, философ-поэт подмечает, что наверху «мелкие детали исчезают», и ты уже не привязан к «разрозненным предметам», а сам становишься «глазом». Это отрадное созерцание всего происходящего с высоты Шопенгауэр зовет «оком мира». О том же и В.В. Розанов, возможно, позаимствовав у философа образ: «Что такое Рафаэль, как не какой-то всемирный Глаз, человек, ставший Глазом...»<sup>1</sup> И Мандельштам откликается: «И — в легион братских очей сжатый —/Я упаду тяжестью всей жатвы».

Эта тема возникает и в более раннем стихотворении (1935 года) «Не мучнистой бабочкою белой...»:

*Шли товарищи последнего призыва  
По работе в жёстких небесах.*

.....

*И зенитных тысячи орудий —  
Карих то зрачков иль голубых —  
Шли постройно — люди, люди, люди, —  
Кто же будет продолжать за них?*

---

<sup>1</sup> Розанов В.В. Среди художников, СПб, 1914, с.17

Пехота человечества стройными рядами вливается в небо. А небо будущим беременно. Увешанное очами-звёздами, как праздничная ёлка игрушками и лампочками. Глубокое и сытое смертью.

*А ты, глубокое и сытое,  
Забременевшее лазурью,  
Как чешуя многоочитое,  
И альфа и омега бури...*

Ангельский образ многоочитости – ветхозаветный, восходит к пророку Иезекиилю («И всё тело их <четырёх херувимов> и спина их, и руки их, и крылья их, и колёса кругом были полны очей» /Иез. 10.12/»). Это известно, конечно, и Розанову: «Есть знаменитое выражение, в Апокалипсисе и у Иезекииля, о небесных существах, «исполненных очей спереди и сзади, внутри и снаружи», то есть существ — как ткани «очей», как полноты «очей». Все «очи, очи и очи», и вот — всё существо; может быть — тайна всякого существа, каждого из нас?»<sup>1</sup>

*Быть может, мы Айя-София  
С бесчисленным множеством глаз.*<sup>2</sup>

Рядом с мыслью о смерти возникает и образ бабочки:

*Не мучнистой бабочкою белой  
В землю я заёмный прах верну —  
Я хочу, чтоб мыслящее тело  
Превратилось в улицу, в страну...*

Бабочка – образ преображения, смерть для Мандельштама – преображение. А небо – не могила, а соборный купол, даже многоярусный театр, где «все хотят увидеть всех –/Рождённых, гибельных и смерти не имущих»<sup>3</sup>.

Вот и Вячеслав Иванов, адепт идеи соборности и один из духовных наставников Мандельштама, тоже употреблял «многоочитость» как метафору звездного неба, эфира и мирового пространства: «...за гранью ночи озирает он /Сокрытое многоочитой тьмой»<sup>4</sup>.

### 3.

*До чего эти звёзды изветливы!  
Всё им нужно глядеть – для чего?*

---

<sup>1</sup> Там же.

<sup>2</sup> «Восьмистишия», 1934

<sup>3</sup> «Где связанный и пригвождённый стон?..», 1937

<sup>4</sup> Вяч. Иванов, *Cor Ardens*, «Созвездие Орла».



*В осужденье судьи и свидетеля,  
В океан без окна, вещество.*

Небо смотрит в океан-вещество человечье, а оно есть судья и свидетель, слепое («без окна»!), прозревает небо, предвидя свою участь. И души-звёзды-очи-виноградины смотрят вниз осуждающе. Их – целые города.

*Шевелящимися виноградинами  
Угрожают нам эти миры.  
И висят городами украденными  
Золотыми обмолвками, ябедами,  
Ядовитого холода ягодами —  
Растяжимых созвездий шатры,  
Золотые убийства жиры.*

Жирность у Мандельштама – сытость, и всегда отталкивает. И печаль у него жирна, «стрекозы смерти жирны и синеглазы»<sup>1</sup>, небо жирно от смертей («Золотые созвездий жиры»). Но что осуждают, глядя сверху, души-очи-звёзды? А то, что слишком «хорошо умирает пехота», слишком безропотно. Да, позор убивать безропотных, но и безропотно умирать – позор. И

*Необутая, светлоголовая,  
Удаляющаяся за обзор  
Мякоть света бескровно-кленовая  
Хочет всем рассказать свой позор.*

И поэт боится этого праздничного света смерти. Потому что перекличка живых закончилась.

*Но окончилась та перекличка  
И пропала, как весть без вестей,  
И по выбору совести личной  
По указу великих смертей.  
Я — дичок испугавшийся света,  
Становлюсь рядовым той страны,  
У которой попросят совета  
Все, кто жить и воскреснуть должны.  
И союза её гражданином  
Становлюсь на призыв и учёт,  
И вселенной её семьянином  
Всяк живущий меня назовёт...*

Нет, не о советском гражданстве тут речь, и не о воинстве Сталина как армии будущей жизни. Это о вселенной мёртвых, о миллионах, убитых задёшево, глядящих на нас,

---

<sup>1</sup> «10 января 1934 года», стихи памяти Андрея Белого.

на живых, сверху. На их воинский учет готовится встать поэт. Он готовится к возвращению.

Но у поэта, кроме дома небесного, есть ещё один дом и ещё одно небо: череп человеческий.

«Мир, который как череп глубок»<sup>1</sup>.

*Для того ль должен <череп> развиваться  
Во весь лоб — от виска до виска, —  
Чтоб в его дорогие глазницы  
Не могли не вливаться войска?  
Развивается череп от жизни  
Во весь лоб — от виска до виска, —  
Чистотой своих швов он дразнит себя,  
Понимающим куполом яснится,  
Мыслью пенится — сам себе снится —  
Чаша чаш и отчизна отчизне —  
Звёздным рубчиком шитый чепец —  
Чепчик счастья — Шекспира отец.*

Два дома, оба неба глядят друг на друга. И как войска вливаются в небо, вспыхивающее тусклым огнем звёзд, так и небо многоочитое вливается в череп, как в свой дом, как в пространство обаяния. Ведь и воздушное небо полно обаяния: «облака, обаянья борцы».

И поэт, будто в последний раз скользит ласточкой между мирами-небесами, с последней песней.

*За тобой, от тебя, целокупное,  
Я губами несусь в темноте.*

.....

*Научи меня, ласточка хилая,  
Разучившаяся летать,  
Как мне с этой воздушной могилою  
Без руля и крыла совладать...*

---

<sup>1</sup> Чтоб, приятель и ветра и капель..., 1937

## Ахматовская контрпропаганда

*Думали: нищие мы, нету у нас ничего,  
А как стали одно за другим терять,  
Так, что сделался каждый день  
Поминальным днём, —  
Начали песни слагать  
О великой щедрости Божьей  
Да о нашем бывшем богатстве.  
Анна Ахматова*

Всякому писателю очень важно понимать чувства своих читателей. Не просто сочувствовать им, а ощущать то же самое. Иначе чувство не опишешь, не передашь. Неважно, уехал интеллигентный читатель в эмиграцию или живёт в России, - свои чувства он держит в сердце и голове, а не в газете или книге. Даже если этот читатель дома после работы смотрит телевизор, его чувства остаются персональными, хотя и очень многие жильцы в других квартирах испытывают то же самое.

Задача пропагандиста, копирайтера и всякой пропаганды и рекламы вообще – вызывать нужные заказчику чувства; мобилизовать их. Они могут быть смутными, противоречивыми, необоснованными; что за беда? Главное – чтобы обеспечивалось соответствующее заказу поведение. Задача писателя - не обременять себя подобными задачами; он призван Творцом прояснить чувства, передать и постичь чувства, дать им волю; демобилизовать их. А поведение – личное дело каждого читателя. И потому, чем талантливее, точнее и вдохновеннее писатель вообще и поэт в частности, тем менее он пропагандист; и чем вдохновеннее, горячее и настойчивее пропагандист, тем худший он писатель.

Непревзойдённым мастером точного описания и воспроизведения чувств словами была Анна Андреевна Ахматова. Во всяком случае, так полагают люди, художественному вкусу которых можно доверять. Её творческая биография в сакральном, мистическом, иррациональном смысле совпадает с обобщённой судьбой российской интеллигенции.

Долгие годы молчания – и создание выдающихся произведений. Великолепное презрение к обобщённому образу власти – и публикация хвалебных для той же власти виршей, которых сама автор стыдилась. Успешное бегство в эмиграцию многих добрых знакомых и друзей – и терпеливое, мучительное пребывание под бездушной стопой государства. Безусловное общественное признание и даже поклонение – и одновременно публичное осуждение и шельмование. Постоянные бытовые страхи – и явная поэтическая отвага. Фактически это – сконцентрированный в одну судьбу объединённый социальный портрет интеллигента, обремененного талантом в не лучшее для литературы время.

Брать пример с Ахматовой в повседневной жизни и поступках – безрезультатно и бессмысленно. Её поступки были обусловлены конкретными обстоятельствами, возведенными в степень персонального восприятия и разделенными личным выбором. Поступать так же, как она, не будучи ею – невозможно физически. Даже написанные ею тексты пародировать очень трудно, и пародии выходят неудачными. Пример тому – талантливый стилист Владимир Сорокин в некогда нашумевшем романе «Голубое сало» упомянул Ахматову и попытался поместить фрагмент якобы в её стиле, – но вышли у него стихи акына Джамбула. Нет, в качестве примера поступка Ахматова не годится. Но в качестве нравственного ориентира, для понимания механизма чувств, переживаемых интеллигентной натурой в сложных обстоятельствах – подходит прекрасно, годится несомненно.

Какие же чувства современного российского интеллигента сопровождаются официальным поощрением? И какие из этих чувств не позволила культивировать в себе Ахматова?

**Патриотизм.** Жителю государства желательно ощущать себя частью великого народа, полезным винтиком мощного победительного механизма. Это поощряется – в основном спокойствием и отсутствием претензий, до тех пор, пока от гражданина потребуются очередная жертва. «Покинуть свою страну из соображений патриотизма», – оксюморон, несоместимые понятия для тех, кто ассоциирует страну с государством. Но этот выход понятен и доступен нам, уехавшим – не от своего народа, не от родного языка – но от лютости государства, властители которого принимают самоубийственные решения.

Казалось бы, Ахматова не поддерживала идею бегства. Известны её хрестоматийные стихи:

*Мне голос был. Он звал утешно,  
Он говорил: «Иди сюда,  
Оставь свой край, глухой и грешный,  
Оставь Россию навсегда»...*

И поэт закрывает уши, чтобы не соблазниться. Но посмотрите на первые строки этого стихотворения:

*«Когда в тоске самоубийства  
Народ гостей немецких ждал...»*

Это война не 2022-го, не 1941-го, это война 1914 года. Развязанная, как обычно, властью - себе и людям на беду. И гости – незваные, поганые. По логике поэта: важнее быть со своим народом, чем сохранять собственную жизнь. По логике государственной пропаганды: важнее пожертвовать жизнью, чем допустить поражение и оттого умаление величия народа. Это разная логика – заметно. А обычные люди? А они голосуют ногами: кто в силах – уезжает, кто готов или вынужден остаться – остаётся.

**Чувство вины.** Виноватыми легче управлять, а уж взysкивать с них – сплошное удовольствие. Вспомним старинную поговорку: «Кто Богу не грешен, царю не виноват». В предлагаемом российским школьникам анализе стихотворений Ахматовой встретились мне пророческие строки: «Русский человек редко льёт слёзы о земле, но часто плачет из-за того, что на ней происходит». Остаётся добавить, что причины плача этот собирательный образ обеспечивает себе сам.

В Интернете можно легко найти несколько сходных поэтических подборок на тему «чувство вины в стихах Анны Ахматовой». Вины поэта пестры и разнообразны: перед близкими людьми, перед собственными чувствами, перед обществом, в котором она вынужденно оказалась.

*Ну, а как же могло случиться,  
Что во всём виновата я?..*

или:

*Я всех на земле виноватей,  
Кто был и кто будет, кто есть...*

Но нет видимого ощущения вины перед государством, перед властью, перед царём. Долг перед родиной – краеугольный камень пропагандистского построения – поэт исполняет по собственному разумению, не прислушиваясь ни к каким советчикам или судьям. Это нестерпимо носителям и представителям власти – ровно настолько, насколько эти

люди чувствуют себя её представителями. И тут им для внушения соответствующего настроения приходится прибегнуть к следующему легко доступному для формирования чувству.

**Страх.** Это чувство выглядит универсальным социальным стимулом. Но только выглядит, а не является. Вот показательный случай из событий войны – не 1914-го, не 1941-го, а 2022 года. Когда российская армия заняла украинский город, местный интеллигент спросил на улице у русского офицера, на первый взгляд выглядевшего вполне вменяемым:

- Зачем вы пришли? Чего вы от нас хотите?

И офицер искренне ответил:

- Вы должны нас бояться!

Может быть, он раскрыл военную тайну, выдав истинную цель войны. А может, это только его личная догадка. Да, испугать можно. Держать в страхе можно. Но созидать в атмосфере страха – нельзя. Не получится. Проверено опытом цивилизации, веками и войнами.

Анна Андреевна Ахматова страхов своих не скрывала. Но и не демонстрировала публично. Наблюдавшая за нею кропотливый биограф и, вероятнее всего, осведомительница Софья Островская отметила в дневнике (и, видимо, в донесении): «Ахматова заботится о своей политической чистоте. Она боится. Она хочет, чтобы о ней думали как о благонадежнейшей».

Сама Ахматова писала:

*Узнала я, как опадают лица,  
Как из-под век выглядывает страх,  
Как клинописи жесткие страницы  
Страдание выводит на щеках...*

Что же можно противопоставить давящему чувству постоянной опасности, сопровождаемому ежеминутной тревогой и беспокойством за близких? Другое великое чувство, выработанное у всякого народа – а особенно у того, кто долго находился в условиях несвободы: в вавилонском ли пленении, в рассеянии или в ярме крепостного права.

**Терпение.** Строго говоря, это не разовое чувство, а постоянное качество, выработанное многими поколениями. Терпение почитается одной из христианских добродетелей: это не только спокойное перенесение боли, бед, скорбей и несчастья в собственной жизни, но и сдержанное ожидание благоприятных результатов происходящего. Для пропагандистов это свойство человеческой души служит скорее по-

мехой в работе, чем полезным качеством, поскольку всякий заказ на пропаганду обусловлен именно нетерпением властей, их желанием получить немедленный и показательный результат. Для людей же, не рвущихся повелевать, это спасительное качество, позволяющее выжить. «Терпи да гнись, а упрёшься – переломишься». Несомненно, Ахматова – как и почти всё её поколение, - была знакома с церковной традицией. В частности, с посланием апостола Павла к римлянам: «...Хвалимся скорбями, зная, что скорбь вырабатывает терпение, а терпение – опытность, а опытность – надежду, а надежда не постыжает, потому что в сердцах наших – любовь Божия...» (гл. 5; ст. 3-5).

Очевидно, об этом ахматовские строки:

*Забудут? - вот чем удивили!  
Меня забывали сто раз,  
Сто раз я лежала в могиле,  
Где, может быть, я и сейчас.  
А Муза и глохла и слеpla,  
В земле истлевала зерном,  
Чтоб после, как Феникс из пепла,  
В эфире восстать голубом.*

Читайте классику, право же. Нужны ли ещё доказательства того, что высококачественная литература успешно противостоит пропаганде? Причём литература не борется с ней, а просто изничтожает пропаганду самим фактом своего существования.

## Пророк

*Царь языка и стихосложения! Рыцарь нашей поэзии! Ни в одном языке, и ни у какого народа не родился поэт, который умел бы то, что умеет Ури Цви.*

*Ш.Й. Агнон*

100 лет назад, в декабре 1923 г., в Тель-Авив приехал Ури Цви Гринберг - человек и поэт, который стал одной из наиболее ярких и противоречивых фигур в новой ивритской литературе и общественно-идеологической жизни как ишува, так и - позднее - израильского общества. Почитаемый одними как крупнейший израильский поэт, выразитель идеи "Великого Израиля", он подвергался резкой критике со стороны других как "крайний националист" и "экстремист". Так, почитатель поэзии Гринберга и исследователь его жизни и творчества проф. Ханан Хэвер даже назвал одну из своих статей о нём "Изобретатель израильского фашизма". Показательно, что поэт также известен в еврейской культуре по первым буквам имени и фамилии - АЦАГ, а это своего рода честь, - вспомним: РАМБАМ, РАШИ, ЯЛАГ (Ехуда Лейб Гордон), - которой удостаивались далеко не все даже самые видные деятели еврейской религиозной и литературно-общественной жизни.

Гринберг родился в 1896 г. в семье глубоко религиозных евреев в городке Белый Камень Львовской области Украины (тогда - Австро-Венгрия). Его отец и мать вышли из семей, принадлежавших к главной ветви галицийских хасидов. Получил ортодоксальное еврейское образование.

В 1912 г. его первые стихи на идише ("С дрожаньем звезды...") появились в львовской газете "Еврейский рабочий", а на иврите ("Тропинка ведет...") – в журнале Ахад ха-Ама и Бялика "А-Шилоах" (Одесса). Молодой поэт сразу же начинает печататься во многих изданиях: в "Ха-Олам" (Одесса), в варшавском журнале "А-Цфира" (редактором которого был известный журналист и видный сионистский деятель Нахум Соколов), в "Шахарит" (Варшава), в палестинских журналах, редактировавшихся писателем Й.Х. Бреннером, в еженедельнике на идише "Фолкфрайднд"



("Друг народа") и в газете "Тагблат" ("Ежедневный листок"), печатавшихся во Львове.

В 1915 г. Гринберг был призван в австро-венгерскую армию, участвовал в боях в Черногории. В том же году выходит его первая книга стихов на идише "Где-то в полях". К концу Первой мировой войны поэт бежал с фронта и вернулся во Львов. Сборник стихов Гринберга "В шуме времени" (1919), изданный в расширенном виде под названием "На земле война" (1923), стал одним из первых в литературе на идише художественных откликов на бедствия войны.

В ноябре 1918 г. поэт был свидетелем антиеврейского погрома, учиненного поляками во Львове. Те ужасающие картины оставили глубокий след в его душе. Позднее в книге "Из секретов живого еврейского поэта" Гринберг вспоминал: «...Вошли польские солдаты в мой город, где я учил "алеф-бет", и поставили меня, отца, мать вместе с малышами "к стенке"... Почему? - просто так. Ибо мы евреи, и в наших жилах "собачья кровь"... так сказали. Аминь, говорю: чудо, что не был убит...».

В 1920 г. литератор переехал в Варшаву и печатался на иврите в журнале "А-Ткуфа" и в изданиях местных поэтов-импрессионистов "Ринген" и "Калиастра" на идише. В последнем из перечисленных журналов некоторое время сотрудничал бывший близким другом Гринберга известный впоследствии еврейский поэт Перец Маркиш.

В 1922 г. Гринберг начал издавать на идише бунтарский по духу журнал "Альбатрос". Его выход был запрещён польским правительством уже в 1923 г., однако поэт продолжал выпускать журнал в Берлине (№№3,4). Там же он опубликовал свою поэму "В царстве креста", в которой уже провидел Катастрофу евреев Европы.

В ранних стихах Гринберга преобладают мотивы религиозного благочестия, любви к женщине, природе, тоска по земному счастью.

*По ночам дожди поют тревожно,  
И, как шепот многих тысяч душ, -  
Шорох сосен над моим вагоном.  
По утрам снега скрывают тропы  
И вороны мечутся крикливо;  
По ночам черны поля сиротства,  
Утром - даль белеет забытья.  
К вечеру в скупой полоске неба  
Выглядит звезда воспоминаний  
И осеребрит горбы страданий,*

*И на каждом бьет фонтан хрустальный.  
Я газель своей души отправил  
К тем горбам, чтоб утолила жажду,  
И газель моя в ручьях плескалась...  
Вспыхнул лес моей забытой жизни,  
Освещенный зимнею луной, -  
И к стеклу, залитому слезами,  
Я прильнул. Мелькнули руки, шаль:  
Там невесты мертвой тень бродила...*

Перевод Г. Люксембурга

Однако уже в книге стихов "Мефистофель" (1921), - третьей книге стихов на идише, - упомянутые мотивы окончательно вытеснены темой одиночества, страха, отчаяния, крушения жизненных устоев в мире, где зло попирает веру и нравственность. Ясно звучит чувство скорби и боли за давние и новые страдания еврейского народа. В книге ощущаются влияние экспрессионистских течений в европейском искусстве конца XIX - начала XX века: символизма, импрессионизма и натурализма. Реализму в искусстве Гринберг противопоставляет право художника на погружение в глубины собственной психики, что особенно ощущалось в полных авангардистского экспрессионизма стихах поэта периода издания им журнала "Альбатрос".

В декабре 1923 г. Гринберг переехал в Палестину. Он начал публиковать статьи на актуальные темы в местных еврейских газетах и журналах. Поэт считает себя принадлежащим сионистскому рабочему движению, поэтом еврейского пролетариата. Отныне он пишет исключительно на иврите. С момента основания газеты "Давар" (1925) Гринберг становится её постоянным сотрудником.

Через месяц после приезда Гринберга в Палестину вышла в свет поэма "Великий ужас и луна", ставшая основой книги того же названия. Для ивритоязычного читателя это произведение было неожиданным по форме и шокирующим по содержанию - поэтическое исследование экзистенциального страха человека в современном мире, страха, который держит жизнь на пределе безумия и одиночества, ожидания апокалипсического конца дней.

Поэт призывает к активному включению поэзии в борьбу за подъём национального духа и свободу еврейского народа. Вместе с тем, уже тогда национализм Гринберга выходил далеко за рамки официальной программы рабочего движения, в котором Гринберг скоро разочаровался. Так, в своем поэтическом манифесте - книге "Против 99-ти" (1928)

- он резко критиковал еврейских поэтов - приверженцев космополитической позиции, не занимавшихся сугубо еврейскими проблемами.

В 1929 г. выходит сборник лирических стихов "Анакреон на полюсе скорби", в котором всё ещё преобладает экзистенциальное мировоззрение и сказывается сильное влияние немецкого экспрессионизма. И ещё одна книга Гринберга увидела свет в 1929 г. - "Виденье одного из тех, чьё имя - легион". В Палестине разразился экономический кризис, увеличивалась безработица, многие евреи покидали Землю Обетованную. Всем этим трудностям в осуществлении сионистской мечты, страданиям пионеров-халуцим посвятил поэт цикл монологов, обвиняя вождей рабочего сионистского движения в том, что они изменили "халуцианскому духу".

*Вожди твои - свора предателей с каменным сердцем,*

*Жрущих и пьющих Мессию из кубков своих.*

*Святая, несчастная Родина!*

*Когда ты в крови своей тонешь и молишь о чуде,*

*Их речи звенят на подмостках игры в словоблудье,*

*И жалкий иврит их - звон битой посуды.*

*Их мозг воспален от интриг, словно улей пчелиный,*

*От склок бесконечных, от ненависти беспричинной.*

*Их кровь не краснеет: тиха, как вода на болоте.*

*Их жизнь безопасна, плоска, без глубин и без плоти.*

*Когда ты, как рыба спасаешься в тине, скрывая свой страх,*

*Они пьют и едят, они курят и спят на твоих берегах.*

*Перевод Г. Люксембурга*

Вместе с тем, уже в следующей поэтической книге "Домашний пёс" (1930) Гринберг развенчивает переросшую в самоцель борьбу за улучшение жизни рабочих как отступничество от мессианской идеи возрождения еврейского государства.

Вооружённые выступления арабов в Палестине в 1929 г. и примиренческая, по мнению Гринберга, позиция руководства ишува, удержавшего евреев от ответных силовых действий, побудили поэта окончательно порвать с рабочим движением и вступить в партию сионистов-ревизионистов, а в 1930 г. - и в подпольный радикальный "Союз бунтарей". Гринберг стоит четвёртым от своей партии в списке кандидатов на выборы в Собрание депутатов (предтеча израильского парламента), получает второе место (сразу после Владимира Жаботинского!) в партийной делегации на очередной сионистский конгресс.

В статьях, написанных для печатного органа партии - газеты "Почта дня", поэт обличает британское правительство за нарушение обещаний, данных евреям, а руководство ишува - за измену идеалам сионизма.

В 1931 г. по решению партии Гринберг направляется в Варшаву издавать еженедельник сионистов-ревизионистов на идише "Ди вельт". По возвращении (в 1934 г.), полный мрачными впечатлениями от надвигавшейся угрозы фашизма в Европе, а также под впечатлением начавшегося арабского антиеврейского восстания в Палестине, Гринберг рисует жуткие видения гибели еврейского народа в поэме "Башня трупов". Она вошла в "Книгу обличения и веры" (1937) - одну из главных книг поэта. В годы подпольной борьбы с мандатными властями он даже подвергся аресту за поддержку радикальной Военной национальной организации (ЭЦЕЛ).

В упомянутом произведении наглядно отразилось изменение в его мировоззрении - поэт окончательно стал стойким и активным приверженцем национально-религиозных взглядов, которые отныне и до конца его долгой жизни определяли идеологические и эстетические основы его творчества. Гринберг рассматривает историю с метафизических позиций, подчеркивая её иррациональное начало, воплощённое в существовании еврейского народа, на который, по его мнению, возложена мессианская миссия. Отречение от неё, принятие ценностей окружающих цивилизаций равносильно предательству, измене исконному призванию народа, избранного Богом.

В конце 1938 г. Гринберг вновь выехал в Варшаву для редактирования журнала "Дер момент" и с трудом сумел вернуться в Палестину уже после начала Второй мировой войны.

В последующие годы, с первыми сообщениями о Катастрофе, Гринберг прекратил публиковаться. Позднее, в одном из стихотворений он объясняет молчание тем, что его обвинения, провидения, призывы, публиковавшиеся до войны, не нашли понимания: большинство сионистских руководителей и евреев Европы предпочитали не замечать надвигавшуюся опасность Катастрофы. Поэт считал бессмысленным продолжать творить.

В 1945 г., когда в Палестине стали известны факты гибели миллионов евреев Европы от рук нацистов, Гринберг начинает публиковать в газете "Ха-Арец" стихотворный цикл в духе средневековых элегий, посвящённый жертвам

крестовых походов. Эти стихотворения и поэмы, которые произвели на читающую публику сильное впечатление, были собраны в 1951 г. в книгу "Улицы реки" (или «Реховот Наречный» - по названию упомянутого в Библии города, который в Каббале приобретает значение мистического символа, предупреждения и, в то же время, стимула к возрождению). Катастрофа европейского еврейства, - говорит своим произведением Гринберг, - это не только результат слепоты евреев в диаспоре и недостатка усердия в осуществлении своего мессианского призвания, но и страшное потрясение, которое должно стать страшным предупреждением.

*Вот является беженец, лицо его вытекает,  
и в лице этом глаз один - ужаса,  
и рот сквозной, как прорублен клинком,  
говорит: резня, пожар.*

*Только я, одинокий, скорбящий...  
И ты, еврей? Есть ещё один иудей на земле?  
А я и не знал, что есть ещё один иудей.  
Я здесь... они там: убитые мои,  
рассеченные, сожжённые.*

*Перевод Е. Бауха*

Второе и третье издания книги вышли в 1954 г. и 1958 г. Израильский литературный критик Авраам Карив писал: «...Эта книга - великий "Кадиш" по срубленному нашему роду, великий "Изкор" по еврейскому великолепию, которое выкорчевали...».

После провозглашения Государства Израиль Гринберг, как видный деятель партии сионистов-ревизионистов и её преемницы - правонационалистической партии "Херут", был избран депутатом Кнессета 1-го созыва (1949-1951). Помимо этого Гринберг был делегатом четырёх всемирных Сионистских конгрессов.

В 1956-1957 гг. поэт опубликовал ряд стихотворений на идише, что вызвало приветственные отклики в мировой еврейской прессе. Более двадцати лет спустя - в 1979 г. в Иерусалиме вышло в свет двухтомное собрание сочинений поэта на идише. В 1959 г., ввиду больших заслуг в деле развития поэтического языка, Гринберг был принят в число членов Академии языка иврит, а в 1978 г., учитывая глубокую философскую содержательность его произведений, руководство Тель-Авивского университета присвоило Гринбергу степень почетного доктора философии.

После арабо-израильской войны 1967 г. Гринберг включился в деятельность движения "За неделимый Эрец Исраэль". Поэт придерживался мнения об исключительности исторической судьбы евреев и высоком предназначении своего народа. Отсюда в поэзии Гринберга мысли о Государстве Израиль "от Нила до Евфрата", о непреодолимости двухтысячелетней вражды между крестом и звездой Давида. Он видит в возрождении еврейского народа подтверждение святости последнего. Поэт верил, что осознание национальной миссии рано или поздно возобладает над упорным желанием множества евреев оставаться в диаспоре, над равнодушием евреев ишува к судьбе их собратьев в остальном мире, - что приведёт тогда всех евреев к исполнению своего исторического назначения.

С национальными мотивами в творчестве Гринберга тесно переплетены личные религиозно-философские размышления: "я" поэта и поиски смысла существования; проблема смерти; непрерывность и преемственность бытия; вера без сомнений, приводящая к слиянию национальных символов с их религиозными истоками; мучительная участь поэта-пророка, остающегося непонятым.

*Ломаный грош вам, философы вечности  
жизни духа после кончины...*

*Ломаный грош вам за ваши морщины.*

*Выбираю плоть страждущую*

*во имя ногтя пальца моего,*

*что так обычен и мне симпатичен.*

*Выбираю наслаждение, что просто и бело:*

*надеваю свежую рубаху на тело,*

*что тонуло и вышло из всех вод земли, -*

*чем быть космической частью в пыли...*

*Ломаный грош вам за пыль в глаза на тризне!*

*Перевод Е. Бауха*

Весьма характерно, что за десять дней до начала тяжелой для Израиля арабо-израильской войны 1973 г., назревание которой фактически "просмотрели" даже искушённые аналитики из израильской разведки, Гринберг писал:

*Беспечные ничего не слышат.*

*Телефоны ещё не звонят.*

Вообще дар провидения - яркая черта творчества поэта и его характера как человека, прожившего долгую и непростую жизнь. Однако, заслуженно имея право именоваться пророком еврейской судьбы в XX веке, о себе Гринберг всегда говорил предельно скромно.

*Не пророк я в Сионе,  
свидетель лишь - бедствиям,  
страданиям солдат в огне агоний,  
стиранию лиц, погрязанию сердца,  
сжиганию души и пророчества вместе,  
образу мудрости солдатских ладоней –  
карта чёрствой страны этой в их руках...  
Не пророк я в Сионе, а просто так:  
то ли пёс домашний, то ли шакал,  
что ноздри в ночи раздувает,  
чует запах беды  
и вовремя лает.*

*Перевод Е. Бауха*

Поэт разрабатывал национально-самобытную, гибкую и свободную форму стиха, основанную на ритмике поэтических книг Библии и средневековой ашкеназской поэзии на иврите. Приподнятый, иногда ораторский строй речи Гринберга, родственная интонациям библейских пророков, порой приводит к риторике. Однако большинство стихотворений всё же отличается художественной немногословностью и тонким лиризмом. Также самобытен и образный строй его поэзии: сплав из воспоминаний об отчем доме, его благочестивом покое, облечённый в библейские и агадические понятия-символы (например, Адам, Ева, Эдемский сад) – и из элементов окружающей поэта реальности, окрашенной в мистические тона. Своеобразие этого сплава усугубляют идущая от экспрессионизма эмоциональная напряженность образов и парадоксальность их сопоставления.

В своей лексике Гринберг часто использует отдельные библейские термины, понятия и определения из каббалистической литературы. Так, озаглавив уже упоминавшуюся выше книгу «Улицы реки» («Реховот Наречный» - название города в Эдоме), поэт стремится сразу же вызвать у читателя цепь ассоциаций с библейскими рассказами о свирепости грабежей, учинённых эдомитянами после разрушения Первого Храма, затем с Римом, который в Агаде отождествляется с Эдомом и, наконец, с Римом как олицетворением христианского мира, который стремился истребить "дом Яакова", то есть еврейский народ.

Литературная критика в Израиле, редко принимая крайние идеологические позиции У.Ц. Гринберга, признала его исключительный поэтический дар и ту значительную роль, которую его творчество играло и продолжает играть в развитии современной поэзии на иврите. Гринберг также явля-

ется автором десятка прозаических романов, которые, правда, не столь популярны, как его поэтические произведения.

Поэт стал лауреатом целого ряда высоких литературных премий, в том числе: 1947 и 1977 г. - премия им. Бялика, 1955 г. - особая премия им. Бялика за поэтическое мастерство книги "Улицы реки", 1957 г. - Государственная премия Израиля по разделу художественной литературы.

Авторитет поэта в общественно-политической и художественной жизни Израиля был очень высок. Когда в 1976 г. этому мастеру поэтического слова исполнилось 80 лет, практически все израильские газеты и журналы выпустили специальные приложения. Юбилею и творчеству Гринберга был целиком посвящён номер журнала Союза ивритских писателей "Мознаим". В Кнессете состоялось праздничное заседание, посвящённое юбилею, который был одним из первых израильских парламентариев. «Ури Цви Гринберг - фигура в израильской культуре и еврейской цивилизации громадная. Пророк. Ревизионист. Оппозиционер. Ультранационалист», - так обозначил место поэта в жизни общества русскоязычный израильский литератор Михаил Генделев.

Поэт скончался в 1981 г. и был похоронен в Иерусалиме.

В Израиле существуют и выходят новые исследования творчества и жизни поэта, в том числе отдельные - на русском языке. В последние годы при активном участии вдовы поэта Элизы Гринберг продолжается издание полного собрания сочинений Гринберга на иврите, в котором будет не менее 27 томов.



# ХРОНИКА ТЕКУЩИХ СОБЫТИЙ В ИЗРАИЛЬСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Андрей Зоилов

## Благая весть неизвестным авторам

*(О книге «Очерки по истории русско-израильской литературы», 2023, Бостон, «Academic Studies Press», 480 стр., цена \$30)*

У меня есть хорошая новость для тех, кто живёт в Израиле, умеет писать на русском языке и хотя бы дважды доведёт свои художественные произведения до сведения любой аудитории любым приемлемым путём: печатанием на бумаге ли, изданием электронной книги, или публикацией в местных СМИ. Приходила ли к вам обоснованная, но горестная мысль, что популярности добиться не удастся? Что ваш опус скоро забудется и канет туда же, куда канули тысячи произведений, написанных такими же неизвестными авторами? Утешьтесь, малoverы! Современная литературоведческая наука учтёт вашу личность и ваши труды, и навсегда сохранит ваше имя в истории мировой литературы. Я своими глазами видел благую весть об этом – массивную книгу, вышедшую в Америке на русском языке, и одновременно в переводе на английский. Книга красивая, научная, полезная, солидная и многообещающая. Называется она «Очерки по истории русско-израильской литературы»,

Пусть слово «Очерки» в названии не смутит вас. Ещё Козьма Прутков утверждал: «Никто не обнимет необъятного», и это верно по сей день – необъятное не обнимается, но при попытке распахнуть такие объятия жест получается очень широким. Русско-израильская литература необъятна и громадна; многие писатели умерли, так и не добившись массового признания, а на смену им приходят новые авторы, и пишут, и пишут. Создатели благой, увлекательной и концептуальной книги сделали очень широкий жест, учтя в истории израильской литературы на русском языке не толь-

ко тех, кто нравится им лично – так поступил бы любой заинтересованный писателя на их месте, - но и тех, кто внёс сколько-нибудь существенный вклад в развитие этой самой литературы. Ясное дело, литература – не банк, вклады в неё нельзя забрать с процентами, и разбогатеть благодаря ей тоже не получится, но размер индивидуального вклада можно учесть, хотя бы приблизительно, по толщине кейса, с которым литвкладчик входит в виртуальное хранилище фраз, образов и идей. И литературоведа как охранника банка интересует, что автор несёт, а читателя как бенефициара предприятия – чем он поделится.

Сборник открывается интереснейшей и очень информативной статьей профессора Еврейского университета Владимира Хазана «К истории палестинского текста». Это точная, умело воспроизведенная картина русскоязычной литературной ситуации в Израиле до провозглашения государства, основанная на глубоком изучении как опубликованных источников информации, так и архивных материалов. Как мудро пишет профессор Хазан: «Архив позволяет ухватить ускользающую от официальных источников Ариаднину нить взаимодействия быта и бытия, личности и социума, причин и следствий, то есть ту картину, которая до более поздних поколений нередко доходит в искаженном виде, опосредованном многочисленными вмешательствами и помехами, а порой не доходит вовсе».

Статьи Любы Юргенсон «Юлий Марголин и его время» и Марата Гринберга «Израильско-советские литературные связи в 1950–1980-х годах: от переводов до “Библиотеки-Алия”» также представляют несомненный интерес для историков литературы. Как и вся книга в целом.

У этой книги два инициатора, два редактора: профессор Бостонского колледжа в США Максим Д. Шраер, который поместил в сборнике ценную статью «Пути русского поэтического авангарда в Израиле», и учёный, выпестовавший книгу в недрах своей научной школы на кафедре литературы еврейского народа Бар-Иланского университета, профессор Роман Кацман. Он выступил не только в роли составителя и редактора, но и одного из авторов сборника. Его ученики и коллеги Елена Промышлянская и Алексей Сурин также поместили в этом издании пространственные и снабжённые безупречным научно-справочным аппаратом статьи. В итоге тому, кто заинтересован в судьбах русско-израильской литературы или ищет в ней собственное ме-

сто, достаточно приобрести и изучить «Очерки», чтобы чётко определиться в литературном пространстве.

Профессор Кацман – не неофит в кропотливом деле исследования местного русскоязычного писательского сообщества, - или, точнее выражаясь – нашего террариума единомышленников. Внимательному читателю знакомы его книги «Неуловимая реальность. Сто лет русско-израильской литературы. 1920-2020» и «Высшая лёгкость созидания. Следующие сто лет русско-израильской литературы». Это книги, свидетельствующие не только о громадной культурологической эрудиции автора, но и о вовлечённости его в местный литературный процесс, который породил несколько звёзд первой величины, хотя в целом явно выглядит неудовлетворительным. Я оказался читателем невнимательным, и с восторгом просмотрел «Очерки», и найдя там полторы сотни фамилий лично мне знакомых писателей, поинтересовался в Интернете предыдущими работами учёного. Открыл «Неуловимую реальность» - и ахнул. Великолепное знание автором современной культурологии и тончайшее понимание литературных механизмов сопряжено с высокой избирательностью имён пишущих на русском израильтян, достойных упоминания. Вот цитата: «За эти годы десятки писателей, поэтов и драматургов оказывались, кто на всю жизнь, кто ненадолго, в том хаотическом, вечно исчезающем, но живом русско-израильском облаке неочевидности, непринадлежности и нереальности, которое только и может быть сетью реального». И этим «облаком неочевидности» профессор Кацман занимается всерьёз.

Пока громадный массив изучаемой израильской прозы вынужденно сужается до беллетристики. Вне рассмотрения временно остаются довольно обширные отрасли русско-израильской литературы: книги эзотерические, - как, например, многочисленные труды о каббале или иные работы писателей религиозных; книги документальные и биографические – как, например, существенная часть продукции издательств «Исрадон», «Гешарим» и «Даат/Знание»; книги, полезные в быту – как, например, издательства «Меркур», и некоторые другие. Что ж, никто не обнимет необъятного, Но можно надеяться, что благородный и кропотливый труд исследователей будет продолжаться.

К счастью, «Очерки» показывают пример исключительной научной честности и добросовестности. Ведь никто не заставляет – и не может заставить - учёного рассматривать

и анализировать тот предмет, который ему не нравится. При этом именно учёные фиксируют историю; и следующие поколения узнают о нас, скорее всего, не по пожелтевшим страничкам «Артикля» - его и свежим-то в книжных магазинах найти трудно, - а по солидным литературоведческим трудам с библиотечных полок. И писательскому сообществу следует внимательно прислушиваться к мнению специалиста из университета Бар-Илан – только его научная школа сегодня зримо занимается сохранением памяти о присутствии в литературе наших пишущих современников, пока не ставших классиками, да и шансов на это не имеющих.

Важно ли писателю убедить читающую аудиторию в высоком качестве своих произведений? Конечно, важно, но делают это сами произведения – своим содержимым, идеями, текстом, стилем, формой подачи материала, местом, где они опубликованы... К каждому произведению нельзя же приложить автора, который разъяснял бы, чем оно замечательно. И даже для замечательных произведений нет никакой гарантии, что они останутся в памяти народной или хотя бы в списке рекомендуемой литературы. Но достаточно убедить литературоведа персонально – и такая гарантия появляется, хотя бы строкой в перечне упоминаний. Истинные литературоведы – посредники между писателем и временем, представители вечности в сиюминутном процессе. Это трудная миссия, но необходимая и почётная – и создатели «Очерков» несут свой тяжкий крест с доблестью и честью.

## Литература под прицелом науки

*Научная конференция «Русско-израильская литература в контексте литературы мировой: история, поэтика, теория», в течение трёх дней (с 30 мая по 1 июня 2023 года) проходившая в Бар-Иланском университете, стала важным событием в мировой литературоведческой науке и в современной славистике. В программе конференции – более двадцати докладов, сделанных не только израильскими учёными, но и славистами из США, Великобритании, Франции и других стран; круглый стол «Война: осмысление катастрофы»; презентации книг и даже небольшой безалкогольный банкет. О проблемах и перспективах литературы и науки о ней корреспондент «Артикля» **Исер Ротшильд** побеседовал с организаторами конференции: профессором **Романом Кацманом**, доктором **Еленой Промышлянской** и научным ассистентом и докторантом **Алексеем Суриным**.*

**И.Р.** Собрать столь представительную компанию, объединив её интересом к русско-израильской литературе – задача титаническая, кажущаяся на первый взгляд невыполнимой. Тем не менее, она была блестяще реализована усилиями всего трёх человек; правда, за ними стоит мощная университетская кафедра. Каковы итоги этой конференции? Довольны ли организаторы её результатами? Есть ли надежды на продолжение банкета?

**Р.К.** С 2020 года, когда в Бар-Илане открылась программа по русско-еврейской литературе, это уже третья международная конференция по русско-израильской литературе. Конференции несколько различались по организационным принципам, расставленным акцентам и по языку общения: первая велась на иврите, вторая по-английски, и вот пришло время для русского языка. Это большое удовольствие – обсуждать литературу на её языке, да и ничто не заменит живой, точный и тонкий разговор на родном языке, когда научные и философские понятия наполняются глубоким культурным и эмоциональным содержанием. Участники представили интересные и зачастую новаторские доклады, дискуссии были живыми и открытыми, - поэтому да, я доволен тем, как всё прошло. Жаль только, что, как обычно, не хватило времени. Мы обязательно продолжим этот разговор. Теперь это уже, можно сказать, традиция.

Мы с Еленой Промышлянской и Алексеем Суриным проделали большую работу, но останавливаться не собираемся. Продолжаем работать над проектом создания историографии русско-израильской литературы, финансируемым, кстати, как и конференция, Израильским научным фондом. Алексей пишет докторскую диссертацию, а Елена защитилась в этом году. Надеюсь, новоиспеченный доктор наук поделится своими дальнейшими планами.

**Е.П.** В этом году я защитила докторскую диссертацию, в которой рассмотрела своеобразие символики русскоязычной литературы Израиля и описала процессы создания новых смыслов как результат слияния культурного наследия прошлого и новых впечатлений после репатриации. Конечно, окончание доктората - это достаточно важный и значительный этап, и после небольшой передышки я планирую продолжить работать над определёнными аспектами этой большой темы. В первую очередь, меня интересует литература «полуторного поколения» репатриантов. Тема интеграции молодежи интересна мне как педагогу, и с её помощью можно понять важные процессы, которые происходят сегодня как среди бывших репатриантов, так и в израильском обществе в целом. Результаты исследования могут быть полезны также и новым гражданам Израиля.

Кроме того, я бы очень хотела создать условия для более близкого и глубокого знакомства израильской публики с литературой русскоязычного Израиля и вообще литературой репатриантов из бывшего СССР. Для этого, конечно, нужны переводы и встречи с читателями. Первые попытки таких встреч уже делались и были достаточно успешны. Надеюсь, что мы сможем расширить круг людей, которым интересна эта литература.

**А.С.** Для меня главный итог конференции в том, что нам удалось переключить фокус научного внимания с вопроса о том, как называть эту литературу и существует ли она вообще, на вопрос, как мне кажется, куда более конструктивный и перспективный: что это за литература, какая поэтика для нее характерна, какие картины мира она предлагает? Другими словами, сделан шаг в сторону более глубокого и методологического взгляда на главную составляющую русско-израильской литературы – обширный и разнообразный корпус её текстов.

**Р.К.** Лена затронула очень важную и сложную проблему. И для первого, и для «полуторного» поколения, и для их детей-сабров израильская культура представляет собой

поле сложных задач и испытаний, с которыми не сталкиваются их сверстники. Вопреки ожиданиям многочисленных философов и теоретиков, политика мультикультурализма и политика идентичности вообще не решает, а, напротив, только усложняет существующие проблемы и создаёт новые. В своей лекции на конференции Лена предложила рассматривать русско-израильское сообщество и его литературные практики с точки зрения теории межкультурной компетентности. Быть может, так удастся продвинуться в вопросе, над которым безнадежно бьются наши соотечественники, начиная, по крайней мере, с 60-х годов.

**И.Р.** На конференции был представлен недавно вышедший сборник статей «Очерки по истории русско-израильской литературы». Это толстенная книга, около пятисот страниц, насколько я понимаю, напечатанная в США; опубликован не только русский, но и английский её вариант. В этих очерках рассматриваются отдельные периоды и жанры, такие, как проза 90-х, поэзия авангарда, фантастика, драматургия; приводятся краткие сведения, а в иных случаях и биографии многочисленных израильских русскоязычных писателей; по приблизительной прикидке - их около двухсот. Довольны ли эти писатели тем, как авторы статей их представили? Получил ли авторский коллектив сборника какую-либо обратную связь от замеченных им персон? В повседневной жизни израильские русскоязычные писатели борются друг с дружкой за читательское внимание; за возможности популяризации творчества себя, любимого; и даже, когда подворачивается редкий случай — за гранты и дотации. На страницах книги они ведут себя тихо и пристойно. Но не доносятся ли по ночам из-под обложки шорохи драки и звуки оплеух? Удовлетворены ли упомянутые, рассержены ли неупомянутые? И ещё вопрос: неужели нашлись герои и подвижники, которые удосужились прочитать творения авторов, о которых повествуют статьи сборника?

**Р.К.** Вы знаете, до того, как заняться русско-израильской литературой, я много лет изучал творчество Агнона, а в докторской диссертации писал о Достоевском. Вот что было тихо и пристойно. Начав работать над творчеством моих современников, а зачастую и просто соседей, я оказался в центре бурной и интересной «живой жизни», познакомился со многими писателями, которые оказались удивительными людьми и замечательными друзьями,- а это уже само по себе огромное удовольствие. Но в моей работе я обычно

очень редко обращаюсь к авторам за обратной связью. Не думаю также, что в цели науки входит делать писателей довольными или расстроенными, мирить или стравливать их друг с другом. Более того, не думаю, что в её цели входит поучать авторов, как писать. Оценка, суждение, популяризация, диалог и обратная связь – всё это необходимая часть литературного процесса, желательная и авторам, и читателям, и она должна быть основана на научных работах, но она не совпадает с ними ни по целям, ни по образу мыслей и методам, ни по языку.

Сборник, о котором идёт речь, стал результатом работы группы ученых, которым не безразлична русско-израильская литература. Некоторые занимаются этой темой многие годы, в сфере интересов других она оказывается лишь изредка и на короткое время; одни рассматривают отдельные её фрагменты, другие стремятся к широким – как по объёму, так и по хронологии – обобщениям. И у каждого свои теоретические и идеологические установки, свои вкусы и привычки. В любом случае такая работа ценна и весьма непроста. Прежде всего потому, что научная база скудна, предшествующие работы малочисленны, многие книги и материалы недоступны или утеряны, а информационное пространство кишит ошибочными и противоречивыми сведениями. Но главное даже не это. Главная наша беда в том, что слишком мало попыток серьёзного, медленного и вдумчивого чтения текстов. Я понимаю и разделяю ту ироничную горечь, которой пропитан ваш вопрос. Хватает самоиронии и у критиков. Один остроумец сказал, что для большей объективности не следует читать книгу перед тем, как о ней написать. Но, глядя на состояние нашей дисциплины, мне становится не до шуток. Поэтому я написал три книги такого вдумчивого чтения текстов русско-израильской литературы, прежде чем приступить к историографическому труду, над которым корплю сейчас. Надеюсь завершить его через пару лет. Также и в свежем сборнике статьи основаны на внимательной работе с текстами. Но чем больше я занимаюсь этим вопросом, тем больше вижу неосвоенного, неизученного, неосмысленного материала. В этом смысле наш сборник – это своего рода геодзическая разведка, после которой, надеюсь, развернётся более интенсивная работа глубинного бурения.

**И.Р.** В кулуарах конференции мне довелось слышать самые разные мнения о предмете обсуждения. Наряду с высказываниями о высоком уровне научной методологии в



докладах и о замечательном качестве фруктового салата, предложенного организаторами на скромном, но солидном приёме, завершившем первый день, иногда звучали и сетования на тенденциозный подбор объектов литературоведческого изучения. Значительное количество израильских писателей на русском языке остаётся вне поля зрения исследователей. Местные писательские объединения (например, Союз Русскоязычных Писателей Израиля) никак не участвовали, да и, пожалуй, ничего не знали о конференции, хотя счёт объектов изучения в них идёт на сотни. Действительно ли существует некая «обойма» русско-израильских писателей, зачисление в которую обусловлено не издательскими достижениями, а особенностями художественного вкуса исследователей? Что нужно сделать писателю, чтобы попасть в такую «обойму»?

**Р.К.** Вы упомянули два различных момента. Первый – писатели, которых мы изучаем. Второй – писатели, которые принимают участие в конференции. Начнём со второго, это проще. В этот раз конференция была сугубо научной, если не считать круглого стола, в котором приняли участие два автора. Ещё два писателя выступили с научными докладами. Некоторые участники, так уж получилось, являются одновременно учёными и писателями. Мы не планировали литературный фестиваль, творческие вечера или поэтические чтения. Поэтому нет смысла в данном случае говорить о представительском участии писателей или писательских организаций.

Теперь вернёмся к первому моменту. Не судите только по названиям докладов; в них обсуждалось или упоминалось множество авторов. И тем не менее вы правы в том, что и я повторяю без конца: предмет нашего исследования настолько обширен, что просто не хватает рук, чтобы охватить его целиком. Сейчас, как, впрочем, и в прошлом, специалистов и студентов катастрофически не хватает. Их слишком мало даже в таких традиционных и институционализированных областях, как русистика или славистика, ивритская литература и иудаика; что уж говорить о таких сложных, пограничных, трудно определяемых областях, как русско-израильская словесность и культура. Добавлю, наконец, и пусть это прозвучит диссонансом к уже сказанному, - что да, в науке всё и всегда движется интересом исследователей, который в свою очередь может быть не только художественным, но и, к примеру, историческим или социологическим. Именно поэтому так важно, чтобы над

одним и тем же предметом работало как можно больше исследователей, представляющих различные научные школы и направления; чтобы одними и теми же темами занимались в разных университетах и на разных кафедрах. Это не роскошь, а средство продвижения науки.

Вот Алексей - одновременно и исследователь (его докторат посвящён русско-израильской литературе), и писатель - точнее прозаик и поэт. Алексей, как складывается ваш интерес к тем или иным авторам?

**А.С.** Моя диссертация посвящена анализу мифов, которые предлагает или создаёт русско-израильская литература, когда говорит о катастрофах в самом широком смысле этого слова. Поэтому мой выбор авторов обусловлен использованием ими мифотворчества (или языкотворчества) как инструмента смыслопорождения в ситуации катастрофы. Таких авторов довольно много, назову тех, кто мне наиболее близок: Михаил Юдсон, Александр Гольдштейн, Денис Соболев. Ещё один предмет моего интереса – израильский городской текст, и здесь русско-израильские писатели создали и продолжают создавать богатейший материал. Особенно я бы выделил Александра Иличевского и Некода Зингера, предлагающих ни на что не похожее описание Иерусалима как бескрайней Вселенной, заключающей в себе весь культурный опыт человечества.

**Е.П.** Я полностью согласна с Романом. Конечно, чувствуется нехватка исследований. Когда я писала работу, ощущалась нехватка именно научных статей и книг на тему русскоязычной литературы в так называемой русской диаспоре - и в Израиле в частности. Вместе с тем такое положение позволяет свободу выбора; я могла обратиться к авторам, которые, на мой взгляд, писали более качественно или на интересующие меня темы. В определенной мере я чувствую, что мы - первопроходцы в этих исследованиях, и это положение имеет свои положительные и отрицательные стороны.

**Р.К.** Нужно добавить, что осмысление русскоязычного творчества в нашей стране продолжается уже много лет. Оно началось одновременно с появлением достаточно значимого числа авторов в 1920-е годы, а к сегодняшнему дню собрание текстов на эту тему может составить многие сотни страниц. Кстати, мы в нашем проекте как раз планируем публикацию антологии наиболее значимых работ на эту тему, вышедших в прежние годы, но забытых или неизвестных никому, кроме очень узкого круга специалистов. Наде-

юсь, такое издание станет полезным подспорьем для тех, кто только начинает работать в нашей области.

**И.Р.** Известен апокриф о том, что профессор Роман Якобсон категорически возражал против намерения материально нуждавшегося писателя Владимира Набокова занять штатное оплачиваемое место на кафедре литературы Гарвардского университета. Когда ему указали, что «Набоков – большой писатель», Якобсон якобы ответил: «Слон – тоже большое животное, но мы же не приглашаем его занять кафедру зоологии». По этому поводу ставший в последние годы жизни израильским писателем Алексей Цветков в статье «Империя лжи», опубликованной в журнале «Октябрь», №2 за 2002 год, написал: «Якобсон, конечно же, был прав, о чем свидетельствует карьера Набокова за пределами неприступного Гарварда. Когда-то предмет, которому Якобсон посвятил себя пожизненно, а Набоков - временно, именовался филологией. Но с течением времени стало очевидно, что изучать литературу и наслаждаться ею - далеко не одно и то же. На кафедре зоологии, между прочим, тоже занимаются не исключительно горными орлами и персидскими кошками, потому что существуют, допустим, уховёртки, чесоточные клещи и разные неудобосказуемые копрофаги. Кто-то должен видеть всю картину целиком, абстрагируясь от красоты и душевной пользы. Для того чтобы литературоведение стало наукой и постигло механизмы литературного творчества, следовало вынести субъективное качество за скобки (в конечном счёте его выставили за дверь). Якобсон и Набоков находились уже за той развилкой, где наука окончательно развелась с художественной критикой»<sup>1</sup>. От имени всех орлов, уховёрток и чесоточных клещей литературы позвольте спросить: какая польза для литературы и литературного процесса в том, что вы нас изучаете? Или понятия практической пользы эта наука не предусматривает?

**Р.К.** Со времён того спора Якобсона с Набоковым много воды утекло. Писатели уже давно и активно сотрудничают с университетскими кафедрами. Дело не в этом. Конечно, научное исследование и художественная критика - это не одно и то же, но ни о каком разводе между ними не может быть и речи. Критика, не основанная на знании, - это просто вкусовщина или же агитпроп, а знание создается научной

---

<sup>1</sup> Цитата по: <https://magazines.gorky.media/october/2002/2/imperiya-lzhi.html>.

мыслью, причём отнюдь не только в головах кабинетных учёных на университетских ставках. Многие прозаики, поэты, интеллектуалы обладают блестящими знаниями, позволяющими делать тончайшие наблюдения за ходом литературного процесса и тем самым изменять и направлять его. Именно в этом, а отнюдь не в оценочных суждениях я вижу главную практическую пользу нашего дела.

Есть и ещё один аспект, который и писатели, и учёные обычно упускают - это просвещение и педагогика. Елена много лет преподаёт литературу в старших классах, награждена званием заслуженного учителя, и мы часто обсуждаем с ней проблемы школьного образования. Думаю, ей есть что сказать о практической пользе нашей науки.

**Е.П.** Я не раз слышала утверждения о том, что та или иная наука не очень полезна. Часто говорят о якобы существующей иерархии между точными и гуманитарными науками. Друзья иногда отмечают, говоря о моём исследовании, что анализ литературного произведения может испортить впечатление о нём. Вместе с тем, мы живём в эпоху, когда текст является очень важной составляющей коммуникации личности с окружающим миром, и мы просто обязаны на методологическом уровне изучать тексты и пути их передачи молодому поколению, которое, к сожалению, без нашей помощи читать не будет. Эти тексты должны быть разнообразными, представлять как можно более широкий спектр тем, идей и литературных приёмов. Учитывая, что почти в каждом учебном заведении есть определённый процент учащихся, имеющих отношение к русскоязычному миру, мы просто не можем игнорировать литературу выходцев из бывшего СССР как на русском, так и на иврите. Конечно, можно обратиться к классике, но это уже далёкий от молодого поколения мир, да и не все взрослые справятся с русским романом XIX века. В то время как проза и поэзия, написанные в наши дни, могут быть интересны и актуальны.

Один из вопросов, которые были подняты на конференции, касался отношения к русскому языку детей репатриантов «полуторного» поколения. Опыт показывает, что многие из них интересуются своими корнями, хорошо владеют русским языком и даже видят его основным языком общения. Из этого ясно, насколько важно изучать эту литературу и разрабатывать пути её представления широкому кругу читателей. И мы предпринимали такие попытки. Например, в рамках курсов повышения квалификации учителей изра-

ильской литературы были представлены переводы стихов Семёна Крайтмана, выполненные Викой Ройтман. Это был достаточно успешный опыт, и мы надеемся организовать дополнительные встречи с израильскими авторами на русском и иврите.

**А.С.** Приносил ли Набоков пользу бабочкам, когда изучал и коллекционировал их как энтомолог? Вряд ли. Приносил он пользу науке? Думаю, да. Наша работа, как мне кажется, в первую очередь направлена на обогащение знаний о словесности. Мы собираем и анализируем данные о приёмах, образах, повествовательных стратегиях и других инструментах литератора, чтобы увидеть причину их использования, описать их функции, показать, как они работают в более широком культурном, социальном и историческом контексте.

Другая польза литературоведения - проливать свет на тех авторов или те литературные школы, которые ранее оказывались незамеченными критиками и читателями. К примеру, мало кто знал Авраама Высоцкого до тех пор, пока Роман Кацман не открыл его заново как одного из первых авторов русско-израильской литературы. Теперь его романы изучаются и читаются куда более широкой аудиторией, чем всего несколько лет назад.

**И.Р.** Русско-израильская литература, судя по её названию, двухкомпонентна: она написана на русском языке, хотя бы частично, и написана в Израиле, или хотя бы о нём. Причём её авторы – евреи, или хотя бы пишут о евреях. Заметны ли вам тенденции, возникающие в этой литературе в связи с политическими и социальными переменами в мире вообще и в странах исхода писателей в частности? Ощутима ли вами литературная борьба, некое противостояние и конкуренция между представителями разных волн алии? Ваш коллега, профессор Зеэв Ханин, преподаватель отделения политических наук в Университете Бар-Илан и академический руководитель Института Евро-Азиатских еврейских исследований в Герцлии, рассказал в интервью интернет-изданию "Вести":

«У всех волн репатриации были свои отличия, но нужно понимать, что нынешняя волна не началась с войной в Украине. Это продолжение волны "путинской" алии, которая хлынула в Израиль с 2014 года, после аннексии Крыма. Война в Украине послужила сильным дополнительным стимулом для репатриации... В своё время профессор Александр Воронель, известный сионист-отказник, на мой во-

прос о том, чем он объясняет некоторый антагонизм между репатриантами 90-х и анией 70-х годов, честно ответил: "До вашего приезда мы, семидесятники, были героями, прорвавшимися из-за железного занавеса, победителями советской диктатуры – а стали маленькой группой, потерявшей в огромной волне иммигрантов. Поэтому первая, во многом подсознательная реакция на "новеньких" и была такой". Примерно к 1993 году этот конфликт сгладился. Представители алии 70-х поняли, что благодаря Большой алии они получили колоссальный шанс. Ведь раньше, будучи заметно представленными в израильской профессиональной и интеллектуальной элите, они были на вторых ролях в политике и иных сферах общественного влияния. А в 90-е годы в их распоряжении оказался политический инструмент, а также новые деловые возможности»<sup>1</sup>. Как вы полагаете, спектр возможностей новой волны алии в Израиле расширился или сузился? И появились ли новые литературные возможности у представителей предыдущих волн алии?

**Р.К.** Литература на русском языке создаётся сперва в Земле Израиля, а затем в Государстве Израиль уже более ста лет. Разумеется, она значительно менялась за это время. Изучению этих изменений во многом и посвящена наша работа и, в частности, прошедшая конференция. Эта литература всегда находилась и находится в поле самых разнообразных напряжений, и напряжение между волнами алии – только одно из них. Но чем больше я углубляюсь в исторический анализ, тем больше понимаю, что это напряжение было не так велико, как казалось, и во многом оно поддерживалось мифами и легендами, создаваемыми представителями этих волн о самих себе или друг о друге.

Если отбросить обычные и банальные для всех стран эмигрантов социальные сложности, то в сухом остатке останется довольно ясная картина литературного процесса, которую можно вкратце представить так: с 20-х по 50-е годы русскоязычная литература в Палестине была по преимуществу маргинальной частью системы политических напряжений; с 60-х по 90-е – системы культурных напряжений; с начала 2000-х, когда литература волны 90-х достигла своей зрелости и силы, она перестала быть маргинальной, а политическое и культурное напряжение перестало играть в

---

<sup>1</sup> Цитата по: <https://www.vesty.co.il/main/article/syqesomuh>

ней определяющую роль. Возникает новая парадигма, суть которой состоит в том, что наша литература может оставаться русскоязычной именно потому, что является израильской, то есть именно и только в Израиле возникают психологические и культурные условия для сохранения русскоязычного литературного сообщества за пределами России, поскольку только в Израиле еврейские писатели становятся полноценной частью национального большинства, даже если они и не переходят на его язык.

Одновременно подвергается коррозии, хотя и не исчезает вовсе, прежняя парадигма, состоящая не в империализме с его метрополией, как принято считать, а в той более примитивной формации, которую я бы назвал литературным феодализмом, с вассальной зависимостью от сюзерена, воспринимаемого как источник защиты и благосостояния, с характерными ритуалами верности и обратного поощрения в виде «московских» премий, фестивалей, выставок и т. п. Сегодняшняя ситуация это, как ни странно, шаг назад, частичное возвращение к менталитету «московского» литературного феодализма, носителями которого в большой мере являются вновь прибывающие. Я, как наблюдатель, никого не осуждаю, но мне жаль, что эта алия, как и предыдущие, почти не замечает того опыта, который накоплен нашим литературным сообществом за столько лет и в стольких политических и культурных перипетиях. Впрочем, имеются и счастливые исключения, и у меня есть некоторые основания надеяться, со всей возможной осторожностью, что, по крайней мере в сфере филологии, эта алия сумеет осознать и осмыслить происходящее.

Алексей Сурин, в отличие от нас с Еленой, репатриантов 90-х, приехал в страну лишь несколько лет назад. Уверен, у него есть свой взгляд на отношения между волнами алии.

**А.С.** Я репатрировался в 2019 году, хотя решение о репатриации, как верно заметил Ханин, принял именно в 2014-м, однако ряд обстоятельств сдвинул этот процесс. Что касается взаимоотношений между волнами алии, то я смотрю на них, главным образом, с точки зрения литературы. Мне кажется, русско-израильская поэзия за последний год пополнилась интересными авторами, в первую очередь я бы отметил Сергея Лейбграда. В некоторых своих стихах он предпринимает попытку обживания израильского городского пространства, будучи не в силах отвести взгляд от того, какие ужасы творит Россия в Украине. В результате он

довольно точно описывает ситуацию хаоса, выпущенного Россией, где крик женщины, вытаскиваемой из-под завалов в Днепре, слышится среди перронов вокзала в Израиле. Много пишут о войне и авторы, давно живущие в Израиле – Лена Берсон, Пётр Межурицкий, Гали-Дана Зингер и другие. Тема войны сейчас одна из важнейших для разных волн алии, и я замечаю, что и старожилы, и новоприбывшие порой используют сходные образы и практики, говоря о катастрофе. Особенно важным для меня является то, что новые (с точки зрения пребывания в Израиле) авторы используют отсылки к еврейской истории и культуре, и с их помощью пытаются осмыслить происходящее.

**И.Р.** Ещё одна, последняя цитата: «Взаимоотношения русско-пишущих литераторов и писателей, пишущих на иврите - это постоянное природное отталкивание, вполне понятное (чужаков нигде не любят), хотя и здесь круглых столов на лоне политкорректности и университетских завираний вполне хватает, и они, конечно, ничего никогда не могут решить – и не надо. Человек, оставивший за собой право писать здесь (и в любой другой стране) на родном языке, должен заранее смириться с судьбой невидимки. Его могут даже перевести, могут пригласить на парочку круглых столов, он может даже преподавать в университете русский язык и литературу для двенадцати чудаков, выходцев из русских семей, но для читателей, для книжных магазинов, для литературных критиков, - он навечно останется невидимкой. По-видимому, это естественно. Такие вот непрезентабельные, но откровенные соображения. Это всего лишь наблюдения, скопившиеся за почти тридцать лет»<sup>1</sup>. Это мнение высказала Дина Рубина (публикация Афанасия Мамедова). Допустим, Рубина права. В таком случае вы исполняете функции добрых волшебников, проявляя незримые образы невидимок и выводя их на яркий свет общественного внимания. Стоит ли овчинка выделки? Есть ли у кого-то из изучаемых вами писателей шанс превзойти зарубежных коллег и авторов из языковой метрополии «для читателей, для книжных магазинов, для литературных критиков» и достичь популярности, сравнимой хотя бы с популярностью Дины Рубиной?

**Р.К.** Чем больше я занимаюсь этой темой, тем лучше понимаю, что русская словесность никогда не была невиди-

---

<sup>1</sup> Цитата по: <https://www.labirint.ru/now/o-russkoyazychnoy-izrailskoj-literature-mamedov>.



мой в Израиле. В 1920-30-х годах русский язык, наряду с другими, был языком культурной коммуникации в стране. Достаточно взглянуть на работы моего коллеги Владимира Хазана, например, на его книжную серию об архивах, хранящихся в Израиле, представленную на конференции, чтобы понять степень вовлеченности русскоязычных практик тогдашней Палестины в культурный процесс, охвативший Европу и Америку. Представление о всемирной значимости достижений русской литературы, а с ним и желание сохранить связь с нею, было ещё слишком сильно. В последующие годы значение русскоязычной литературы сохранялось благодаря усиливающейся роли Советского Союза, а с 60-х годов — также благодаря борьбе за исход оттуда евреев. Начиная с 70-х годов русскоязычные авторы становятся существенным фактором, благодаря эстетической и культурной значимости их творчества, - и это положение сохраняется по сей день. Они определённо не невидимки, не «призраки», как их прозвали в одной из антологий переводов на иврит. Об этом свидетельствуют не только переводы, но и многочисленные фестивали, конференции и прочие «завирания». Но никакое волшебство не превратит ивритоязычную публику в читателя русскоязычной литературы, сколь бы «видимой» та не была.

А вот что может быть полезно, так это осознание того, что русско-израильское литературное сообщество никогда не было и не будет похоже на российское. И в этом вопросе тоже необходима смена парадигмы. В таком свободном и открытом обществе, как израильское, литературный процесс происходит в микро-сообществах, большая часть которых идеологически и коммерчески независима; в низовых, так сказать, сетях, которые описываются хорошим английским словом *grassroots*. Как издательская деятельность, так и реакция на неё критиков и публики, носит самоорганизующийся, хаотический - в хорошем смысле слова, - характер. Социальные системы очень сложны, отнюдь не всё здесь зависит от работы критиков или литературных агентов, но я убежден, что хорошая литература обречена на ту или иную меру узнавания и популярности.

**Е.П.** Я согласна с Романом, что хорошая литература обречена на ту или иную степень популярности. Могу привести в пример рассказ Вики Райхер "Налево сказку говорит", народный перевод которого облетел Интернет и вызвал огромный интерес у педагогов, социальных работников и психологов, которые работают с выходцами из бывшего

СССР и с их детьми. Также я хочу отметить замечательный роман Виктории Ройтман "Йерве из Аседо", который описывает процесс взросления главной героини Зои Прокофьевой на фоне репатриации и интеграции в израильском обществе начала 1990-х годов. Этот роман написан на русском языке, но это совершенно особенный язык, который мог появиться только в Израиле. Этот язык знаком и понятен каждому русскоязычному человеку, но, в то же время, в нем есть особый израильский оттенок, который придал ему своеобразие и неповторимость. Я очень надеюсь, что этот роман будет переведен на иврит, и будет изучаться в школах наряду с произведениями таких израильских авторов, как Эли Амир или Сами Михаэль.

**А.С.** Не берусь оценивать шансы тех или иных авторов стать популярными. Другое дело: нужно подчеркнуть, что русско-израильские авторы мало в чём уступают своим западным коллегам, - например, в умении построить захватывающий сюжет. Для меня ярчайший пример такого случая - «Последний выход Шейлока» Даниэля Клугера (2006). Это роман, рассказывающий о расследовании убийства в концлагере еврейскими Шерлоком Холмсом и доктором Ватсоном. За два года до этого вышел роман известного американского писателя Майкла Шейбона «The Final Solution». У него тоже ушедший на пенсию Шерлок Холмс возвращается к своим старым занятиям, чтобы расследовать некие трагические события, произошедшие в немецком концлагере. При этом текст Клугера мне показался куда более изящным, напряжённым и насыщенным смыслами, чем у Шейбона, хотя оба они говорят об одном и том же – о невозможности торжества разума и справедливости в мире, где произошёл Холокост.

Сделать кого-то популярным – не в наших силах. Однако, мы можем рассказывать о литературе, сравнивать произведения, и тем самым показывать читателю, какими богатствами возможностями он располагает.

**Роман Кацман**  
**Елена Промышлянская**  
**Алексей Сурин**

**Дневник событий русско-израильской литературы**  
**Апрель-июнь 2023**

*В полном объеме дневник публикуется на сайте кафедры еврейской литературы Университета им. Бар-Илана по-русски и на иврите (<https://hebrew-literature.biu.ac.il/en/diary>).*

**1 апреля 2023**

В московском издательстве “Ломоносовъ” вышла книга Даниэля Клугера «Театр одного поэта. Пьесы, поэмы». Это переиздание книги, вышедшей в 2022 году в израильском «Издательском Доме Helen Limonova». В сборник вошли четыре пьесы: “Чёрный парус, белый парус”, “О Рио, Рио!”, “Господа из Старого Света”, “Частная жизнь Теодора-Христиана”; поэмы “Магда”, “Друг четырёх королей”, “Месть прекрасной дамы”, “История любви, или Трёхромансовая опера”. В 2022 году в издательстве “Ломоносовъ” вышла книга Клугера «Вторая половина книги».

**1 апреля 2023**

В издательстве «Beit Nelly» вышел в свет двухтомник рассказов израильского писателя Льва Альтмарка «Первый день мира после войны». Слово «Мир» в заглавии книги перечёркнуто. Как объясняет автор, это решение стало реакцией на израильскую реальность, которая не может быть определена однозначно как состояние мира или войны.

**2 апреля 2023**

В Иерусалимской русской городской библиотеке состоялась презентация новой книги стихов Ирины Рувинской «ИРа». Автор прочла стихи из опубликованного в иерусалимском издательстве «Достояние» сборника, после чего дочь поэта, Наташа Бимбат, прочла собственные переводы стихов Рувинской на иврит. Для Ирины Рувинской, репатрировавшейся в Израиль в 1996 году, «ИРа» - уже седьмой поэтический сборник. Стихи Рувинской печатались в журналах «Литературное обозрение», «Стороны света», «Побережье», «Арион», в «Иерусалимском журнале», входили в «Антологию современной русской поэзии Украины» (1998).

**10 апреля 2023**

В израильском издательстве «Medial» вышла в свет новая повесть писателя Михаила Ландбурга «А мы хотели просто уцелеть...». Ранее, в 2022 году, у Ландбурга выходили книги «И да, и нет» и «Пиццикато».

**10 апреля 2023**

В издательстве «Beit Nelly» вышла в свет первая книга израильского поэта Ури Пинкаса «Я люблю осенние каштаны».

**21 апреля 2023**

В Амстердаме начал издаваться новый литературный журнал на русском языке - «Пятая волна». Его главным редактором стал прозаик и эссеист Максим Осипов. Как сказано в редакционной колонке первого номера, журнал призван, прежде всего, удовлетворить потребность в неподцензурных изданиях представителей «пятой волны эмиграции», то есть тех, кто уехал из России после полномасштабного вторжения в Украину. Авторы этого журнала, подчеркивает редакция, объединяет «неприятие войны и тоталитаризма, любовь к русской культуре как части европейской, чувство личной причастности, ответственности за происходящее, желание увидеть Россию свободной миролюбивой страной, каким бы несбыточным это желание сейчас ни казалось». «Пятая волна» будет издаваться ежеквартально в сотрудничестве с амстердамским издательством «Van Oorschot» на двух языках, русском и английском, в электронном виде и на бумаге. В первый номер журнала, в частности, вошли произведения русскоязычных авторов, живущих в Израиле: глава из романа «Тела Платона» Александра Иличевского, подборка стихотворений «Не в контексте любви» Лены Берсон.

**23 апреля 2023**

В открытом доступе в Интернете опубликован новый роман Линор Горалик «Бобо». Он рассказывает о слоне по имени Бобо, который путешествует по современной России. Прибыв в Россию, Бобо твердо намерен её полюбить, но чем дальше он углубляется в страну и чем лучше её узнает, тем сложнее ему жить с этой любовью. Автор отмечает: «В некотором смысле, очень для меня важным, я написала этот роман про любовь к России ещё и потому, почему всякий влюблённый хочет бесконечно говорить о своей любви,

- и особенно в те жуткие моменты, когда возлюбленная страшно больна или переживает невыносимую катастрофу».

#### **24 апреля 2023**

В сети опубликован новый, седьмой выпуск «Вестника антивоенной и оппозиционной культуры ROAR» (Resistance and Opposition Arts Review). В номер вошли, в частности, произведения русскоязычных писателей Израиля: подборки стихов Геннадия Каневского и Сергея Лейбграда, рассказы Алексея Сурина и Евгения Когана. Также в ROAR опубликованы произведения Максима Д. Шраера, Полины Барсковой, Олега Лекманова, Бориса Херсонского и других авторов.

#### **4 мая 2023**

В книжном магазине "Бабель" состоялась презентация книги Виктории Ройтман «Йерве из Асседо», которая вышла в свет в московском издательстве АСТ. Автор рассказала о процессе написания книги, о создании образов и о преодолении языковых сложностей в описании двуязычной реальности. На презентации также выступили писатели Леонид Левинзон, Рита Коган, Семен Крайтман и исследователь русско-израильской литературы Елена Промышлянская. Все выступающие подчёркивали особое место этой книги в русско-израильской литературе как с тематической, так и с художественной точки зрения.

#### **9 мая 2023**

Вышел в свет новый, 61-й номер журнала «Зеркало». Выпуск открывают подборки стихов современных ивритских поэтов Эфрат Мишори и недавно ушедшего из жизни Меира Визельтира. Ему же посвящена заметка In Memoriam переводчика Шломо Крола. Представлена поэзия русскоязычных авторов: Алексея Сурина, Никиты Рыжих, Тани Скаринкиной и других. В разделе прозы опубликованы «Рассказы, присланные из Луганска» Евгения Иза, произведения Георгия Кизевальтера, Рустама Мавлиханова и Аллы Дубровской, повесть-триптих Ульи Нова «Летания несвятого Петра». Кроме того, в номере опубликованы письма Игоря Холина к Михаилу Гробману, а также дневниковые записи Гробмана за 1993 год.

#### **16 мая 2023**

В московском издательстве «Книжники» вышел новый сборник рассказов Давида Маркиша «Только три часа полё-

та». Книга включает в себя рассказы, написанные автором в разные годы, в том числе совсем недавно. Объединены они, главным образом, темой репатриации из СССР и России; в большинстве текстов именно этот рубеж положен в начало сюжета. При этом тема отъезда трактуется автором и как метафора еврейской судьбы вообще, и как стремление человека, скитальца по своей сути, найти свое место и путь в этом мире.

### **22 мая 2023**

В Бостоне (США), в издательстве «Academic Studies Press», в двух томах - на русском и английском - вышел сборник научных статей «Очерки по истории русско-израильской литературы» / «Studies in the History of Russian-Israeli Literature», под редакцией Романа Кацмана и Максима Д. Шраера. В сборник вошли статьи Владимира Хазана «К истории палестинского текста»; Любы Юргенсон «Юлий Марголин и его время»; Марата Гринберга «Израильско-советские литературные связи в 1950–1980-х годах: от переводов до “Библиотеки-Алия”», Алексея Сурина «Уходим из России: русско-израильская литература в 1970–1980-е годы»; Максима Д. Шраера «Пути русского поэтического авангарда в Израиле»; Романа Кацмана «Проза алии 1990–2000-х годов»; Елены Промышлянской «Русскоязычная проза Израиля второго десятилетия XXI века»; Елены Римон «Жанры израильской русской фантастики»; Златы Зарецкой «Феномен русско-израильской драматургии 1970–2020-х годов»; Леонида Кациса «Из истории русско-израильской литературной критики (Об одном способе описания русско-израильско-русских литературных контактов)». Сборник снабжен именным указателем.

### **30 мая 2023**

В Русской городской иерусалимской библиотеке состоялась презентация сборника пьес писателя и драматурга Вячеслава Давыдова «Жаботинский против Гитлера». Книга опубликована в Тель-Авиве в издательстве «Terza Incognita». В сборник вошли историческая драма «Вождь против фюрера», киносценарий по ней и две пьесы о Владимире Жаботинском: «Один против всех» и «Железная стена, или Воскрешение Жаботинского». Вячеслав Давыдов родился в Москве в 1946 году. Выпускник Московской консерватории имени П. И. Чайковского. В течение 15 лет преподавал на военно-дирижёрском факультете при консерва-

тории Москвы. Репатриировался в Израиль в 1991 году. Первый сборник пьес Давыдова под названием «Это Израиль!» вышел в свет в 2011 году и был посвящен 20-летию большой алии из бывшего Советского Союза.

### **30 мая - 1 июня 2023**

В Бар-Иланском университете, на кафедре литературы еврейского народа в рамках программы русско-еврейской литературы, состоялась международная научная конференция "Русско-израильская литература в контексте литературы мировой: история, поэтика, теория". Трёхдневная конференция собрала более тридцати ученых и писателей из Израиля, США, Великобритании и Франции. Программа включала также презентацию сборника статей «Очерки по истории русско-израильской литературы» и круглый стол «Война: осмысление катастрофы» с участием писательниц Елены Макаровой и Анны Файн. Особым гостем конференции стал писатель Давид Маркиш, подчеркнувший в своём выступлении историческое и общественное значение как конференции, так и развиваемой ею дисциплины. Конференция открылась приветствиями и вступительным словом Нины Воронель. Прозвучали доклады и выступления организаторов конференции, а также Ильи Родова и Бера Котлермана из Бар-Иланского университета, Елены Толстой, Валентины Брио, Владимира Хазана и Анны Балестриери из Еврейского университета в Иерусалиме, Любы Юргенсон из Сорбонны, Максима Д. Шраера из Бостонского Колледжа, Марата Гринберга из Рид Колледжа (США), Елены Римон из Ариэльского университета, Марии Рубинс из Университетского Колледжа Лондона, Марины Аптекман из Университета Тафтса (США), Дениса Соболева из Хайфского университета, Евгения Сошкина из Свободного университета, Эдуарда Вайсбанда из Трансильванского университета Брашова (Румыния), и других писателей и исследователей литературы.

### **4 июня 2023**

В израильском издательстве «Бабель» вышла повесть Александра Иличевского «Узкое небо, широкая река». Как указано на сайте издательства, книга повествует «о юности, непрожитой обиде, дружбе и не(до)понимании». Журнальная публикация повести состоялась в 2016 году ("Новый Мир", №8).

### **12 июня 2023**

Вышел новый, 25-й номер журнала "Артикль". В раздел прозы вошли тексты Давида Маркиша, Якова Шехтера, Мадины Тлостановой, Аля Затуранского, Александра Борохова и других авторов. В разделе поэзии: «свежие гарики» Игоря Губермана, стихи Ирины Маулер, Юлии Драбкиной, Марка Котлярского, Евгения Сельца. В разделе "Нон-фикшн" опубликованы воспоминания Афанасия Мамедова, Давида Шехтера, Владимира Ханана и других интересных людей. Обращает на себя внимание также статья Андрея Зоилова о литературе алии последних лет.

### **12 - 15 июня 2023**

В Музее еврейского народа АНУ (Тель-Авив) состоялся выездной форум "СловоНово". В рамках этого форума прошло несколько мероприятий, связанных с русско-израильской литературой и культурой. Первое из них, под названием "Чем богат тамиздат", было посвящено вопросам издательского дела на русском языке в условиях войны России против Украины. Обсуждались возможности печати и распространения русскоязычных книг и журналов вне пределов России. В дискуссии принимали участие владелец израильского издательства «Книга-Сэфер» Виталий Кабаков, владелец тель-авивского книжного магазина "Бабель" и одноименного издательства Евгений Коган, журналист и критик Юрий Володарский и другие заинтересованные лица. Ещё одна секция форума, «Проект "Беглецы": личные истории» собрала поэтов, приехавших в Израиль после 24 февраля 2022 года. Среди них Ася Анистратенко, Евгения Вежлян, Сергей Лейбград, Ольга Логош, Илья Эш и другие. Модераторами поэтической секции были редактор журнала "Зеркало" Ирина Врубель-Голубкина и поэт Евгений Никитин. Участники обсуждения прочли свои стихи, поделились личным опытом репатриации в военное время. В рамках форума состоялся круглый стол "Неладно что-то в наших Палестинах", направленный против проводимой израильским правительством юридической реформы. В обсуждении принимали участие генеральный директор Евро-Азиатского Еврейского Конгресса Хаим Бен Яков, писатель и журналист Марк Галесник, журналистки Ксения Светлова, Софья Рон, Лика Длугач.



**20 июня 2023**

В Русской городской иерусалимской библиотеке состоялась презентация книги Юлия Марголина «Путешествие в страну Зе-Ка. Дорога на Запад. Поэзия». Издание вышло в рамках серии книг "Русская история и культура в архивах Израиля" (иерусалимское книжное издательство «Studio Click Ltd»). В презентации принимали участие главный редактор и составитель серии Владимир Хазан, Леона Токер, редактор перевода «Путешествия в страну Зе-Ка» на иврит Миша Шаули.

**21 июня 2023**

В Русской городской иерусалимской библиотеке состоялась презентация книг Давида Маркиша, вышедших за последний год: "В отказе", "На полпути назад", "Только три часа полёта".

**22 июня 2023**

В Русской городской иерусалимской библиотеке в рамках цикла вечеров "С академической колокольни" состоялась лекция Михаила Вайскопфа «Алия 1970-х - 1980-х годов: специфика культурной жизни».

## СТИХИ И СТРУНЫ

Ирина Морозовская

### «Два динозавра пьют за то, что недовымерли»

*Песни Ильи Винника как яркие заплаты на лохмотьях мироздания*

Что можно слушать в грозу, эффектно совмещающую громыхание Зевесовых перунов с воем сирены воздушной тревоги, разрывами ПВО, удачно встретившего беспилотники-«шахеды» и ракеты? Чем разбавить этот ужасающий (во всех отношениях) ансамбль? Разбивается вдребезги гармония классической музыки, оперные голоса наружное сопровождение глушит. А вот песни Ильи Винника впору, в самый раз пришились.

Илью знаю так давно, что боюсь считать и писать про это. Получатся числа, о которых записные остряки немедленно сообщают "Столько не живут". Для внутреннего употребления: это был год, когда Илья демобилизовался из рядов советской армии, (так и не рискнула спросить, не удалось откосить или не пытался, гремучий коктейль "слабоумие и отвага" во всех нас в те годы не просто гремел, как нынешняя гроза, а играл те ещё шуточки). Илья сразу принёс в атмосферу "Чайханы" наших слётов воздушные шары веселящего газа - рядом всем делалось легко и газообразно, а уж какая анестезия от окружающей реальности наступала - любо-дорого вспомнить. Это бесценное качество Илье не удалось ни выменять, ни загнать, ни ещё как-то растратить - оно с ним и осталось по сей день.

Не могу объяснить - а маленькие чудеса так же необъяснимы, как большие, да и как их определишь - калибр чудес? (это только в "Калибрах" он нам известен). Но само это ощущение чуда, а потом его предвкушение при каждой встрече - играет разными красками и оттенками, клубится подсвеченным туманом. Тут уж неважно, поёт в это время Илья или рассказывает: всё, что происходит на его выступлениях - разноцветные кристаллики этой друзы, разбрасывающей гранями весёлые разноцветные искры. Больше всего ощущение похоже на кружащийся зеркальный шар, там по волне моей памяти, под ветрами перемен, происходящих прямо сейчас, чувствуешь, что тебя ждут большие

приключения. И обнаруживаешь себя прямо в эпицентре. Понимая, что и Илья тут недалеко, в Киеве, и их точно так же обстреливают, попеременно с Одессой и другими городами. Теперь мы - те самые динозавры, что недовымерли и не имеют ни малейшего желания вымирать именно сейчас. А совсем наоборот - со всюю динозаврской массой и мощностью, добытыми за десятилетия, настроены выжить и встретить ещё одну Перемогу.

Кстати, у Ильи есть любимая моя песня, победная - по воспоминаниям его деда. Каждое слово в ней теперь о прошлом - и о будущем. Нашем будущем, хотя нам куда больше, чем было его деду при окончании той войны. Нас дождалась своя. И чтоб не просто выжить, не просто продержаться - нужно употреблять внутрь себя не только коньяк, вискарь, вина, ликёры и прочее спиртное, а и песни. Лёгкие, весёлые, озорные, мужественные и лиричные - как ни «стебает» сам Илья лирическую подкладку всех своих песенных менестрельных одёжек. Стоит добавить где-нибудь, - ну, пусть это будет здесь, - что Илья закончил сначала эстрадно-цирковое училище, а потом и Киевский театральный институт имени Карпенка-Карого. На вопрос, чему его там научили - хочется заорать : "Всеуму!" - потому что полное ощущение, что умеет он всё - и в том жанре, о котором я сейчас пишу, и во всех смежных. С выходами на сцену и без них, где б ни оказался и кто б ни был рядом. Поэтому вот это, что делает Илья, особенно нужно здесь и сейчас. Да и в будущем пригодится, никаких сомнений.

Слушать его выступления и концерты непременно стоит целиком. Ладно, прерываясь, чтоб отсмеяться, налить себе ещё рюмочку или бокал, закусить это. Ведь если пить и закусывать под песню - непременно подавишься от смеха. "И птеродактиль нам крылом с небес помашет", - всяко лучше, чем дрон-беспилотник. А я жду и дождусь новых Илюхиных песен, новых встреч с ним. И для начала крепко-крепко его обниму. А потом выпьем - мы ж тоже два динозавра. Мы недовымерли. И недовымерем. Не дождуся!

Послушать Илью можно здесь:

[https://www.youtube.com/watch?v=gakLIETx3Mg&t=274s&ab\\_channel=%D0%9E%D0%91%D0%9B%D0%90%D0%9A%D0%90%D0%A4%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8](https://www.youtube.com/watch?v=gakLIETx3Mg&t=274s&ab_channel=%D0%9E%D0%91%D0%9B%D0%90%D0%9A%D0%90%D0%A4%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8)

Или здесь:

[https://www.youtube.com/watch?v=z38NTy284Wc&ab\\_channel=WuppertalerLiedermacherFestival](https://www.youtube.com/watch?v=z38NTy284Wc&ab_channel=WuppertalerLiedermacherFestival)

# **БОНУС ТРЕК**

**Филипп Николаев**

## **И не такое бывало**

Как сообщает сюжет в «ленте», г-н Басу, 41-летний житель индийского города Бенгалуру, взял в жёны крысу, которую считает реинкарнацией своей первой жены, погибшей в автокатастрофе.

Г-н Басу, отец четырёх малолетних детей, был совершенно разбит горем. Но прошло несколько месяцев, и к нему на порог пришла крыса.  
«У неё были глаза и нос моей жены», - говорит г-н Басу, сразу и без малейшего сомнения осознавший, что это она.

«Я предложил ей любимое печенье жены, и она ела именно так, как ела бы жена».

Была мгновенная взаимная нежность, было знакомое выражение глаз.  
Г-н Басу посоветовался со жрецами храма, те одобрили брак и совершили обряд.  
Так произошло воссоединение супругов.

Смейтесь же, любящие смеяться, и негодуйте, кто любит негодовать, и трывдите назидательно своё, вы, обладатели единственной верной религии, с позиций подлинного знания и здравомыслия, не могущие и помыслить о том, чтобы жениться на крысе.

Я б хотел знать, как они там теперь, но «лента» молчит, наша энтропия ушла далеко вперёд, и о них забыли.  
В моём воображении они мне видятся живущими долго и счастливо в какой-нибудь укромной избушке.

Я только надеюсь, родная, что вопреки и наперекор всему всегда буду за тебя держаться с такой же безумной верностью и слепой верой перед лицом смерти.  
Я только надеюсь.

## ***АВТОРЫ НОМЕРА***

**Дина Рубина** – писатель, живёт в Мевасерет Цион.

**Александр Мелихов** – прозаик, публицист, живёт в Санкт-Петербурге.

**Давид Маркиш** – писатель, поэт, переводчик, живёт в Ориегуда.

**Яков Шехтер** – писатель, живёт в Холоне.

**Петр Люкимсон** – писатель, публицист, редактор, живёт в Холоне.

**Рита Грузман** – предприниматель, живёт в Иерусалиме.

**Шуля Примак** – дипломат, муниципальный работник, живёт в Ашкелоне.

**Сергей Баев** – прозаик, живёт в Тель-Авиве.

**Михаил Вассерман** – прозаик, режиссёр, продюсер, живёт в Чикаго.

**Ефим Шуман** – писатель, журналист, живёт в Кёльне.

**Асаф Бар-Шалом** – псевдоним религиозного писателя, живущего в Модииин-Илите.

**Михаил Юдсон** – писатель, жил в Тель-Авиве.

**Раве Саги** – прозаик, живёт в Рамат а-Шарон.

**Ави Гиль** – писатель, журналист, общественный деятель, живёт в Тель-Авиве.

**Александр Крюков** – дипломат, переводчик, профессор МГУ, живёт в Москве.

**Садай Будаглы** – прозаик, переводчик, редактор, живёт в Баку.

**Александра Неронова** – композитор, режиссер, актриса, поэт и художник-график, живёт в Москве.

**Ирина Маулер** – поэт, художник, автор-исполнитель, живёт в Беэр-Яакове.

**Анна Мельникова** – поэт, живёт в России.

**Фаина Судкович** – поэт, музыкант, автор-исполнитель, живёт в Афуле.

**Кларисса Дорошевич** – поэт, научный сотрудник Одесского литературного музея, живёт в Одессе.

**Дмитрий Бирман** – поэт, прозаик, организатор культурных проектов, живёт в Нижнем Новгороде.

**Сергей Белорусец** – поэт, прозаик, переводчик, редактор, живёт в Ашдоде.

**Сергей Штильман** – поэт, филолог, автор книг и методических пособий по преподаванию русского языка, живёт в Москве.

**Владимир Эфроимсон** – поэт, математик, расчетчик финансовых рисков, живёт в США.

**Игорь Губерман** – поэт, прозаик, автор знаменитых «гариков», живёт в Иерусалиме.

**Соломон Гольдельман** – политик, учёный, публицист, жил в Иерусалиме.

**Евгений Левин** – переводчик, преподаватель, живёт в Иерусалиме.

**Давид Шехтер** – публицист, журналист, общественный деятель, живёт в Ришон ле-Ционе.

**Владимир Ханан** – поэт, прозаик, живёт в Иерусалиме.

**Наум Вайман** – поэт, переводчик, литературовед, живёт в Холоне.

**Осип Ксанин** – литератор, редактор, живёт в Тель-Авиве.

**Андрей Зоилов** – псевдоним литератора, живущего в Тель-Авиве.

**Роман Кацман** – профессор кафедры еврейской литературы Бар-Иланского университета, живёт в Гиват-Шмуэле.

**Елена Промышлянская** – докторантка кафедры еврейской литературы Бар-Иланского университета, живёт в Ариэле.

**Алексей Сурин** – журналист, живёт в Иерусалиме.

**Ирина Морозовская** – психолог, бард, исследователь социума, живёт в Одессе.

**Филипп Николаев** – поэт, переводчик, литературовед, живёт в Бостоне.

## **ГЛАВНЫЕ РЕДАКТОРЫ**

Яков Шехтер, Михаил Юдсон

### **Заместитель главного редактора**

Афанасий Мамедов

### **Референт**

Александр Карабчиевский

**Редколлегия:** Катя Капович, Анна Мисюк, Ирина Маулер, Ирина Морозовская, Давид Маркиш, Михаэль Барам, Денис Соболев, Роман Кацман, Давид Шехтер

**Корректор:** Кармит Кособурд

**Сайт журнала:** <http://www.sunround.com/article/>

### **Фейсбук**

:<https://www.facebook.com/TelAvivskijSetevojZurnalArtikl>

**Электронный адрес редакции:** [articreda@gmail.com](mailto:articreda@gmail.com)

Почтовую корреспонденцию в «Артикль» можно отправлять по адресу: **Irina Mauler, Journal "Article", Beer Yaakov, Arava 76, 703000.**

Телефон: 052-94666044(в Израиле)  
(972)-529466044 (для заграницы).



מרכז למוצאת יהדות בית המועצה

Центр наследия  
евреев СССР

**ГОТОВЫ ЛИ ВЫ ПОМОЧЬ НОВЫМ  
РЕПАТРИАНТАМ ИЗ УКРАИНЫ?**

**АССОЦИАЦИЯ "МААЛОТ" ИЩЕТ ВОЛОНТЕРОВ  
ДЛЯ СВОЕГО ПРОЕКТА "ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ",  
ПРИЗВАННОГО ОБЛЕГЧИТЬ РЕПАТРИАНТАМ ИХ  
ПЕРВЫЕ ШАГИ В СТРАНЕ И ПОМОЧЬ СПРАВИТЬСЯ  
С ПОСЛЕДСТВИЯМИ ПЕРЕЖИТОГО ИМИ УЖАСА.**

**ЕСЛИ ВЫ ГОТОВЫ ПРОТЯНУТЬ РУКУ ПОМОЩИ  
НАШИМ БРАТЬЯМ И СЕСТРАМ – ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ:**

**[lev2lev@maalot.org](mailto:lev2lev@maalot.org)**





## **«Маалот» строит Музей наследия евреев из СССР и продолжает помогать репатриантам**

«Маалот» - ассоциация (амута), созданная для реализации в Израиле проекта Музея евреев из бывшего СССР и создания на его основе Центра наследия евреев бывшего СССР. Согласно первому проекту 2018 года планировалось, что Музей будет построен в Иерусалиме, но в 2023 году о выделении земельного участка под него объявил мэр города Лод Яир Ревиво.

Ассоциация «Маалот» объединила видных представителей русскоязычной общины Израиля с целью создания в Израиле Центра наследия евреев СССР. Проект получил поддержку Натана Щаранского, министров Юлия Эдельштейна и Зеэва Элькина, Еврейского Университета в Иерусалиме и Музея еврейского народа в Тель-Авиве.

Создатели амуты: журналист и писатель Давид Шехтер, директор отделения славистики Еврейского университета в Иерусалиме Вольф Москович, ученый и специалист по разработке и внедрению математических моделей Марк Козенко, президент Ассоциации творческой интеллигенции Израиля писатель Давид Маркиш, журналист Виктория Долинская, основатель известного джазового трио Ганелин-Тарасов-Чекасин (Ganelin Trio) Вячеслав Ганелин, актриса и одна из основательниц театра «Гешер» Наташа Манор, врач-ветеринар Михаил Шапиро.

Совет экспертов ассоциации «Маалот»: бывший посол Израиля в России Дорит Голендер-Друкер, активист еврейского движения, узник Сиона Эфраим (Александр) Холмянский, диссидент, отказник, узник Сиона, главный редактор издательства "Даат" Иосиф Бегун, отказник, историк и писатель Михаэль Бейзер.

В Попечительский совет амуты «Маалот» входят Яков Соскин, Аркадий Майофис, Евгений Каган, Юрий Зельвенский, Евгений Белов, Евгений Бейлин.

Руководитель амуты «Маалот» - общественный деятель, журналист и писатель Давид Шехтер.

